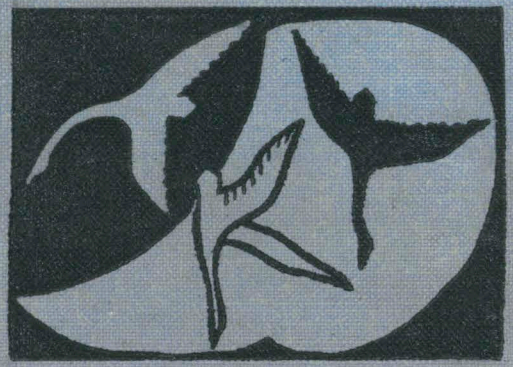
ВАСИЛЬ ЗЕМЛЯК

ЛЕБЕДИНАЯ СТАЯ



ВАСИЛЬ ЗЕМЛЯК

ЛЕБЕДИНАЯ СТАЯ

БИБЛИОТЕКА
ДН
«ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
БИБЛИОТЕКИ «ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

Сурен Агабабян
Ануар Алимжанов
Лев Аннинский
Сергей Баруздин
Альгимантас Бучис
Константин Воронков
Валерий Гейдеко
Леонид Грачев
Игорь Захорошко
Имант Зиедонис
Мирза Ибрагимов
Алим Кешоков
Григорий Корабельников
Георгий Ломидзе
Андрей Лупан
Юстинас Марцинкявичюс
Рафаэль Мустафин
Леонид Новиченко
Александр Овчаренко
Александр Руденко-Десняк
Инна Сергеева
Леонид Теракопян
Бронислав Холопов
Иван Шамякин
Людмила Шиловцева
Камиль Яшен

БИБЛИОТЕКА «ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

ВАСИЛЬ
ЗЕМЛЯК

лебединая стая

РОМАН

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ» ● МОСКВА ● 1977

С (Укр) 2
З 99

Авторизованный перевод с украинского
Вл. РОССЕЛЬСА

Художник Ю. ЛОГВИН

З $\frac{70302—034}{074\,(02)—77}$ 182 — 77 подписное

ЗЕМЛЯК Василь Сидорович родился 23 апреля 1923 года в селе Конюшивцы Липовецкого района на Винничине в семье крестьянина. Окончив школу, уехал в Харьков, где поступил в авиационное училище. С начала войны Земляк в подполье, затем с 1942 года — командир партизанского взвода, потом — конного отряда им. Суворова. После войны работал в Казатинском райисполкоме, в совхозе, в областной газете. Одновременно учился на заочном отделении Житомирского сельскохозяйственного института, затем в Киевской сельскохозяйственной академии. С 1958 года Земляк работает в Киеве в прессе, на издательской работе. В 1963 году Василь Сидорович Земляк приходит в кинематограф. Он главный редактор Киевской студии художественных фильмов им. А. Довженко, затем руководитель сценарной мастерской, автор нескольких киносценариев: «Дерзость», «Дочь Стратиона», «На Киевском направлении», «Новеллы красного дома».

Первая публикация Земляка относится к 1945 году. С этого времени на страницах газет появляются его очерки и рассказы. Но то были только подступы к писательской работе. Настоящий литературный дебют Василя Земляка состоялся через десять лет, когда была опубликована его первая повесть «Родная сторона» (1956 г.). В следующем, 1957 году, вышла в свет новая повесть писателя «Каменный брод». Обе повести вызвали большой интерес в литературных и читательских кругах. Вокруг них развернулась острая полемика, что свидетельствовало об актуальности поднятых писателем проблем. Эти первые произведения Земляка посвящены жизни современного украинского села. Писатель показывает перемены, происшедшие в нем, преобразования, повлекшие за собой изменения в психологии простых тружеников. Повести «Родная сторона» и «Каменный брод» возникли как результат освоения и творческого осмысления жизненного материала, почерпнутого писателем во время его послевоенной деятельности. Глубокое знание жизни деревни скажется затем и в романе «Лебединая стэя», написанном значительно позднее, в романе, который мы представляем читателю в этой книге. Но Земляка привлекала еще одна тема, также освоенная на собственном опыте,— война. К этой теме писатель подходит спустя 15 лет после победы. В 1960 году выходит его повесть «Разгневанный Стратион», на основе которой позднее был создан киносценарий и поставлен фильм «Дочь Стратиона». В 1966 году увидела свет следующая военная повесть В. Земляка «Под-

полковник Шиманский». И, наконец, в 1973 году, уже после публикации «Лебединой стаи», когда казалось, что писатель целиком погрузился в задуманную им эпопею о жизни украинского села, — журнал «Украина» представляет читателям новую повесть В. Земляка о войне — «Ночь без милосердия» (в русском переводе «Впереди фронта»). Военные повести писателя отличают стремительно развертывающийся сюжет, насыщенность фабулы разнообразными приключениями, столкновение сильных страстей и поэтический, романтически приподнятый стиль письма.

В 1971 году в журнале «Дружба народов» был опубликован роман Земляка «Лебединая стая». Это новое произведение писателя получило широкое признание у нас и за рубежами нашей страны: «Лебединая стая» вышла в Болгарии, Польше, ГДР.

Действие романа происходит в селе Вавилон, что находится на Украине и раскинулось по берегам речки Чебрец, притока Южного Буга. Таковы его «географические координаты». Временные рамки — двадцатые годы: конец НЭПа — начало коллективизации. Период становления нового, время острой классовой борьбы, трудной ломки в сознании крестьян. В. Земляк сумел по-своему показать уже отраженные в нашей литературе события, осветить их новым светом, создать неповторимые, живые и пластичные характеры.

Автор любит своих героев, с их бесхитростностью и мудростью, с их простотой и лукавством, он как бы живет их жизнью, входит в каждый дом и, благодаря этому, создает достоверную и многоцветную панораму жизни украинской деревни. Первая сельскохозяйственная коммуна, обосновавшаяся в покинутой помещичьей усадьбе, где люди живут как лебеди, единой дружной стаей, неудержимо притягивает к себе вавилонян. По-разному находят они путь к «лебединой стае», но никакие происки вчерашних хозяев жизни не могут остановить стремительное преобразование народного бытия.

В 1976 году вышел в свет новый роман В. Земляка «Зеленые мельницы». В нем читатель снова встретится с героями «Лебединой стаи», жителями славного Вавилона. Теперь жизнь наладилась, все стабилизировалось, однако вавилонянам предстоит еще перенести страшные испытания: войну, оккупацию. Через эти испытания проводит писатель своих героев в романе «Зеленые мельницы» и показывает, на что способны советские люди, отстаивающие свою свободу, свои идеалы, завоеванные в тяжелой борьбе.

Дилогия об украинской деревне («Лебединая стая» и «Зеленые мельницы»), самое значительное из написанного В. Земляком, оказалась его последним произведением. 18 марта 1977 года, когда печаталась эта книга, Василя Сидоровича Земляка не стало.

Василь Сидорович Земляк ушел из жизни в расцвете творческих сил. Много еще мог бы рассказать он читателям. Однако и то, что создано В. Земляком, дает ему право на почетное место не только в украинской, но и в многонациональной советской литературе.

часть первая

Наш старенький, многогрешный и в чем-то все же немеркнущий Вавилон, у которого, кроме названия, заимствованного из Двуречья, нет ничего общего с Вавилоном месопотамским, стоит, как и стоял издавна, над речкой Чебрецом, малоизвестным притоком Южного Буга, почти неслышным в паводок и бурливо-тревожным в сушь. На высоком прибрежье все лето печально и сине цветет чебрец, самый невзрачный из всех здешних цветов, от него и получила речка свое название. Чебрец-речка манит к себе рощи — ясеневые, березовые, черемуховые, и сам теряется в них, впрочем, ненадолго — сразу же за Вавилоном выбивается из-под старого ольшаника и дальше течет свободно в не такие уж и незнакомые места — к Журбову, где его перегораживает плотина, а оттуда полынной степью до Глинска, где впадает в Южный Буг. В Глинск мы с вами непременно наведаемся.

Вдоль этого водного пути, безнадежно запутанного меж тростников и каменьев, на нескольких холмах, словно бы выхваляющихся друг перед другом, высится над речкой Вавилон, старый и позднейший, связанный воедино довольно-таки ветхой запрудой, которую ежевесенне съедает паводок, так что ее приходится насыпать почти заново. Этой весной запруда едва ли

не впервые выстояла и на нее оперся просторный пруд; на нем только что отпраздновали Ивана Купалу, а зимой, когда пруд скуют крещенские морозы, на нем же справят и крещение, веселый и незабываемый ледовый праздник. Здесь каждый двор, как в старину Польша, мнит себя «морской державой», потому что обладает выходом к «морю», хоть и небольшим, но вполне достаточным, чтобы поставить мостик для стирки и у самой воды посеять коноплю. А когда конопля подымется, стремясь во что бы то ни стало обогнать соседскую, один из местных чудаков, козел Фабиан (само имя уже проливает кое-какой свет на его особу), выбирает самую высокую и непролазную и устраивает себе там ложе, где можно не только укрыться от жгучей послеобеденной мушиной атаки, но и подумать в одиночестве об этой конопляной державе, история которой вроде бы и не имеет границ во времени...

Фабианов в Вавилоне два — козел и человек, знаменитый здешний гробовщик и мудрец, услуг которого кое-кому из вавилонян не избежать. По метрике он Левко Хоробрый, а по происхождению как будто из рода вавилонских мудрецов, хоть и нет у него на то неопровержимых доказательств. Так вот, по свидетельству этого ревностного знатока родной истории, когда-то наш Вавилон был двухъярусным городом, окруженным валами, остатки которых сохранились и до наших дней; на двух башнях — северной и южной — день и ночь стояла стража. А в центре Вавилона, у самого неба, откуда все предстает в несколько ином свете, будто лежал так называемый Солнечный камень, как у древних инков; по этому камню отсчитывали время — месяцы и годы, хотя, как это делали, позабыто на обоих континентах. Передают и бесчисленное множество других подробностей о прошлом этого раннего поселения, будто бы основанного еще полумифическими таврами, когда чужеземцы вытеснили их с теплых берегов Понта и вынудили искать другое пристанище. Фабиану не верится, чтобы целый народ мог исчезнуть без следа, он допускает, что тавры могли обернуться каким-нибудь другим народом и еще дадут о себе когда-нибудь знать. Что ж, к чему разуверять человека — у погибших народов и без того мало сторонников.

А тем временем Вавилон растерял свое былое величие, давно не стало ни башен, ни двухъярусного города; на месте Солнечного камня стоит истлевшее распятие со времен ордена босых кармелитов, которые в свое время господствовали здесь, пока не прогнал их полковник Богун. Что и говорить, пошатнулся и обветшал Вавилон, запропастилась куда-то последняя пушка, из которой еще не так давно палили в крещение по воображаемому врагу, хотя истинный враг, как понял потом Фабиан, таился в самом Вавилоне.

Ибо сказано же древними о бренности мироздания: «Время бег стремит, все непрочно в мире и преходяще» [1]. Только стожильный вавилонский люд, в котором издавна перемешалась кровь дальних и ближних народов, остался самим собой, и не угас в душе его жар приязни к родному Вавилону, словно бы время и не нанесло вавилонянам никаких ран. И если на знаменитых глинских ярмарках спрашивали, откуда такие славные лошади, или волы, или парни, то в ответ слышалось исполненное превосходства: «Мы вавилонские!» — словно человек и впрямь явился на ярмарку из бог знает каких древних времен...

Таков Вавилон. То сожжет себя ни за что ни про что, то вновь горделиво засияет со своих бугров цинковыми кровлями вперемежку с бедняцкими соломенными стрехами; то заведет серых волов с такими рогами, что на дороге не разминуться, то переведутся они все до одного, и, глядишь, Вавилон уже без ума от маленьких сильных монгольских коньков, на которых в оно время скакали по этим степям завоеватели; то вдруг воздвигнет на горе целую семью работящих ветряков; то, опаленный таврийскими ветрами, переходит на ручные мельнички — «жорна», бедствует, даже нищенствует помаленьку, но и тут держит своих попрошаек в черном теле и не пускает их по миру позориться. Ежели же какой-нибудь беспутный, бывало, и очутится на миру, то уж молчит, откуда прибыл, или, на крайний случай, назовет Чупринки, Козов, а то и самый Глинск. Что ни говорите, а причастность к Солнечному камню и ко всему остальному, чего уж давно нет, но что способно до скончания века тревожить во-

---

[1] Сульпиций Луперк. Бренность мироздания.

ображение гордых вавилонян, причастность ко всему этому брала свое.

Доподлинно неизвестно, чего хотели основатели Вавилона, давая своему поселению столь претенциозное название[1]. Пройти в Ворота бога, пронести через них все лучшее, что было за душой?.. Возможно, и так, возможно, тем неведомым людям захотелось подняться над окружающим миром как можно выше. Теперь мы невольно вспоминаем о них, когда лебединая стая, словно сам дух неукротимости, курлычет над нами во мраке ночи, преодолевая кругосветную усталость, или торжественно молчит, перемеряя провисшими шнурками осенние небеса. И хотя людям прекрасное всегда кажется непривычным, но, как утверждает местный философ, в час испытаний они и сами чем-то напоминают ту лебединую стаю в пути. Уж не тем ли подсознательным стремлением к чему-то, и впрямь непостижимо высокому и потому неосмысленному до конца?.. Об этом каждому свойственно иметь собственные понятия, не претендуя, впрочем, на их окончательность и неоспоримость. За то мы и ценим друг друга, что об одной и той же вещи думаем по-разному. На иного и наш Вавилон может с первого взгляда не произвести впечатления. Следует ли из-за этого сразу же укорять равнодушного или невнимательного, тем более что сам Вавилон от этого нисколечко не потускнеет? Не обретя ни славы, ни величия своего знаменитого предшественника, он все же стоит, тогда как тот существует лишь в легендах и мифах, запредельность коих, полагаем, очевидна всем.

Нелепо искать какие-то роковые совпадения в истории, но наш Вавилон, как и его великий тезка, тоже не избежал уничтожения. Это произошло значительно позднее, в годы войны, а пока что Солнечный камень древних, послужи он дольше, мог бы отметить приближение знаменитых тридцатых годов этого неспокойного века. Именно отсюда мы и начнем сию вавилонскую летопись, любезно приглашая в сотоварищи и помощники читателя и стараясь как можно меньше грешить в ней перед истиной и историей. Надеясь довести повествование и до наших дней, не будем все же торопиться, памятуя, что дерзновенный труд равным

---

[1] Вавилон по-ассирийски — врата бога *(прим. переводчика)*.

образом, как и чтение книг, бывает также и непоспешным, хотя кто из нас не жаждет всей душой скорее довести начатое до конца?

ГЛАВА ПЕРВАЯ

С незапамятных времен установилось, что вавилонские невесты, безнадежно засидевшиеся в девках, находили себе женихов на ярмарке, а с некоторых пор на качелях. Это простейшее и убаюкивающее изобретение принадлежит Орфею Кожушному, ныне уже покойному, а в свое время неизменному местному агенту по распространению швейных машин «Зингер» — немецкой фирмы, имевшей своих коммивояжеров во всей Европе и потому для престижа не пожелавшей оставить без представителя и наш Вавилон, не исключено, что спутав его с Вавилоном месопотамским. Во всяком случае, служащий фирмы в одном из писем спрашивал господина Орфея, сохранилась ли знаменитая Вавилонская башня. Тот, полагая, что это важно для его карьеры, ответил утвердительно. Платили агенту с каждой проданной машины, вот Орфей Кожушный и носился по свету, чтобы сбыть их как можно больше. Говорят, он побывал в Сибири и даже несколько раз в самой Маньчжурии и, возвращаясь из дальних краев в родной Вавилон, где ему так и не удалось сбыть ни единого «Зингера», всякий раз заставал у себя новую дочку, одну из которых назвали Мальвою.

Когда же Орфей состарился в своих торговых странствиях, фирма, достигнув, как он полагал, не без его усилий небывалого расцвета, забыла о нем. К тому времени рождавшиеся в его отсутствие девочки подросли, все как на подбор, одна другой красивее, но женихи не больно-то бросались на это добро, поскольку отец ничего не мог дать за дочерьми, кроме них самих. Тут-то и пришло в голову хитрому агенту соорудить у себя во дворе качели, а уж заботу о «покупателях» необычного товара должны были взять на себя сами девушки. Было их то ли пять, то ли все шесть. Средняя, рассказывают, самая красивая, сорвалась с качелей вместе с землемером, который у Зингеров (так их прозвали в Вавилоне) квартировал.

Обошлось без увечья. Закончив землеустройство, землемер женился на ней, увез ее с собой в город и больше никогда не появлялся в Вавилоне. Однако, пожалуй, выше всех летали на качелях с красивыми Зингерками буденновцы. Одну они забрали с собой в польский поход. Там она стала женой какого-то большого командира. Ничье сердце не могло остаться равнодушным к легкой, как птичье крыло, кленовой доске на четырех веревках, которая, едва на нее становились двое, взмывала к небесам.

Как бы там ни было, но со времен Солнечного камня Вавилон, пожалуй, не изобрел ничего более значительного, чем эти качели. Место для них выбрано чудесное, над самым обрывом, между двумя древними вязами, издавна господствующими над Вавилоном. Позднее, когда Орфея не стало, качели перешли в ведение сельсовета и приглядывал за ними Савка Чибис. На зиму их снимали, а только потянет на весну, вешали вновь. На открытие качелей сходились все — и те, кто стремился ввысь между вязами, и те, кто побаивался высоты, но способен был восхищаться полетом других. Тут пили, дурили, летали над Вавилоном, а если кто и расшибался, то смерть на качелях не почитали за смерть в ее обычном понимании. На что уж местный философ Фабиан и тот из всех возможных смертей желал бы легчайшей — разбиться на качелях. А для его козла они вообще были чудом из чудес, которого ему так и не довелось постичь до самой кончины.

Дольше всех Зингерок качалась над обрывом Мальва — со всеми, кто любил это романтичное место и не страшился кручи под ним, — пока не прикачала себе моего дядю Андриана, высокого, вихрастого и несусветного добряка. Вот уж было плача да воя в хате у Валахов (так звали наш род), когда он сказал, на ком женится! Дядя был уже немолод, на пятый десяток перевалило, поседел в немецком плену после империалистической, повидал свет и людей и на все ехидные намеки насчет Мальвы отвечал вполне категорично: «В Европах на это не глядят».

Валахи отдали ему каморку, пробили в нее отдельный вход в глухой боковой стене. Андриан пристроил к нему крылечко с красным козырьком, сам выбелил хату внутри и со двора, поставил печь, вывел от нее

дымоход, чтоб не зависеть от нас, и привел Мальву Кожушную на готовое. Жили они тихо, красиво, дядя не давал волосу упасть с ее головы, хотя на другой половине хаты их брак упорно не признавали. Каждое воскресенье молодые ходили к тестю на качели и на пироги с рыбой, по-сибирски, оттуда Андриан, набравшись в Европе культуры, вел Мальву под руку. Возвращался зять Зингера, настроенный воинственно, в конюшне он отгородил свою лошадь от нашей, не хотел вместе запрягать, грозился поделить пополам двор, а затем и все остальное, примыкающее к хате, и мы догадывались, что во всем этом давала себя знать работа хитрого и коварного агента, у которого были с нашим родом давние несведенные счеты. Наш дед Левон перехватил когда-то у великого морехода, капитана Серошапки, в аренду десятину, которую до него держали Кожушные. Капитан служил во флоте, а землю сдавал в аренду местным крестьянам, а еще охотнее арендаторам из Глинска, те исправнее платили и, главное, не питали никаких иллюзий, что это их земля, потому что сами на ней никогда не работали, нанимая тех же местных мужиков. Серошапка перешел на сторону революции вместе с экипажем эсминца, который в гражданскую войну был потоплен, а наш предусмотрительный дед-арендатор успел вовремя умереть от сыпняка, да еще к тому же в один день с бабушкой. Землю Серошапки национализировали, и ею вскоре наделили всех безземельных. Не обошли ни Валахов, ни Кожушных, несколько лет и у нас и у них она пустовала, непаханная и незасеянная, но крестьяне народ злопамятный и старую вражду проносят через века.

Постепенно Андриан совсем переметнулся к Зингерам, потребовал из дедовского наследства половину сада при хате и половину левады, как раз ту, на которой стояли урожайные грецкие орехи, а то Мальва, видите ли, из такого рода, где орешки и зимой лущат. Дядя грозился, что, ежели ему добром не отдадут хоть три ореха из семи, он в одну прекрасную ночь срубит все до единого, чтобы никому не досталось. А они, анафемы, ровно назло, в ту осень уродили, как никогда, сами падали и вылущивались, а потом на чердаке пахли, нам на горе, как зимняя сказка. Зима выпала лютая, деревья вымерзли и посохли сами, но

кто же мог поверить, что обошлось без вмешательства Орфея и его зятька. Не проходило и дня, чтобы на нашей половине не проклинали Кожушного. Рикошетом перепадало и немецкой фирме «Зингер», которая, дескать, выпестовала такого агента на беду Валахам, а коль так, то и всему Вавилону.

День за днем, а все к смерти ближе — Орфея ударил

в грудь жеребец, старик промаялся с неделю да так больше и не поднялся, а зятек, потеряв советчика, притих, присмирел, хотя не раз еще хватался за вилы. Однажды сцепились-таки с моим отцом возле обмерзшего колодца. Андриан как раз вернулся с ночной смены из Журбова, где подрабатывал на сахарном заводе. Поя слепого Каштана, отец спросил родича: «С кем это твоя качалась нынче ночью?» Качели на

зиму снимали, и отец, ясное дело, намекал на прежнее Мальвино непостоянство.

А дядя свою Мальву на руках носил, дул на нее, как на рану, однако желал разбогатеть и то и дело пускался промышлять на сторону. Он был мастер на все руки — скорняжил, столярничал, умел класть печи с лежанками, но на весь свет прославился колодцами, которые без числа копал в Германии, а потом здесь, в Вавилоне и окрестных деревнях. В помощники он брал Фабиана либо еще кого из вольных людей, не прикованных к земле, и находил вечные источники подчас на умопомрачительных глубинах. Говорят, он наперед угадывал, где забьют ключи, а где их нет и в помине.

Когда не могли доискаться воды, звали его. Бывало, за ним приезжали из дальних степных сел, с самого что ни на есть безводья. Он перенял у одного степняка, с которым был вместе в плену, забытый всеми способ, которым будто бы еще скифы пользовались, осваивая юг. Искал он воду с помощью соломы. На месте, где хотелось бы вырыть колодец, раскладывал на ночь солому или, еще лучше, рогожные кули. На рассвете осматривал их и как будто по ним определял, что делается под землею. Чтобы не все кули равно пропитывались влагой, Андриан выбирал безросную ночь. На заповедное место указывал самый влажный куль... Так он колдовал иногда несколько ночей кряду, переходя с места на место. В низине проще, там можно все определить по деревьям, по травам, а вот на сухом взгорье отыскать источник нелегко. Но еще труднее пробиться к нему сквозь рыжую толщу юга. И ничем так не страшит подземелье, как вот этим все уменьшающимся клочком неба над тобой, с каждым днем он становится все меньше и меньше, словно вот-вот исчезнет совсем. Зато потом даруется тебе счастливый миг — вдруг средь вечной тишины тревожно, как само сердце земли, забьется ключ и мгновенно соединит землю с небом, на котором раскачивается в свое удовольствие Мальва Кожушная.

Когда Андриану случалось запропаститься надолго, Мальва не больно тужила о нем. Ходила вечерами на качели, предавалась недавним девичьим утехам. Не чуждалась и цыганской вольницы, когда та становилась табором на берегу Чебреца, табором веселым,

богатым, с коваными возами, шелковыми шатрами и табуном горячих коней, — каждое племя на протяжении своей истории переживает эпохи подъема и упадка, а о цыганах что уж и говорить! Они тогда вольно кочевали по свету, пробирались в Вавилон из Бессарабии, а то и из самой Сербии, и каждое лето приходили другие. Хвалились, что люди они честные и гордые, а вовсе не такие, за каких принимает их Вавилон.

Мальву тоже манили неведомые края, но она оставалась за нашей стеной, на утеху Андриану. Возвращаясь со своих колодцев, он еще больше любил ее, не чуял земли под ногами, улетал душой высоко. «Боже, что делает Европа с человеком!» — дивились у нас в хате. Не хотели признать, что не Европа, а Мальва это с ним творит.

Из местных Мальва еще до замужества отдавала предпочтение Даньку Соколюку, в котором тоже находила что-то цыганское, не то сербское. У Соколюков в роду это проявилось нежданно-негаданно, и эта жилка влекла Мальву. Нашего Андриана, седоволосого красивого великана с заметно онемеченными манерами, она, должно быть, никогда и не любила, а вышла за него только нам, Валахам, наперекор. Но с ним расцвела, и хоть была не такого уж высокого роста, но умела, когда надо, приподымать себя на каблучках, глаза имела необычные, синие-синие и глубокие, как Андриановы колодцы, ходила, как по ранжиру, — это уже собственно женское достижение, поскольку вавилонских девушек никто красиво ходить не учил, а походка, как утверждал Фабиан, для женщины первейшая статья. Мальва была не хохотунья, но на качелях умела смеяться так заразительно и без удержу, с такими шаловливыми нотками, что незащищенные парни таяли от одного ее смеха, а мужчины на возрасте несли тот ее смех домой, уж не для того ли, чтоб поделиться им с женою. Верно, не было мужика, который не мечтал полетать с нею на качелях, несмотря на всю ее дурную славу. Только дети, от которых в Вавилоне умели уберечься «скидучим зельем», могли бы утихомирить ее нрав. Андриан уже в первый год их брака смастерил высокую ореховую люльку с резною рамкой, на манер тех, какие видел в Германии, она стояла на солнышке и ждала луча, которому так и не судилось упасть на нее.

У богатея хуторянина, каких немало на Побужском суходоле, Андриан копал с Фабианом свой едва ли не самый глубокий колодец, докопался до студеных глубин, простыл и вскоре слег в скоротечной чахотке. Врач, привезенный из самого Бердичева, по слухам, гениальный знаток сей болезни, выслушав вавилонянина, не сказал ничего утешительного, лишь намекнул Мальве, что она может считать себя вдовой через шесть недель или, быть может, через шесть месяцев, но никак не более. Это было сказано поздней весной, когда облетал яблоневый цвет. Гении не умеют промолчать, даже когда совершают жесточайшие открытия.

А Андриан жил и любил ее все страшнее, все ревнивее, как способны любить только обреченные. Куда девалась его невозмутимость, он все чаще подозревал Мальву в том, чего и не было, придирался к тому, чего прежде не замечал, требовал исповедей, обещал отомстить за все, как только поправится. Обессиленный больше ревностью, чем чахоткой, прикованный к постели, он всевозможными хитростями залучал ее в свои руки и зверски, до багровых полос на теле порол ремнем: нам были слышны удары, которые она сносила не крича, но и не каясь. Наконец, он вопил в отчаянии: «Сгинь, кара моя вавилонская!» — прогонял ее прочь и снова оставался один, бывало, и по нескольку дней кряду, ведь он не желал признавать и родичей: «Радуетесь?! А что запоете, как она вернется?!» Она и в самом деле возвращалась, но снова ненадолго. А меня Андриан убеждал, что сам посоветовал ей перебраться к Зингерам, чтобы его чахотка не перекинулась на нее. Мне он тоже советовал быть с ним поосторожнее: «Хворь сия легко передается».

Однажды дядя сам постучал к нам в стену, у которой лежал. Послали меня, я дружил с ним тайком от всех и не разделял враждебного отношения в Мальве, которое раздували на нашей половине.

У постели больного сидел Фабиан в своих золотых очках и громко читал ему какую-то книжку не по-нашему. После я узнал, читал он «Пана Тадеуша» в оригинале. Фабиан очень гордился, что мог читать не по-нашему. Так я в первый раз принес им ужин. На двоих — третий, козел, стоял во дворе и рассматривал

свежий рисунок на луне, только что повисшей над ветряками.

Старшие родичи не больно-то часто навещали Андриана, может, боялись чахотки, а мне на нее было наплевать, и Фабиан как-то сказал в перерыве между чтением, что из меня когда-нибудь выйдет великий врач. А пока что дядя Андриан пользовался моими отнюдь не врачебными услугами. Я приносил ему завтраки, обеды и ужины, довольно-таки скудные даже по тогдашним понятиям. Посуда для него сохранялась отдельная, никто ею не пользовался, кроме меня и Фабианова козла, который частенько приходил сюда послушать мудрые речи или развлечься «Паном Тадеушем» в исполнении своего хозяина. Чтобы не носить недоеденные харчи домой, я отдавал их козлу. Тот лакомился маминым борщами, иногда ел гречишные вареники прямо из миски и не мог постичь, как, живя на таких харчах, можно думать о смерти. Впрочем, и дядя думал о ней все меньше. Он лежал в постели торжественный, умытый, выбритый Фабианом, в белой рубашке, которая на нем никогда не мялась, высушенный чахоткой и любовью. А ведь еще так недавно он приносил Мальве непочатую воду[1] из своих колодцев, от той непочатой воды ей снились дивные сны. Она умела рассказывать их со всеми подробностями, и за это Андриан еще больше любил ее.

Я заметил, что он стыдился своей болезни, выходил во двор только ночью и, весь в белом, стоя у стены, подолгу смотрел на Вавилонскую гору, где жила теперь его Мальва. Потом, уже за полночь, слышно было, как он топал в сапогах по хате, и долго еще, верно, до самой зари, его окно струило свет, выхватывая из зарослей лавочку, которую он смастерил вскоре после женитьбы. Правда, вместе они редко сидели на той лавочке, зато, когда дядя уходил в дальние села и пропадал там месяц-другой, Мальва одна сиживала на ней частенько. Сейчас мне было очень любопытно, что больной делает по ночам, не спит же он при свете (тогда керосин не тратили почем зря, в кооперацию его завозили редко и расходовали бережно). Раз я тихонько выбрался из хаты и поглядел в окно: дядя лежал, заложив руки за голову, и смотрел

[1] Первая вода, взятая из нового колодца *(прим. автора)*.

прямо перед собой. Я долго стоял под окном, но он за все время даже не пошевельнулся. Лежал длинный и торжественный, словно скифский царь на одре, и была в этом огромная и давняя человеческая печаль. Наверно, он отрывался от этих своих всенощных дум только для того, чтобы подвернуть фитиль в керосиновой лампе на сундуке возле читаных-перечитаных книжек, которые приносил больному Фабиан. Мне великодушно позволяли рассматривать в них картинки. Пан Тадеуш был моим любимым рыцарем, но после дяди, с которым в моем представлении никто не мог сравниться.

Кроме меня и Фабиана его еще иногда навещал Клим Синица, коммунар из Семивод, что в пяти верстах от Вавилона. Он приезжал сюда по вечерам на одноконном возке и засиживался у Андриана до поздней ночи. Это был тоже высокий, худощавый, без руки человек с мужественным смуглым лицом и карими глазами, которые лучились улыбкой. Носил он галифе и синюю вельветовую рубашку с ремешком. Много курил, а говорил мало, да и то все больше отвечал на вопросы Андриана. Дядя, должно быть, знал Клима Синицу, когда тот был словоохотливее, прощал ему нынешнюю молчаливость и очень гордился этими его вечерними визитами. Коммунар всякий раз привозил больному либо обливной горшок меда из только что собранного в коммуне, либо фунт масла пирожком, по-крестьянски, обернутый в сырую тряпочку, либо красную головку сыра, который варили на коммунской сыроварне.

— Ну, теперь, считай, выкарабкаюсь, — хвалился дядя, когда я на другое утро после посещения Клима приносил ему поесть. — Снова Клим подбросил мне лекарств. Хочешь свежего меда?

Он наливал мне в чистую мисочку и говорил:

— Занеси Валахам, чтоб не думали, что я без них совсем околел бы. Вся коммуна за меня взялась. Вот, парень, что за человек этот Клим... Другому какое бы дело до меня?.. Так, малыш? Твои Валахи в жизни такого меда не ели... Эспарцет. Медонос такой в коммуне завели...

Сошлись они в Журбове, на сахарном заводе Терещенко, перед самой войной, каждый сезон ходили туда на заработки. Клим стоял на резке, Андриан —

кочегаром в котельной. Вавилонский помещик собирался приобрести паровик, вот наш дед Левон, прослышав об этом, и послал сына в заводскую котельную, чтоб тот подучился и перехватил выгодное место. Журбов недалеко, от нас верст десять будет, так что ребята каждый праздник приходили к деду погостить. Кроме сына у деда было еще трое девок на выданье. Но ни одна из них не растревожила сердце молодого сезонника, и деда это нисколечко не печалило — ему не по душе были бунтарские настроения сыновнего друга. А когда он к тому же узнал, что отец Клима — голяк из Козова, который развозит по деревням красную и белую глину, то и вовсе охладел к парню. Дед наш и сам метался, как кот на глине.

Однако Клим недаром зачастил в Вавилон, он нашел себе здесь избранницу сердца, Рузю, дальнюю родственницу Валахов. Это была меланхоличная, молчаливая красавица, единственная дочка в семье. Она влюбилась в Клима безрассудно и отважно и, когда тот долго не появлялся в Вавилоне, сама украдкой ходила к нему в Журбов, на завод. Но Рузины родители не захотели их брака и поспешно, против воли дочки, силком выдали ее замуж за некоего Петра Джуру из Пыхова. Джура старше ее лет на десять, если не больше, он-то и занял место на господском паровике, который как раз выписали из Одессы, а дед с Андрианом остались в дураках, поскольку выяснилось, что Андриана к машинам вовсе не тянуло, он и не подходил к ним ближе, чем на длину кочегарской лопаты, не выносил их запаха и даже боялся паровика, когда тот принимался за свою неистовую работу.

Паровик вскоре сожгли вместе с экономией Тысевича, однако Рузин примак оказался человеком деятельным и отчаянным. Он как-то ловко избавился от тестя и тещи — обоих похоронили в один день (после ходили слухи, что Джура просто отравил их), — обратил в деньги их состояние: волов, овец, ясеневый лесок на леваде. И не прошло много времени, как, к величайшему изумлению вавилонян, выписал себе трактор из самой Америки, вспахал им свое поле, а потом стакнулся с хозяином молотилки из Козова, неким Парахоней, и в жатву они носились по окрестным деревням, обмолачивали хлеб машиной — один

зарабатывал на молотилку, другой на трактор, чтобы к следующей страде разойтись, заимев то и другое.

Рузя же, предоставленная самой себе и своим печалям, все больше отчуждалась от нелюбимого, стала и днем завешивать окна, совсем не бывала на людях, а из родичей навещал ее один Андриан, пока был здоров. Рузин дом, просторный, с высокими окнами, стоял неподалеку от нас, через запруду, в сырой низинке; даже и не верилось, что где-то в полутьме этого дома, пока Джура носится по свету в поисках работы для своего «фордзона», живет Рузя, недавняя вавилонская красавица и первая любовь Клима Синицы. Удивляло, что тот теперь совсем не поминает о ней, как и дядя Андриан о своей Мальве, ведь, когда коммунар проезжает мимо Рузиного дома, сердце у него, верно, колотится, как птица в силке, — он и до сей поры не женился, а угасший Рузин дом стоит, как укор людям.

На этот раз Клим Синица приехал к другу чуть ли не в полночь — в коммуне уборка шла неровно, так что днем выбраться было некогда. И не привез ничего из своих «лекарств», только связку перепелок, подстреленных в пшенице, которую нынче докашивали. На крыльях перепелок засохли капли крови. Андриан передал связку мне, попросил зажарить ему дичь на завтрак. Выглядел он этой ночью совсем скверно, тяжело дышал да и на дворе как раз стояла нестерпимая духота, а в Сибирь перебираться было уже поздно. Фабиан говорит, что чахотка не любит Сибири и проходит там за одну зиму. Клим улыбнулся, услыхав это запоздалое открытие.

Когда я выходил от дяди с трофеями, на нашей половине было темно, там уже спали, и тут мне привиделось что-то, похожее на женщину в черном. О Рузе я совсем забыл и подумал: это смерть пришла за Андрианом. Испуганно фыркнула лошадь Клима Синицы, запряженная в возок, видение исчезло, побежало через ельник тропкой на запруду. К счастью, дверь в сенях была, как всегда, отперта, и я стремглав метнулся в сонную хату, где разлеглось на сене наше немалое семейство.

Утром, когда я принес дяде тушеных перепелок, у постели его стояла Мальва. Она стояла, как стоят над

умершими, утирала кончиком тернового[1] платка слезы, и я подумал, что «скифский царь», как когда-то, бог знает за что, называла Мальва мужа, только в эту ночь перестал любить ее. Поставив на стол горячее блюдо, я выбежал во двор, чтобы сказать нашим о смерти Андриана, и тут увидел Рузю. Она поднималась по дорожке через ельник, растерянная, в черном. И казалась совсем не сумасшедшей. Рузя шла к человеку, который когда-то привел в Вавилон Клима Синицу, а потом один из немногих не забывал приходить и отворять окно в ее потемки. Постояв на крылечке, Рузя вошла в хату боязливо, хотя и знала, что сейчас там не может быть Клима Синицы, встречи с которым она боялась больше всего, потому что это была бы встреча с любовью, для нее уже недоступной...

С утра в старенькой церкви, куда изредка наезжает батюшка из Глинска (свой, отец Сошка, умер в пост), зазвонили за упокой... Фабиан привычным жестом смел с верстака стружку, заложил за голенище складной аршин, кое-как притворил дверь в свое жилище, которое никогда не запирал, и двинулся в сопровождении своего верного товарища верхними улочками в наивероятнейшем направлении. Он никогда не снимал со своих клиентов мерку заранее, чем грешил до него старый Панкрат, и все же ничья смерть не заставала его врасплох, ибо рассматривалась им как неотвратимость, в отношении которой горячиться бесполезно.

Прежде о смерти оповещал сам Сошка, который не желал держать в приходе лишнего человека и в случае нужды совмещал высокий сан священника с обязанностями звонаря. Теперь же это взял на себя Савка Чибис, сельсоветский исполнитель, на том единственном основании, что сельсовет имеет такое же отношение к смерти вавилонян, как и к их рождению. Иногда, чаще всего касательно зажиточных мужиков, Савка Чибис опережает события и тем самым ставит философа-гробовщика в довольно-таки смешное положение. А может, и на этот раз блаженный Савка все перепутал? Ведь замечено же, что и самые ветхие из вавилонян редко умирают в страду. За работой им просто некогда этим заняться. Обычно

---

[1] Либо красный с вышитыми на нем черными розами, либо черный с красными *(прим. переводчика)*.

в жилище Фабиана в эту пору хоть шаром покати, а безработица так доканывает бедняту, что Вавилон ничуть не удивился бы, если б в один прекрасный день зазвонили по самому гробовщику... Но нет, на этот раз сомнений быть не могло. Фабиана охватила тоска по другу. И он заспешил на Чапличеву гору, где издавна селились Валахи.

На улице, неподалеку от их двора, он увидел старую Зингериху. Строгая, в черном, она направлялась туда же, куда и оба Фабиана. Несла георгины для зятя, густо-красные, почти пурпурные, еще в капельках грусти.

— Теперь я, Левко, совсем осиротела. Ни мужа, ни зятька, — сказала она.

— Живя, готовься к смерти,— успокоил ее философ.

Козел рядом выступал величественно, как, впрочем, всегда при появлении женщины, да еще самой Зингерихи.

К женской половине Вавилона, как и всюду, очень влиятельной, оба Фабиана относились с предубеждением. У одного прошли уже годы, когда он мог свободно избрать себе любую из прекрасных вавилонянок, а другой, должно быть, истолковав по-своему это одиночество философа, затаил против женщин чувство, близкое к презрению.

Женщины платили козлу такой же неприязнью, иные откровенно глумились над ним, и ему приходилось их остерегаться, в особенности беременных — эти при встрече с ним на улице, в сельсовете или еще где-нибудь крестились и возводили глаза к небу, а некоторые плевались.

Изо всех женщин одна Мальва Кожушная, кажется, относилась к козлу благосклонно и даже здоровалась с ним, как с самим философом, всякий раз спрашивая при встрече: «Как живешь, Фабиан?» Только сейчас, стоя на крылечке, она промолчала. Философ прошел снимать мерку, а Зингериха — закрыть глаза зятю, что, впрочем, тоже надо делать умеючи. Вместе с цветами Зингериха предусмотрительно прихватила два пятака.

Хоронили Андриана спокойно, тихо, так хоронят великих людей, по которым не принято в голос уби-

ваться. Гроб несли на руках, а за ним два мальчика вели коня с черной ленточкой в гриве. С некоторых пор за конем присматривал мой отец, и тот в чужих руках заметно осунулся, но еще и сейчас казался достаточно независимым, как при хозяине, и шагал грациозно, не знал еще, бедняга, что переходит на женское попечение.

Рузя в черном атласе всю дорогу улыбалась, а когда Клим Синица, шедший с непокрытой головой, поздоровался с нею, отшатнулась и скрылась в толпе. Мальва заплакала только на кладбище, когда Фабиан забил в гроб товарища первый гвоздь. На крышке не было изображения Мальвы, на которое он потратил столько искусства. «Скифский царь» пожелал было, чтобы на крышке было ее резное изображение, но потом за несколько дней до смерти отказался. Резчик же старался, и теперь неоконченный портрет Мальвы на вязовой доске во весь рост стоит у стены в лачужке Фабиана. Клим Синица не остался на поминки, подался в коммуну на своем возке. Когда гости захмелели, Рузя спела забытую всеми песню «Ой, зацвели фиалочки».

Только конь плакал в стойле, не брал поминального сена, которое положили ему в ясли. Да еще я не мог примириться с мыслью, что больше не придется ходить на половину Андриана, где вопреки болезни творилось нечто невыразимо прекрасное, особенно когда там собиралась вся вечерняя компания.

На следующий день жгли вещи Андриана: постель, белье и его белые рубахи, которых он не снашивал в лохмотья, потому что не терпел на одежде заплат. Жгли посреди двора на спорыше, где, может, резвились бы Андриановы дети, сложись все чуть иначе. Кроме Мальвы, которая все это затеяла, на сожжении был Фабиан, заметно смущенный и опечаленный тем, что Мальва не догадывается предложить ему все эти мужнины рубашки. Хорошие, в которых можно бы еще пофрантить, и сношенные — эти так бы лежали на память о друге. Валахи тоже не дали бы ничему пропасть. И только я среди вещей ничего подходящего для себя не нашел. Философ пришел спасти книги, которые он приносил больному. Инквизиторша хотела сжечь и их, боялась, что разнесут по Вавилону чахотку. И когда Фабиан, нагруженный книгами, на страницах которых

еще не выстыли следы пальцев ее мужа (дядя слюнил пальцы, когда листал страницы, даром что был европейского воспитания), деликатно спросил, как она теперь будет жить одна, Мальва искоса глянула на догоравший на огне вышитый воротник мужниной сорочки: «Кто-нибудь и меня вот так спалит, если от чахотки помру...» Дольше всего тлела брезентовая роба, в которой Андриан копал свои колодцы. Я втайне радовался, что их Мальва не может сжечь, колодцы сгорают последними...

Человеческий Вавилон часто представляется Фабиану лебединой стаей, когда с вожаком, а когда и без вожака, хотя и стая не может существовать без направляющего, без ведущей пары: перед лицом опасности хоть один смельчак да отыщется среди рядовых, чтобы предостеречь стаю от смерти, не дать погибнуть в непроглядном тумане, или разбиться о скалы, или забраться прежде времени слишком далеко на север, куда вечно порывается молодняк в своем безумстве первооткрывателей. В критическую минуту нечто подобное происходит и здесь, в Вавилоне, каждая эпоха выдвигает своего смельчака, свою ведущую пару. Но что-то и отличает Вавилон от лебединой стаи, что-то очень существенное, уж не то ли, что зародилось в голове философа сегодня при сожжении добра его товарища?

Там нерушимая, почти фатальная моногамия, обреченность особи как таковой: если гибнет он, гибнет и она; в Вавилоне же супруги свободны от такой участи: если погибает он, она не обязана бросаться грудью на грешную землю, у нее есть надежда избрать себе нового товарища, вылетать на вавилонских качелях новую любовь. Только Мальве не скоро дождаться пары — кто же захочет сгореть, как Андриан?.. Мальва размечталась, раскраснелась у костра, подгребая жар, чтобы он лучше выполнял свою работу...

Фабиан возвращался домой с немалой связкой книжек, в которых, однако, не содержалось мудрого ответа, годного на этот случай. В сопровождении козла, но испепеленный и одинокий, как никогда. Величайшая скорбь охватила его, когда он выбрался на самую макушку Вавилона и остановился передохнуть подле распятия, откуда весь мир кажется распростертым у ног.

Вавилон жил внизу своей обычной жизнью, тарахтели порожние арбы, торопясь за снопами, а с поля скрипели полные, они кряхтели, как белоголовые старцы, взбираясь на гору; на нескольких гумнах наперебой били цепы, словно богатыри норовили замолотить друг друга до смерти; где-то, вроде у Матвия Гусака, Панько Кочубей холостил боровков, те визжали до хрипоты, словно это могло им помочь; едва вился прощальный дымок на Андриановом пепелище, вился и тянулся сюда, к Фабиану, словно душа покойного к старому товарищу; понуро стоял под распятием опечаленный козел; а на пороге сельсовета сидел Савка Чибис и смеялся не отчего... «Мало им Рузи, они еще и Савку свели с ума, а там, глядишь, и мой черед», — подумал Фабиан. И спросил через выгон:

— Над чем смеешься, Савка?

Тот зыркнул на двоих чудаков под распятием, одного из них он давно уже считал тронутым.

— А вам что до моего смеха? Может, я над Вавилоном смеюсь. Вы же не сельсовет, чтобы все знать... — И продолжал смеяться не отчего.

Когда Мальва оставила наш двор, я плакал, забившись в дровяник. Плакал не оттого, что больше никогда не будет у нас в роду такой красавицы, а, верно, оттого, что нет больше среди Валахов дяди Андриана, который мог бы снова отвоевать ее у похотливого Вавилона, и теперь она украсит собою чей-то другой род, чье-то другое жилище. Мне было бы легче, умри и она от чахотки разом с дядей, чтобы мы схоронили их в один день. Вавилонские старухи стоят на том, что ежели муж умер от чахотки, то скоро и жене от того же помирать. После инквизиции Мальва еще вынесла на чердак подушки в одних наперниках, чтобы они там выветривались, потом собрала в узелок свои пожитки (самое ценное она загодя перенесла к матери), заперла хату и, перекрестясь на дверь, за которой ей не выпало большого счастья, пошла в конюшню забирать коня. Конь с некоторых пор целиком перешел в наши руки, и на этом основании вроде уже считалось, что он наш. Теперь Валахи прилипли своими курносыми носами к стеклам, надеялись еще, что она не посмеет забрать коня, а может, ожидали, что он и сам не дастся. Но он покорно вышел из стойла и поб-

рел за нею на поводу, словно сам Андриан вел его. Наш слепой Калпган, теряя не только помощника намного моложе, но и поводыря в дороге, заржал в стойле и потом долго еще тосковал по нему. Это было, несомненно, самое крупное ограбление Валахов, даже большее, чем смерть Андриана, — наше поле теперь будет стоять непаханое, тогда как Мальве конь ни к чему. Каких только проклятий не выдумано в Вавилоне на случай, когда речь идет о лошадях! «А носить ему тебя по белу свету вниз головою! А лежать бы тебе под его подковами!» (Хоть коня и не ковали ни разу!) И откуда только все это берется? Один отец не проронил ни слова, а набрал из колодца ведерко воды и залил догорающий костер, чтобы ночью, как подует ветерок от мельниц, не возникло бы пожара. В том, как он это делал, я почувствовал крепкого хозяина, который не даст нам, ограбленным, пропасть. А когда погрустневшие Валахи собрались ужинать и на столе снова появился кулиш, затертый конопляным семенем, отец вспомнил о кларнете (единственная ценность, с которой он пошел в примаки, закончив службу в продотряде) и заиграл для Валахов нечто весьма мажорное. Можно было бы и порадоваться, что нет больше за стенкой Мальвы Кожушной. Но радости не было. Забитые и ослепленные ненавистью Валахи не могли все же не ощутить, что лишились некоей непривычной для них души, едва коснувшись ее своей жизнью... Потом только выжженный спорыш во дворе, который никак не рос на том месте, постоянно напоминал о ней, да еще разве потускневшее оконце каморки, беспрепятственно оплетаемое паутиною.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Родился Клим Синица неподалеку, в местах, которые погожим днем, а тем более осенним, когда воздух прозрачен и недвижим, можно легко увидеть с Вавилонской горы; в старину то был город Козов, не столь большой, сколь многолюдный, с белыми звонницами, с руинами старой крепости, а ярмарками своими стяжавший едва не европейскую славу. Впоследствии от них осталось только присловье: «Долог, как козовская ярмарка». Синицы торговали на этих

ярмарках красной глиной, неисчерпаемые запасы ее залегали тут же, у самой хаты, которую хозяева каждую весну красили в оранжевый цвет, рекламируя таким способом свой товар. Когда Клим подрос, отец и его приспособил к своему нелегкому промыслу. Они обрабатывали глину вручную, как хлеб, сушили ее в холодке, чтоб не трескалась, странствовали с нею по окрестным селам и меняли на зерно, поскольку своего поля у Синиц сроду не было. Может, и разбогатели бы на этом промысле, если бы в дальних селах, где они сбывали товар, не распространился слух о двух бунтовщиках из Козова, отце и сыне, которые, мол, неспроста красят села и даже целые города в маков цвет. Бедняг вызвали к уряднику, хоть они даже и не подозревали, как прославила их красная глина. Им пригрозили отобрать глинницу в пользу казны, а их самих, ежели не прекратят агитации, отправить к медведям.

Пришлось Синицам искать другой хлеб. Но, когда впоследствии заинтересовался ими первый ревком, они заслугами своими перед революцией не кичились, понимая, что не было таковых (мало ли что могло показаться уряднику), но приняли революцию, как и все бедняки. Отец вскоре стал председателем комбеда в Козове, а сына взяли в Первую Конную, когда та шла через Козов на Варшаву. У Клима Синицы ноги как будто и скроены для верховой езды, длинные, литые, они заматерели от глины, которую он носил на себе. В эскадроне смеялись: у Клима такие ноги, что сам наполеоновский маршал Мюрат позавидовал бы. На таких ногах Клим и впрямь мог бы далеко пойти, не оттяпай ему полячок под Бродами левую руку по самый локоть. В горячах он еще отомстил белополяку, догнал и снес его с лошади, но руки, на которой был Рузин перстенек, так и не нашел. Теперь он носил в кармане галифе порожний рукав, и коммунские шутники сразу же окрестили его Полтораруким.

До него в коммуне верховодил Иннокентий Мстиславович Соснин, человек интеллигентный и высокообразованный; он переписывался с большими людьми из центра, одного из них считал своим близким другом и даже за глаза называл Карлом Карловичем. Когда Карла Карловича начали критиковать, это затронуло и Соснина, он оставил коммуну посреди дороги и отбыл в Москву что-то там доказывать, как практик по аграр-

ному вопросу. В коммуну он больше не возвращался, а его комната в бывшем дворце Родзинских долго еще стояла незанятая: коммунары надеялись, что Соснин явится. И когда Клим Синица отпер ее, заняв место Соснина, он нашел там ружье, нечищенное после охоты, да небольшую библиотеку, привезенную Сосниным в Семиводы, когда тот основал коммуну.

Это была комната на втором этаже с инкрустированным потолком, венецианским окном в сад, на озеро, и балконом во двор, за которым виднелось село на горе, а в нем еще и до сей поры иные хатки напоминали Климу о его «революционной деятельности», потому что и сюда, бывало, заглядывали Синицы со своим товаром. Стены в комнате были заклеены изречениями, которые новый жилец признал подходящими и для себя. Соснин писал их наобум, без всякой системы и последовательности и расклеивал на видных местах, чтобы постоянно быть с ними в контакте. Была и такая надпись: «Если у вас есть дом в городе и в деревне и вы хотите остаться в деревне, то поспешите продать городское жилище, иначе все окончится наоборот». Но больше всего пришлось Климу по душе такое изречение: «Земля должна быть слабее земледельца, если в борьбе с ним она хоть раз возьмет верх, земледелец погибнет»[1].

Среди множества афоризмов Клим, однако, не нашел ни одного, которым мог бы воспользоваться для блага коммуны. Он принялся было искать рецепты в книгах своего предшественника, но чтение великих чудаков утопистов мало чем помогало преодолевать невзгоды, выпадавшие коммуне, которая не раз еще при Соснине оказывалась на пороге банкротства, да и теперь была недалека от него. Многие случайные люди, не приобретя тут ни достатка, ни славы, вышли из коммуны и пустились хозяйствовать на своем поле, заполучить которое все еще мог каждый, кто желал его иметь. Местные власти при этом мало заботились, чем это обернется для общего блага.

А в коммуне тем временем хлеб стоял немолоченый, мыши травили его в скирдах; непрореженная свекла разрослась ковром, и спасти ее уже не было

---

[1] Афоризмы карфагенского философа Магона, чьими трудами о земле увлекались в старину *(прим. автора)*.

никакой возможности; большую овечью отару, заведенную еще Сосниным, косила эпизоотия, зараза перекинулась и на частные отары и разила их поголовно, а все это было на руку врагам коммуны. Еще Соснин шутил, что когда-то в Англии овцы съели людей, а тут угрожают коммуне. Но Климу было не до шуток, он быстренько перерезал уцелевших к его приходу овец, натопил несколько бочек сала, а мясо пустил на коммунскую кухню. Искал совета на этот случай у самого Фурье, а не найдя, поносил Соснина за неоправданную страсть к овцам, с помощью которых тот собирался обогатить и прославить коммуну.

И вот именно в такую неблагодатную для коммуны пору явилась Мальва Кожушная. В сумерки у парадного крыльца привязала коня с подушечкой, служившей ей седлом, и поднялась на второй этаж, обветренная от езды, с хворостинкой, в красных сапожках, купленных Андрианом на выручку за один из последних колодцев; на голове черная газовая шаль, а под нею сама чистота; вот только пучок череды пристал к ее зеленому платью...

Клим Синица как раз дочитывал Фурье, одет был по-домашнему, в нижней сорочке, застиранной в коммуновской прачечной, и, оторопев, вместо того, чтобы обрадоваться поздней гостье и посадить ее в глубокое кожаное кресло, в котором любил попивать чаек Соснин, сам в полном отчаянии упал в это кресло.

Соснин, говорят, приглашал пить чай и коммунарок, приходивших в коммуну на один сезон, но Клим— боже упаси! Ни одна женщина, кроме старухи Сипович, прибиравшей тут раз в неделю, не переступала порога этой аскетической комнаты с тех пор, как в ней поселился Клим Синица. Над его отшельничеством посмеивались девчата, злословили женщины, но он не мыслил вожака коммуны другим. И вдруг — Мальва с чередой на платье и с хворостинкой, которой погоняла коня. Их беседа, если записать дословно, должно быть, выглядела бы так:

— Что так поздно пришла? Порядочные люди уже спят об эту пору, а ты шатаешься, как неприкаянная. Новое приключеньице ищешь? Так это не здесь...

— А я не пришла, приехала верхом... Бывало, девкой еще пасла вместе с ребятами отцовских лошадей, носилась на них, как черт, а этот, Андриана, конек

такой же покорный, как Андриан. Не верите? Это ему от хозяина передалось. Ничего, что я привязала его у парадного крыльца? Еще, пожалуй, наследит там, и тогда достанется вам от коммуны не так за меня, как за моего коня... Ха-ха-ха!..

— Тут вокруг люди усталые отдыхают, не смейся так громко. Идет тебе эта газовая шаль, ты в ней сама чистота, а только я ведь знаю, что ты за птица, и завтра вся коммуна узнает, что ты побывала здесь, у Клима Синицы, самого стойкого из коммунаров. Говори, что тебе от меня надо, садись на своего конька и лети-ка прочь. И не зыркай по стенам, все равно ничего ты из этого не поймешь, кроме разве вон того афоризма о земле и земледельце...

— Когда-то здесь жил настоящий мужчина, мне нравятся его призывы, мой Андриан требовал только клятв, он не оставил по себе ни надписей, ни писем, но тогда ночью, когда я пришла к нему, он еще жил и сказал мне, что я могу быть счастлива лишь с одним человеком, с его товарищем, который остался верен ему до гроба. Вот я и пришла, вернее, приехала к вам на его коне, одна ехала. А ведь знаете, во рву полно убитых деникинцев и даже генерал среди них похоронен...

— Вон как! Соснин, верно, сломал бы пред тобою свои стрелочки на штанах, которые сам наглаживал через день, если верить коммунарам. И я не корю его за это. Только я из другого теста, меня замесили на красной глине, о ней и до сих пор ходят легенды. Так что иди. Я отсылаю тебя ради коммуны, ради Фурье и Сен-Симона, дай мне довоеваться до высоких истин в любви и революции. А на то, что твой Андриан сболтнул обо мне в агонии, не обращай внимания, он и доныне стоит перед моими глазами, одинокий и чистый, как его колодцы!

— Ехала сюда, и слышалась мне музыка в залах дворца, виделись зажженные свечи в канделябрах, женщины в шелках, а гляжу, и здесь житье безрадостное, такое же, как в Вавилоне...

— Горит хлеб в скирдах, гибнут овцы, кулаки подбросили им какую-то хворь...

— А вы в такой застиранной сорочке, что хочется снять ее и пойти на мостки... Когда я вас впервые увидала в ту ночь, вы вошли с кнутиком, и мне пока-

залось, что это вы меня собрались стегать. Я столько наслышалась о вас от Андриана, что почитала вас рыцарем из рыцарей, еще девочкой слышала о вашей любви к Рузе, а вы всего-навсего застиранный, озабоченный, будничный, эдакий чудак, вылепленный из красной глины. Ха-ха-ха! — смеялась в душе Мальва, свободная, жадная, неприступная, взбудораженная верховой ездой, выкошенной степью и римским величием дворца, где ожидала увидеть совсем другую жизнь...

— Нас не любят, распространяют о нас разные сплетни, мы будто во вражеской осаде. Живем скромно и тихо, духового оркестра нет, банкетов не устраиваем, пол воском не натираем. И даже ворота коммуны отворяем не для всех. Из деникинского рва по мне уже дважды стреляли, когда я возвращался ночью из Глинска. Но мы еще вырвемся из этой осады и заживем тогда по-другому. У нас уже и сейчас больше добра, чем было в имении Родзинских. Паровик английский, молотилка бельгийская, коровок выписали из самой Голландии, своя сыроварня, свой поэт, и даже белые лебеди прилетали к нам этой весной, хоть и не было их несколько лет и уже ходили слухи, что птицы чураются коммуны.

Он подвел Мальву к окну, показал на озеро в парке, там едва маячили птицы в белом сне.

— А что это от вас вроде овечьим салом отдает?

— Все эти дни свежевал овец, топил сало, рабочих рук не хватает в коммуне... Ну и приходится вожаку не верховодить, а работать вместе со всеми. Молочу, скирдую, хожу за плугом, вот только по свекле не взял себе нормы, там пяти пальцев мало, надо хотя бы семь.

— Всю жизнь мечтала жить в этом дворце, так он мне нравился, так манил еще с детских лет! Уж не вступить ли в коммуну? Андриан жалел, что не вступил...

— Я знаю, он говорил. Только поздно... Нам нужны, Мальва, люди смелые, самоотверженные и бескорыстные. Это ассоциация добровольная, как Запорожская Сечь. Одиноких женщин мы принимаем охотно, только не таких, как ты. Много чести для вавилонской блудницы. Нет, живи пока в своем Вавилоне, тебе будет спокойнее без нас, а нам без тебя. Вот после сорока дней приедешь. Я подумаю, как с тобой быть...

— Простите, что так поздно забрела к вам. Все-таки чтоб меньше видели. Может, проводите меня? Боюсь деникинцев. Я еду, а они так и встают изо рва один за другим... У вас, верно, лошадка есть, да и седельце найдется?..

Запахи жнивья, сонный бурьян на деникинцах, лошади стригут ушами, знакомятся, черная шаль развевается на ветру... Кто знает, чем это может кончиться?

В мансарде жил поэт, совесть и слава коммуны, и вот Клим Синица взял рыбачье весло, одиноко стоявшее в углу, вышел на середину комнаты и постучал в потолок.

Днем Володя Яворский варит сыр, а ночью пишет стихи. Соснин был от них в восторге, а новому вожаку коммуны бог не дал таланта разбираться в этом, но и он не представляет коммуны не так без поэта, как без сыровара, рассуждая, что тот не столько прославляет коммуну своими стихами, которые изредка печатает местная газета, сколько красными головками сыра, которыми коммуна торгует одна на все Побужье. Через несколько минут, когда весло уже снова очутилось в углу, послышались тревожные шаги на лестнице и в дверях появился Володя Яворский. С виду это был совсем юноша в кумачовой рубахе навыпуск, в солдатских ушитых галифе, так что получилось что-то вроде гусарских лосин, плотно облегающих бедра, а на ногах изрядно поношенные башмачки, переделанные из женских в мужские, для чего Володя срезал каблуки (из высоких сделал низкие) и укоротил верха, что, впрочем, не помогло скрыть прежнего назначения обуви. В этих башмачках он походил на средневекового испанского гранда, к тому же еще носил буйные, непокорные вихры, в глазах у него читались суровость и независимость духа, а нос тоже был настроен воинственно — когда-то его заметно перекосило в борьбе за справедливость, но так, что он не портил портрета, а лишь гармонически вписывался в него, свидетельствуя, что и будущее обладателю такого носа предстоит нелегкое. Пока же чувствовалось еще в его фигуре юношеское целомудрие или просто стеснительность перед женщиной. Но стоило Мальве прыснуть в ладошку (она впервые увидела живого поэта), как он принял сверхгорделивую позу и независимо бросил вожаку коммуны:

— Если я вам нужен, можно было бы подняться ко мне. Товарищ Соснин частенько так делал, Клим Иванович...

Синица извинился перед ним, потому что и вправду нисколько не хотел его обидеть, а потом сказал:

— Помнишь, я тебе когда-то говорил о моем товарище, о том, который копал колодцы. А это его вдова, Мальва Кожушная. Приехала из Вавилона на ночь глядя. Мне утром в Глинск, так, может, оседлаешь коня и проводишь ее до ветряков, а то и в самый Вавилон?

— Я боюсь деникинцев,— простодушно призналась Мальва.

— Каких деникинцев?— переспросил поэт, ожидая после одного унижения другого.

— Мертвых,— улыбнулся за Мальву Клим Синица.— В нашем рву.

Володя пожалел в душе, что деникинцы не живые, а мертвые, а то он показал бы этой красавице, что такое поэт в бою. Соснин, оставляя коммуну, отдал ему на сохранение свою шашку в ножнах, которую наконец можно было бы применить.

Вернувшись в мансарду, он прицепил к поясу шашку, надел старую буденовку и, хотя ночь выдалась на редкость теплая, кожанку до колен, тоже доставшуюся ему от Соснина, и пошел седлать. Ему, снаряженному для поединка, уже мерещилась боевая ночь, он ведь ни разу не испытывал себя, как солдат в настоящем бою, если не считать кулачных потасовок еще в приюте, где и пострадал его нос. Но, пока он разбудил сторожа в конюшне и вывел коня, которого держали в отдельном стойле, пока поднял стремена (у Клима Синицы командирские ноги), боевого духу у него поубавилось.

Конь Соснина, купленный им за большие деньги, загарцевал под балконом, и всадник, экипированный для сабельного боя, закричал слишком громко:

— Эй, где вы там запропастились? Выходите!

Клим Синица вышел на балкон, увидел у крыльца всадника — конь под седоком проснулся, играл нетерпеливо — и подумал: может, вернуть парня, проводить Мальву самому?..

Выходит Мальва, поднимает с земли подушечку, которую сбросил конь Андриана, прилаживает ее вме-

сто седла. Уже на коне спохватывается — забыла свою хворостинку. Поднимает голову к балкону.

— Там где-то моя хворостинка.

Но Клим не стал ее искать.

Ехали шагом. Сперва знакомились их кони, привыкали друг к другу, фыркали, стригли ушами, остерегаясь ночи, а потом заговорили и они, всадники, которых еще ничто не объединяло, кроме разве тьмы и запахов жнивья.

Она была тронута тем, что он, Володя Яворский, большой поэт (так сказал о нем Клим Синица), не отказался проехаться с нею. Ее конь шел так близко к его коню, что тому пришлось огрызнуться и несколько пригасить атмосферу непринужденности, которая возникала между всадниками.

За полями коммуны начинался деникинский ров, который когда-то был шанцами, лошади пошли осторожнее, испуганно косясь на каждый шорох в зарослях, но поэт напрасно клал руку на эфес, напрасно вглядывался в темень — ни одного хотя бы паршивенького деникинца не появилось. И все же страх не оставлял их обоих, а лошади в одном месте даже отпрянули от рва и понесли. Миновали Абиссинские бугры, на которых рождаются черные бури, проехали хутор Бубелы, остановились у ветряков. Мальва взяла спутника за руку с уздечкой, сказала, что не забудет его услуги, а как наведается еще в коммуну, зайдет к нему в гости. Очень ей любопытно посмотреть его жилье, она никогда не подымалась выше второго этажа, да и то в их «господском» доме. Володя сказал, что покажет ей самый шпиль дворца, летнюю башню, с которой днем видно полмира. Она пожалела, что не сможет приехать днем — боится сплетен,— однако ночью на той башне, верно, еще интересней. На это поэт ничего не мог сказать, он там ночью не бывал, с него хватает и мансарды...

Возвращался Володя шагом, словно боялся развеять, растерять удивительное чувство, которое осталось у него от прощания с этой странной женщиной. Хотелось смеяться, радуясь внезапному появлению этого чувства, и грустно было оттого, что оно такое непрочное, летучее, как семена одуванчика, чуть подует ветерок — и нет его. А ему хотелось, чтобы оно хоть немножко разрослось, укоренилось в нем, хоте-

лось принести его к себе в мансарду и там побыть с ним. И опять ров, и опять ни одного деникинца, ни одной живой души для поединка, между тем родившееся в нем чувство требовало подвига. Но вот конь стал, уперся передними ногами в дорогу, застриг ушами, а всадник невольно выхватил из ножен клинок, и дальняя звездочка вспыхнула на нем.

— Кто тут? — бросил он в черные заросли, высоко занося шашку.

Ему ответили сквозь смешок:

— Деникинцы.— Для такого серьезного случая прием почти недозволенный.

— Какие деникинцы? Таких теперь нет. За кого вы?

— За царя и отечество... А ты?

— А ну покажитесь! Выйдите сюда!

— Как же мы покажемся, когда мы духи? А ты кто? Тоже дух или коммунар?

И когда один из духов сунулся из рва, чтобы посмотреть, с кем они имеют дело, конь поднялся на дыбы, а всадник чуть не вылетел из седла — он впервые поверил в существование духов, против которых шашка ничто, и припустил с поля боя на таком аллюре, что пролетел ворота коммуны и остановился только в пруду, в заезде, где мужики мочат пересохшие колеса телег и куда общественное стадо заходит на водопой, когда возвращается с луга. Набрав полнехонькие башмаки воды, он сообразил, что шашка более ни к чему, и еле засунул ее в ножны. Конь тоже остыл, угомонился, и герой тихонько посвистал ему, как посвистывают всем лошадям, приохочивая их пить.

Чувство к вавилонской вдовице облетело, как одуванчик, осталась лишь заноза в душе — неведомое доныне подозрение, которое вдовушка вселила в него и которому он сам только что нашел подтверждение, будто злые духи и вправду оживают во рву и их даже можно увидеть. Сказать об этом Климу Синице или промолчать? Этот не верит в духов, а вот Соснин говаривал, что все великие поэты верили в духов и о них написали свои самые гениальные творения. Вон вспугнутые им белые лебеди ширяют над озером, тоже как духи, чистые и величественные, может, ради них Володя Яворский держится за мансарду и душную сыро-

варню, ведь никто не знает, что это у них на крыльях он пишет стихи, что эти птицы сделали его поэтом.

Клим Синица уже бил в рельсу, будил коммуну работать. Нет, пожалуй, он легкомысленно послал с Мальвой сыровара. Синица вспомнил, что кончается красный лак для полировки сыра. Вынул книжечку, записал: «Обратиться к голландским коммунистам, чтобы прислали красного лаку». А вот, наконец, и сам сыровар спешился, ведет коня в поводу, чавкает своими «мокасинами», волоча по земле длиннющую шашку. Улыбнулся Клим Синица.

— Где так долго мешкал, парень?

А тот ему на полном серьезе:

— Тихо, не кричите... Проводил эту вашу женщину до ветряков. Еду себе один мимо рва, держу руку на эфесе, а тут — деникинцы. Конечно, какие, к черту, деникинцы, нынешняя контра устроила засаду, хотела взять живьем, да я не дался...

Далее с величайшим блеском была описана сеча, в которой сыровар рубился, как Олеко Дундич, однако рассказчик забыл, с кем имеет дело, и зашел слишком далеко в своих вымыслах. Клим Синица приказал ему вынуть шашку из ножен, дохнул вдоль лезвия и сказал:

— Эта шашка еще не бывала в бою, и я советую тебе сдать ее в наш музей.

А так как музея еще и не было, вожак коммуны только собирался основать его, то он вернул шашку сыровару, тот вложил ее в ножны и, понурясь, повел в конюшню коня. С него облетали последние пушинки дивных переживаний.

Двор наполнился мычанием коров — от них на весь день, до возвращения с пастбища, отлучали телят,— ржанием лошадей, выгулявшихся на овсе и теперь затевавших драки у водопоя, и людским гомоном, каждое утро создававшим впечатление, что коммуна вот-вот развалится и ей ни за что не начать новый день, хотя с вечера все казалось как нельзя лучше налаженным для дальнейшего ее процветания. Поэту были уже привычны эти шумные коммунские рассветы, и он пришел в сыроварню без малейшего смущения, гордо и красиво, как никогда, словно в сознании своего

высокого совершенства. Сегодня он сварит неслыханный сыр, а завтра повезет в Глинск созревшие прежде головки из ранних весенних партий.

Около полудня, когда новая партия сыра была уже сварена, сформована и разложена на полках в подвале, а бригада Володи Яворского выбралась из духоты и смрада на травку, чтобы передохнуть в тени, в сыроварню наведался Клим Синица. Запах сыроварни был, правда, сам по себе не больно приятен, но Синице нравился — тут он придерживался принципа одного римского императора, говорившего, что деньги не пахнут. Сыроварня, основанная Сосниным для внутренних нужд коммуны, постепенно стала чуть ли не важнейшим источником прибылей, кроме голландского сыра там вырабатывали еще овечью брынзу (до падежа овец). Чем усерднее глинские нэпманы стремились открыть для себя тайну сыроварения, тем старательнее коммуна хранила ее, лишь бы не потерять свое монопольное положение в этом редкостном промысле. Посторонним входить в сыроварню категорически запрещалось, свободный доступ туда имел лишь вожак коммуны, да и то в присутствии сыровара. Соснин любил бывать на самом процессе варки, в часы священнодействия, а Клима Синицу больше интересовала готовая продукция, когда созревший сыр пускал первую слезу. Вот и теперь коммунар пересчитал красные головки, поспевшие на полках, подписал сыровару акт на продажу сыра, а потом попробовал кусочек от надрезанной дегустационной головки. Соснин за несколько проб ухитрялся съесть всю, а этот ограничивался небольшим кусочком, всякий раз хваля сыровара. Однако теперь он не сказал ни одного доброго слова, хотя сыр, сваренный из первого весеннего молока, таял во рту. А выходя, словно бы невзначай обронил о Мальве:

— И что за манера привязывать лошадь к парадному крыльцу? Мало того, что конь всю ночь стоит голодный и грызет крыльцо, так еще, чего доброго, коммунары подумают, что она ко мне ездит. Эх, не сказал ей, чтобы забыла сюда путь...

И с тем поехал к молотилке, на дальнее урочище. Там паровик отчаянно кричал до поздней ночи, просил снопов, а поэту все казалось, что это напоминает о себе Клим Синица.

В тот вечер поэта охватила какая-то странная, до тех пор неведомая ему печаль, а на озере допоздна не могли угомониться белые птицы — он и прежде замечал, что эти впечатлительные существа как будто способны проникаться его настроением. Было жаль, что накануне он проводил Мальву не до самого дома, как сделал бы любой другой парень, а только до ветряков, и, если теперь его потянет отыскать ее в Вавилоне, это, пожалуй, будет нелегко. Кроме того, Синица приказал сторожам не давать сыровару верховую лошадь, с него, мол, станется загубить и себя и скотину. Предусмотрительность Синицы казалась просто поразительной, ведь и в самом деле, будь у парня лошадь, он давно уже умчался бы в Вавилон.

Еще и первые стихи о Мальве не были написаны, а она уже снова прискакала на своем буланом. Привязала его у крыльца и, заметив, что в комнате вожака коммуны темно, с легким сердцем поднялась по лесенке в мансарду. Правда, у дверей Синицы она все же невольно остановилась, перевела дух и дальше шла совсем тихо, боялась разбудить вожака, если тот спит. Но это была напрасная предосторожность. Оказалось, что он у барабана молотилки: работник там один, вот Синица и подменяет его, так что вернется, видно, не скоро. Мальва чувствовала себя в мансарде свободно, звонко смеялась, когда поэт рассказывал ей о своем ночном поединке с «деникинцами».

«Проделки вавилонских парней, не иначе»,— подумала Мальва. Она догадывалась, что это могли быть братья Соколюки. У них поле на Абиссинских буграх, где, между прочим, и ее десятина, иногда они там ночуют, могли приметить, как она ехала сюда, вот и устроили засаду, чтобы отвадить Мальву от коммуны, а то и просто ради шутки. Только рубиться из-за нее на саблях — это уж, пожалуй, слишком, хоть Мальве и льстило, что такой великий поэт бился за нее с «духами». И она добавила, улыбаясь, что один дух, верно, был черный, с бородой, а другой белобрысый, очкастый. Но поэт в пылу битвы примет-то как раз и не разглядел — духи, они ведь безликие...

Сторож проявил твердость, лошади не дал, и Мальве пришлось возвращаться домой в одиночестве. На этот раз «духи» напомнили о себе на Абиссинских буграх, мимо которых она проезжала. «Эй, Мальва,

стой!» Но она, припав к гриве коня, помчалась во весь опор. Данько Соколюк своим лошадям спутывал на ночь ноги железными путами (предосторожность опытного конокрада!), и теперь ему не оставалось ничего другого, как только рассмеяться ей вслед. Но недобрый это был смех. Еще недавно Мальва ни за что не проехала бы мимо Абиссинии. А теперь вот повадилась в белые палаты, которые днем с бугров видны отлично, а ночью лишь едва маячат во мгле. Так на Абиссинских буграх зрела злость на коммуну, злость, которой прежде там не было...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Последний раз Вавилон горел двадцать лет назад, в самую страду, когда в эти вообще-то благодатные края проникает с юга таврийская засуха. От нее болит голова, останавливаются ветряки на холмах, а на пыльных дорогах встают миражи — замки, в которых живут разве что вымершие тавры, основатели Вавилона. Под этим, кажется, недвижимым сводом ни с того ни с сего сшибаются в могучем поединке высоченные черные смерчи и, отрываясь от земли, плашмя падают за лиловые горизонты. Вавилон вспыхнул именно в такой зной в самый полдень, когда жнецы в степи собирались отметить невеселые зажинки[1] на помещичьем поле.

Занялась хата Соколюков, с нее пламя мигом переметнулось на соседей, а там пошло пожирать соломенные кровли бедняков, не щадя по пути и железных крыш, скручивая их в легкие, как перышко, свитки и поджигая ими небо. Жнецы бежали на пожар с косами и серпами, словно эту беду могли принести воинственные чужеземцы, не раз в давние времена разорявшие Вавилон. Впрочем, мы порой бываем несправедливы к нашим прежним недругам. Поджигателей схватили в глинище, месте, для такого случая безопасном и даже по-своему уютном, связали и надлежащим образом спровадили в Глинск к приставу заодно с их отцом Миколаем Соколюком.

Одному поджигателю, Даньку, было тогда десять

---

[1] Праздник первого снопа *(прим. переводчика)*.

лет, другому, Лукьяну, около того же. На допросе с помощью розог легко выяснили, как сожгли Вавилон. Оказалось, что истинным виновником трагедии был соседский кот, который повадился к Соколюкам в бурьян и все лето красное выпивал там куриные яйца, до тех самых пор, пока два озорника не догадались привязать ему к хвосту фитиль, облитый керосином. Подожженный кот выбрал для своей неслыханной мести чердак их собственного дома.

Теперь обоим поджигателям перевалило за тридцать, с разницей в один год. Разница так невелика, что каждый вправе мнить себя хозяином двора, хотя по шнурованной книге, хранящейся в сельсовете[1], главой всему является их мать Варвара Хомовна Соколюк, уроженка Вавилона, в свое время доставшаяся ныне уже покойному Миколаю Соколюку легко и беспрепятственно, поскольку родом была из голи вавилонской.

И вот снова жатва, но уже который день Соколюки не могут выбраться на поле, разбросанное, как и у их соседа Явтуха, в нескольких урочищах. Один клочок под Чупринками, другой под Козовом, а третий, самый большой, но никудышный, сплошной косогор, на Абиссинском верху — так называются рыжие бугры, которые до землеустройства принадлежали разве что самому господу богу. За эти бугры мать кляла на чем свет стоит землемера Кенду, немца упрямого, и родных своих волкомовцев, но благодаря старшему сыну Даньку бугры возвращали семена с лихвою. На них уже осыпается ячмень с обвисшими, как у Явтуха, усами, его в самый раз косить, но мать умирает, так что меньшой, Лукьян, боится оставаться дома один, без Данька. К тому же мать велела им во что бы то ни стало быть при ее смерти, да и сами сыновья чувствуют— старая приберегла для них что-то на самый конец, и невозможность получить это прежде времени, материнское упрямство раздражает обоих, но больше Данька, который не может сидеть при матери неотступно и в душе побаивается, что тайна достанется меньшому брату.

Чтобы не терять времени и быть начеку, Данько

---

[1] Книга, в которую заносили фамилии граждан и их имущество *(прим. автора)*.

молотит на гумне рожь, привезенную ночью из-под Чупринок. Его гулкий цеп на рассвете всех будит, а под вечер убаюкивает. Он не умолкает даже в полдень, когда от духоты прячется все живое, за исключением одного козла Фабиана, топающего на обед к Явтуху Голому. Молотильщик время от времени кролит ток, чтобы не пылить, поливает копенки и снова беспрерывно бьет своим вяленым цепом, внутри которого как будто стонет, не умолкая, какое-то измученное обессилевшее от работы живое существо. «Совсем очумел наш Данько»,— говорит мать, ей сейчас больше всего на свете хочется тишины.

Меньшой молчит, он, впрочем, знает, откуда у Данька такой пыл. На одного трудятся пчелы, на другого кузнечные меха, третьему бог дитя качает — ветер крутит ветряки, а на этом дворе ничего, кроме цепа, выдумать не могут. Лукьяна потянуло было к голубям, но он скоро сообразил: это почти то же, что разводить воробьев — сегодня они вроде твои, а завтра взмахнули крыльями и, глядишь, уже выбрали себе другого хозяина. Недаром Фабиан шутит по этому поводу, должно быть, имея в виду своего козла: все, что способно летать, не может принадлежать кому-нибудь одному. Впрочем, Лукьян не отказался от голубей, оставил для души несколько редкостных пар. На нем лежат все остальные заботы по хозяйству: коровка, которую он сам доит; куры, которые все норовят нестись у Явтуха в бурьяне; утки-цесарки, которых он каждый вечер не может дозваться на пруду; замачивание и отбивание конопли; выращивание турецкого табака для старшего брата; баштан — истинное несчастье для детей Явтуха Голого; вся возня с овощами, от рассады до шинковки капусты на зиму,— за все это, с тех пор как мать больна, тоже в ответе он.

А поле держится на Даньке, он пропадает там от снега до снега в надежде, что именно оно поставит их на ноги. Поле отнимает все силы, особенно в осеннюю непогодь, и потому на меньшего брата ложится еще одна обязанность — приносить Даньку горячие обеды. Он и делает это, весьма озабоченный тем, чтобы обеды не простыли по дороге. Данько всегда удивляется, как это удается брату, и после каждого такого обеда проникается к Лукьяну все большим уважением. А все дело в полотенчиках, Лукьян укутывает в них горш-

ки, когда несет обед за тридевять земель, под голодные Чупринки, где спокон веку плодились нищие.

Сейчас Лукьяша не отходит от матери, сидит на скамеечке и вышивает крестиком себе рубашку, скроенную накануне у глинского портного, который обшивает всех более или менее зажиточных вавилонян и тех, кто тянется за ними из последних сил, поскольку величайший позор для вавилонянина выйти на люди в никудышной рубашке. Это не означает, что штаны тут ставят ни во что, но рубашка всегда была своего рода визитной карточкой для здешнего шляхетства и уж так, верно, останется вовек: в какой ты рубашке?

У Лукьяна к рукоделию настоящий дар, пол-Вавилона носит его вышивки, даже их сосед Явтух, которому он с великим вдохновением украсил ворот рубашки. Это было, когда Прися еще не принялась сыпать Явтушку мальчишек одного за другим, вот он и красуется по сей день в той рубашке.

На каком-нибудь роковом крестике Лукьян, а с ним и Данько осиротеют... Время от времени Лукьян оставляет вышиванье и надевает очки, чтобы взглянуть на мать. Очки он завел недавно, спасается ими от близорукости, надоумил его Фабиан, доказавший личным примером величайшие преимущества этого, как он считал, гуманнейшего человеческого изобретения. А вот мать никак не может к этому привыкнуть.

— И откуда оно к тебе прицепилось?

— Что, мама? — поднимет на нее очки Лукьян.

— Да калечество это, слепота...

— А мне все равно. Я привык.

— Уж не оттого ли, что пуповину тебе резали на книжке? Кто-то подсунул повитухе молитвенник. А буковки малюсенькие...

А Даньку — об этом Лукьян только что узнал — резали пуповину на ложке, потому он ненасытно ест, да так же и работает. Разве знаешь, что тебе нагадают, когда родишься на свет?

— А откуда ж у Данька конокрадство? — полюбопытствовал Лукьян.

— Тут Соколюки ни при чем. Это я виновата. В моем роду эта хвороба водилась. Деда моего чумаки убили. Волов в пути воровал...

— Волов? — удивился Лукьян, радуясь, что брат не так уж одинок, как ему представлялось.

— Дед охотился за дыманами[1]. На масти помешался. А Данько на чем же?..

— Для него масть ничего не стоит. Ему другое подавай.

— Да что же другое? Деньги?.. А где же они?

— Риск, мама... Разве вы не замечали, каков Данько, когда краденый конек ржет в стойле?.. Хоть к ране прикладывай...

Удивительная вещь, вавилонские лошади могли жить спокойно — по каким-то неписаным конокрадским законам, они не будили в Даньке никаких дурных страстей. Жертвы он выбирал в дальних селах. Сейчас он бредил резвым конем, которого углядел на последней глинской ярмарке. Уже собрал о нем все конокрадские зацепки, от которых теплилась в груди новая затея: конь из Овечьего, маленького, но зажиточного сельца, хозяина звать Ларионом Батюгом, на хате деревянный петушок красуется...

— Зови того сумасброда,— без зла в голосе попросила мать, а про себя подумала: «На какой-нибудь конской ярмарке застегают его мужики кнутами, и придется тебе, Лукьяша, уносить домой мертвеца... Экое позорище!»

Лукьян выбежал на крыльцо.

— Живей, Данько!

— Что там, Лукьяша? — спросил чернобородый Данько из-за белых снопов, которыми он обставил гумно так плотно, что ни одно зернышко не могло бы упасть в траву.— Думаешь, так легко помереть, как тебе кажется? Вот домолочу сноп и приду.

— Недаром у тебя пуповину резали на ложке! — огрызнулся на братнюю неторопливость Лукьян.

— На чем, на чем?!

— На той щербатой ложке, которой и нынче ешь.

— А у тебя на чем? — полюбопытствовал Данько.

— У меня? Если хочешь знать, на молитвеннике!

— А я-то думаю, отчего ты у нас такой святенький! — рассмеялся Данько. Выбравшись из снопов, он задержал брата на крыльце.— Это мать и собиралась нам сказать перед смертью?

— А что, тебе не интересно, почему ты такой на свете живешь?

---

[1] Волы темно-бурой масти *(прим. автора)*.

— Какой? А ну-ка дай послушаю...

Святенький отвесил брату славную оплеуху. На крыльце завязался жаркий бой, закончившийся, как всегда, миром. Но смерть не могла ждать, и, когда оба вошли в хату в сыновнем смирении и печали, матери у них уже не было, только кот играл на полу красными нитками, катал моток лапками, как тлеющий уголек,— выбрал же время для забавы!

Матери не любят, чтобы их дети видели, как они умирают. Сыновьям стало совестно за свою потасовку на крыльце. Ребята и прежде любили подраться ни с того ни с сего, но материнский пест мирил их в одну минуту, теперь он будет недвижно висеть на бечевке возле посудного шкафчика, даже если они примутся убивать друг друга. В каждом доме должен быть свой миротворец. Уже ради одного этого следовало бы матери жить.

Их отца задушили в глинище за господское добро, которое досталось ему, когда растаскивали помещичью экономию. Задушили постромками. Одни утверждают, что он отдал все своим убийцам, их даже перечисляли поименно, говоря, что, мол, сразу после того они разбогатели, другие и доныне каждый год под Ивана Купалу ищут клад в глинище. «Пускай ищут»,— говорила вдова сыновьям. Отца хоронили без них, они тогда оба были в солдатах на австрийском фронте, поэтому они теперь и отцу поставили свечу перед его святым — Николой-чудотворцем. Зажегши ее, Данько долго стоял неподвижно.

— Напрасно убили Миколая Соколюка! Не было никакого клада...

— Нет, Данько... был клад... Только на нем заклятье. Чтоб не достался никому. С тех самых пор, как убили отца, заклятье.

— Лукьяша, братик, чего ж ты молчишь? — бросился к нему Данько.

— Я поклялся не трогать... ей поклялся,— Лукьян показал рукой на покойницу.

— Что?! — Данько схватил брата за грудки.

У Лукьяна заныло в ступнях, словно он стоял на муравейнике.

— Отстань!.. По глазам вижу — убийца!

— А что я из себя последние жилы выматываю, не видишь?..

В дымоходе что-то ухнуло. Это мог напомнить о себе домовой. Зимой он греется там на перекладине, свесив босые мохнатые ноги. Непременно босые, чтоб он мог неслышно обходить свои владения. Теперь таких сенных дымоходов не делают, кладут печи с лежаками [1] и домовые, эти добрые духи, селятся там неохотно. Вот почему счастья в новых жилищах еще меньше, чем в старых. Данько отпустил брата, перешел на мирный тон.

— Я знал, матушка что-то приберегает для нас... Но ведь какова лютость, прости господи! Столько лет молчать! Ура!!! — Он, совсем обезумев, потряс кулаком в воздухе.

— Золото мстительно, а тем паче в нашем бедняцком Вавилоне. Клянись вот здесь, перед матерью, что не потеряешь голову, когда золото сверкнет тебе в глаза.

— Клянусь крестом, что буду шелковый и признаю тебя над собой отныне и навсегда, раз у тебя уже есть то, чего у меня нет.

— Это точно, Данько, теперь я один знаю ту тайну. Нет, вру, еще Фабиан слушал в сенях. Притаился, гад, и слушал.

— Человек? — ужаснулся Данько.

— Нет, козел. Я его веничком прогнал.

— Это худо, что третий знает...

— Так то ж козел, Данько!

— Э, всякое бывает на свете. А ну как это не козел, а сам Фабиан козлом обернулся? Что тогда?..

— Опомнись! Что ты мелешь, Данько! Последним чародеем был казак Мамай [2].

— Не верь никакому черту рогатому... Где ж он, Лукьяша?

— Под грушей-спасовкой...

Только вышли из хаты, сразу неприятность.

На заповедном месте, под грушей-спасовкой, которую видно из самого Глинска, когда она полыхнет белым цветом и неделю или две стоит вся осиянная, лежал козел и жевал жвачку, как делают после обеда все парнокопытные. Братья стали перед ним как вко-

---

[1] Здесь — горизонтальное колено дымохода, лежащее обычно на чердаке *(прим. переводчика)*.

[2] Легендарный герой народных сказаний *(прим. переводчика)*.

панные. Это было уже слишком даже для Фабиана. Данька так и подмывало спросить: «Это не вы, Фабиан?» Да только разве он признается?

В козлиных глазах не светилось ни искорки ума, он, должно быть, только что пообедал у Явтуха, тот подался в поле, взял с собой Присю, даже детишек послал по колоски, а этот приплелся сюда, захотелось ему полежать в холодке именно под этой грушей, хотя у Голых во дворе такая же спасовка. И почему бы, спрашивается, не остаться там? Нет, вот поди ж ты, лезет сюда и прикидывается дурачком, лежа на золоте! Реакция была мгновенная и та самая, какой следовало ожидать при таком стечении обстоятельств: Данько пошел за цепом. Негодяй под грушей не имел ни малейшего представления, как развернулись бы события в дальнейшем, не появись сам его хозяин со складным аршином за голенищем. Фабиана никогда не зовут, он сам догадывается, когда прийти. Между прочим, козел тоже.

— Умерла? — спросил гробовщик.

— Умерла,— Данько застыл на гумне с цепом.

— Маленькие дети спать не дают, а большие жить не дают,— намекнул философ на конокрадство.— Чем так мучиться, лучше уж к праотцам...

И Фабиан пошел в хату, а к тому, что лежал на золоте, прилетела бабочка, примостилась на кончике рога и застригла крылышками от духоты. Такой золотистой летуньи братья не видели сроду. Тайком переглянулись, сообразив, что за примета...

За Фабианом мигом явилась и вся похоронная команда, все те, кого в Вавилоне никто никогда на эту должность не назначает, как и тех, кто принимает новорожденных. Одни отвечают за начало жизни, другие за ее конец, и никто не смеет выступать в этих двух ролях одновременно. Вавилонские старухи знали свое дело — обладили не одну смерть,— пол от мух устлали ореховой листвой, зажгли свечи перед всеми великомученицами, начиная с Варвары, запели песни над покойницей, а во время передышек шептались о чем-то необыкновенно для них важном. Когда один из сыновей наведывался в хату, чтобы постоять возле матери, старухи умолкали, поспешно искали новую песню и подчас вместо печальной запевали веселую, правда, пели и ее заунывно, а сыновья относили это на счет тонкости ритуа-

ла и даже испытывали от этого некоторое облегчение в своем сыновнем горе.

Между тем хлеб осыпался, ничья смерть не могла бы оторвать от жатвы такого неистового труженика, как их сосед Явтух, и потому он пришел к покойнице ночью, привел Присю, стояли они рядышком молча, в волосатой груди Явтуха пылала неистощимая ненависть к Соколюкам — ему запало в голову, будто оба парня попеременно проявляли большой интерес к Присе, а Прися к ним, тоже попеременно,— и смерть старухи могла быть последним поводом для примирения, и вот Явтушок воспользовался им, пришел. Он был маленького росточка, волосатый, как мохнатый пырей на его поле под Чупринками, белоусый, да к тому же еще, напомним, краснорукий и красноногий, как подваренный рачок (это уже от злости на Соколюков, которую он сдерживал годами). И все же теплилось в нем что-то приятное, по крайней мере, для козла, как уже сказано выше. Прися стояла рядом с ним, красивая, налитая, грустная, от нее пахло жнивьем. Прися плакала тихо, чтобы не услышал Явтушок, а то снова подумает бог знает что. Он, когда выходили, спросил Лукьяна:

— Мать вам ничего не завещала?

— А что?

— Могла бы и завещать кое-что... — хихикнул лукаво в горсть и вытолкал Присю из хаты.

Данько в риге при фонаре, висевшем на балке, свежевал бычка, на запах крови или на свет в ригу слетались нетопыри в таком смятении, что Явтуху казалось, будто они вылетели из его собственной волосатой груди. Когда пришли домой, он еще в сенях полез на Присю с кулаками, просто так, за здорово живешь, у него была неукротимая душевная потребность бить ее ни за что ни про что, на будущее. Досыпал он ночь в новой телеге под грушей, единственным деревом в его дворе; этим летом на ней не уродилось ни одной грушки, и это только усиливало его ненависть к Соколюкам. Нетопыри слетались со своей охоты и тихо гнездились у него на груди, складывая там свои усталые перепончатые крылья.

Один глаз у Явтуха то и дело приоткрывался, но ничего особенного во дворе у Соколюков до конца ночи не произошло. Лишь перед светом из хаты вышел

Данько с круглой корзинкой в руке, подошел к груше, постоял на заповедном месте в некоем сладком раздумье, а потом поставил корзинку и неторопливо, как ягуар, полез на дерево. Задумал, верно, струсить все спелые груши, чтобы тех, кто придет на похороны, и не тянуло сюда. Стук падающих груш разбудил в телеге и второй глаз. Явтушок встал, размялся, зачем-то тоже полез на свою неплодоносную спасовку и давай усердно трясти ее. Не упало ни одной груши. Данько, сидя на ветвях, засмеялся. Явтушку стыдно было слезать, да, собственно, и незачем, и он просидел там еще долго, пока Прися не позвала завтракать.

На похоронах впереди гурьбы музыкантов шел с кларнетом мой отец, самый большой музыкант в Вавилоне, и наигрывал для покойницы что-то на диво веселое. Вдова доводилась ему дальней родней, так что это могло быть последнее соло для родственницы. Только на погосте он заиграл ей реквием или другое в этом роде. Остальные музыканты молчали, всем им с их неуклюжими самоделками, вконец расстроенными на весенних свадьбах, не под силу было тягаться с кларнетом. Только бубен, как древнейший человеческий инструмент, в нескольких местах решился напомнить о себе. Его смастерили из шкуры старого козла, который жил в Вавилоне задолго до появления Фабиана, где-то на самом рубеже столетий. Не потому ли козел Фабиан с особым интересом прислушивался к бубну, всякий раз устремляясь мыслями в то неутешительное будущее, когда он, козел Фабиан, подобно своему предшественнику, останется только в мажорных звуках, да еще, может, из его рогов нарежут гребней для девчат, а в Вавилоне появится еще один бубен. Козел ловил себя на том, что всегда думал на погосте о своем бесславном конце. В такие минуты он тихо оплакивал самого себя, а вавилонянам казалось, что это он их оплакивает. Человеческая наивность...

Пробормотав слова благодарности людям, которые оставили жатву и пришли на похороны их маменьки, Данько подумал, что надо бы проведать могилу отца на старом кладбище и воздать должное его памяти. Но тревога за наследство гнала братьев в три шеи от неприветливой обители душ, где Миколай Соколюк этой

же ночью узнает от жены, что он недаром сложил голову, что его добро достанется сыновьям. И как ни торопился Данько с кладбища об руку с меньшим братом, памятуя, однако, что с похорон пристало возвращаться печально и с достоинством, хитрые и еще проворные вавилонские старухи опередили его — а может, они и не ходили на погост — и предпочли устроить поминки не в помещении, где еще витал дух покойницы, а во дворе, под грушей-спасовкой, чего, собственно, Данько и опасался. К его великому изумлению, и Явтушок с Присей были уже там. Прися в белом фартучке распоряжалась ужином, а вечно обиженный Явтушок уселся на том самом месте, где зарыто сокровище, и красные его ноги словно разгорелись от золотого сияния, шедшего из-под земли. Можете себе представить душевное состояние Данька, и ведь не было никакой возможности убрать Явтушка с этого места, а туда посадить человека понадежнее или сесть самому. Явтушок сразу стал бы докапываться, чем вызвано такое перемещение, и дело могло бы обернуться к худшему. Поэтому Данько уселся напротив и старался не замечать его ног, которые просто купались в золоте (впрочем, видно, это Явтушку опротивело, и он лихо по-татарски поджал под себя свои проклятые ноги, хорошо известные Вавилону с ранней весны до заморозков). Даньку стоило немалых усилий остаться внешне равнодушным к небольшой перемене позы восседавшего на золоте Явтушка.

Народу стеклось, прошеного и непрошеного, куча, вавилоняне — великие мастера поесть и попить на даровщину, столов на такую ораву не хватило бы, и потому на траве расстелили двумя дорожками целый сверток небеленого полотна, перед которым и уселся опечаленный Вавилон. У всех были основания ожидать именно таких поминок, хотя покойница не из самых зажиточных. Наследство красовалось у всех перед глазами, не знали они только о неоплаченном контракте на плуг-семерик и кое о чем еще (тут старухи принимались таинственно шептаться о загадочном расписном сундучке с неслыханными сокровищами пана Родзинского, за которые сложил голову Миколай Соколюк). На этих поминках появились первые признаки того, что «бородатые сиротки» уже приподняли крышку сундучка, так много было под рукой печеного и варено-

го, что пресные старушенции просто терялись, не зная, за что прежде хвататься: за голубятину, за нарезанного большими ломтями шпигованного бычка с молодым картофелем или за обливные кувшины водки, быстро превратившие поминки в развеселую беспечную пирушку.

Первым упился Явтушок, и Соколюки, схватив соседа за руки и за ноги, хотели уже было с превеликой охотой перебросить его через плетень в высокий бурьян, который он вырастил в своем дворе, но Прися умолила их не делать этого, к тому же и сам Явтушок обмяк, подобрел, не упирался, и его отнесли на телегу, от которой разило колесным дегтем. Там он и спал, свистя носом, как удод, пока не вскочил, вспомнив о Присе. Поднявшись, он яростно окликнул ее (верно, злость на Соколюков все еще бродила у него в голове), потом снова упал и больше уже не мешал жене хозяйничать на поминках.

Потом потерял ориентировку в пространстве Фабиан, и тут сразу же напомнил о себе верный ему в таких случаях товарищ, который и повел философа домой, на Татарские валы, где они снова, по крайней мере до следующей оказии, заживут легко и беззаботно, не тревожась о завтрашнем дне. На этот раз козел вел философа не очень уверенно, потому что и его самого подпоили старые озорницы, намешав ему в похлебку водки,— любят чертовы бабки поизмываться над козлом, которого принимают за воплощение самого вавилонского дьявола, он существо безгранично покорное, но и безгранично гордое, как только доходит до чести обоих Фабианов.

Потом потащились на косогор и сами вавилонские старухи, когда-то они были чудом и украшением Вавилона, красавицы, за которых дрались на ярмарках парни, а ныне иные уже и домой волоклись с превеликим трудом, кляня покойницу и вавилонские бугры заодно. Последними разбрелись дальние родичи, которые считают, что для того и похороны, чтобы на них повидаться и не позабыть друг о друге совсем. Был среди них и Панько Кочубей, приходящийся Соколюкам троюродным дядей. Прися с еще несколькими женщинами в белых рабкооповских платочках прибрала все, скатала полотно, перемыла посуду и пошла к Явтушку, который затих на телеге.

— Ну и публика...— раздумчиво сказал Лукьян, когда братья остались вдвоем.— Одни бабуси чего стоят! Это ведь от них пошел нынешний Вавилон, а, Данько?

— А ты видел, где Явтушок расселся? Я чуть не ослеп, когда его ноги окунулись в золото. Стоило ему протянуть руку — и там. Я думаю, в самый раз доставать сегодня, пока Явтушок спит на полке́. Как считаешь, Лукьянко?

Тот высказал опасение, что Явтушок мог только прикинуться пьяным, пил-то он не больше других.

— А сколько этому великану надо? — улыбнулся Данько. Он считал, что лучшего вечера им не дождаться. Глаза у него горели, а голос так дрожал, словно он разговаривал с краденым конем. Лукьян согласился.

Клады добывают в полной тишине, быть может, не менее скорбной, чем та, при которой их прятали от человечества. Утих в голове веселый гомон поминок; ущербный месяц выхватил из дали черные ветряки, которые вечно рвались куда-то, но так и остались прикованными к своим буграм. Сироты сидели у порога хаты и ждали великой переклички вавилонских петухов. По народному поверью, клады следует добывать в полночь, а лучше всего в ночь под Ивана Купалу, в те минуты, когда зацветает папоротник. Ту ночь они провели у качелей и, как в языческие времена, прыгали через костры. Лукьян прожег себе в ту ночь штаны, да и вообще тогда им еще и в голову не приходило искать сокровище.

И вот они сидели у родного порога, взволнованные, торжественные, исполненные грусти и надежд. Первым подал голос петух Явтуха, потом засвидетельствовали полночь вавилонские старцы на горе, а уж после того проснулся их (должно быть, давало себя знать, что накануне Данько невзначай оглушил его цепом). Братья разом поднялись и пошли к груше, возле которой столько лет собирались на семейные и другие праздники. Теперь здесь и сама земля казалась светлее, чем вокруг...

Чем глубже рыли, тем меньше верилось каждому, что найдут, а тут еще то и дело попадались трухлявые щепки — это были корни, перерубленные до них. Данько хватал их, разглядывал, не свежие ли, даже нюхал зачем-то и приговаривал:

— Сплоховал наш, сплоховал, лихоманка его забери. Все пропало, Лукьяша, тут уже до нас побывали...

— Это Явтух, это Явтух,— трагически шептал Лукьян.— Ты же видишь, у него все растет, как из воды.

— А уж в особенности мальчишки,— пошутил Данько, намекая на свою причастность к рождению мальчишек у соседа. Правда, он не принес тем Явтуху ни малейшего вреда, больше того, на мальчишек Голому перепало при землеустройстве несколько лишних десятинок. При желании Соколюки могли бы сделать из Явтуха и покрупней землевладельца, чего им, однако, никак не хотелось. Ну, да если уж говорить откровенно, кроме детей, не такие уж большие у Явтуха достатки. И все же клад мог достаться ему, потому что копать становилось все легче, а это и впрямь могло означать, что здесь побывали до них, вон и по корням видно, что случилось это не теперь, а вскоре после того, как клад зарыли. Данько взопрел, как мышь (от безнадежности), а Лукьяша уронил в яме очки и без них ослеп. По их глубочайшему убеждению, Явтух, в чьих руках давно уже очутился клад, мог теперь спокойненько дрыхнуть в телеге, с которой, как всегда, на ночь снял дышло (так он охранял ее от воров).

— Что там? — встрепенулся Данько, услышав скрежет лопаты о железо. Сам он орудовал топором, подрубая корни.

— Ржавчина,— благоговейно прошептал Лукьян.— Но это еще не металл.

Дальше они копали так деликатно, вежливо, осторожно, словно то, чего они еще не вырыли, было живое, с ногами, руками, глазами, пока еще закрытыми, и с грудью, которая уже дышала под землей.

— Осторожно, Лукьяша, не задень за живое...

Еще никогда не любил он своего брата так нежно, как в эти минуты. Данько засадил топор в корень и принялся разгребать землю руками.

Но когда они оба уже стояли на сундуке с кованой крышкой, когда призрачное счастье уже не могло развеяться, Данько посеял еще одно сомнение:

— А теперь представь, Лукьяша, что сундук пустой, что его до нас выпотрошили...

Лукьян прежде никогда не думал, что предчувствие богатства может быть таким устрашающе тревожным. Он готов был побить брата за его маловерие. В яме одуряюще пахло свежей землей, золотом и гнилью истлевших корней. Текли такие счастливые минуты, что не было никакого желания останавливать их и вытаскивать сокровище.

— Сперва выгляни, что там наверху,— сказал Данько, а сам уселся на корточки в яме. Над ними чуть слышно шелестела старая груша, символ старинного, хоть и не больно-то удачливого рода, веками пополняющего бедняцкий Вавилон.

— Ну что там, в Вавилоне? — спросил Данько из ямы. И Лукьян ответил ему одним словом:

— Тьма...

Где-то вдали собиралась гроза, луна потонула в черных громадах туч, скрылись в смятении ночи ветряки, на буграх ни щелочки — спит постылое человечество, а этим двоим тоже некуда спешить. Людям в их положении надо хорошенько обдумать свое будущее, которое теперь представилось обоим более ненадежным, чем когда бы то ни было, им ведь неведомо было, кем они станут через несколько минут. Еще детьми братья наслушались страшных историй про клады. Вавилон притих, затаился, словно ждет, что с ними станется, когда они подымут крышку.

Лукьян заглянул в яму. Данько все сидит, верно, обдумывает какой-то коварный план. Лукьяну стало жутко, он готов был все отдать, чтобы утром стоять во дворе с решетом, как до сей поры, скликать голубей — он так каждый день сыплет им на землю горсточку зерна, чтобы не отвыкали от него, чтили своего хозяина.

— О чем думаешь, Данько? Ты не загадывай наперед...

— Как ты считаешь, Лукьяша, когда я разбогатею, смогу бросить конокрадство? Или только тогда брошу, когда меня убьют, застегают кнутами, поймавши? Вот наваждение...— Данько чуть не плакал в яме.— Это по маминой линии. В ее роду волов крали.

— Я знаю, дыманов.

— Не понять тебе какой-то дикой силы в человеке. За одну ту ночь, когда побегаешь за конем,

столько настрадаешься, что потом, бывает, на все лето присмиреешь. А выплеснешь из себя эту хворобу, так становится легко, словно второй раз родился! Учись я дальше, верно, стал бы большим человеком. А так все на конях сошлось. Ты ведь знаешь, что мне с этого прибыли ни грошика! Только Мальве перепадало кое-что, один-другой гостинец. А зато какой праздник, когда чужого коня прячешь у себя? Его там ищут по ярмаркам, а ты его холишь, говоришь с ним, поишь, он привыкает к тебе, как человек, а потом расстаешься с ним ночью, уверенный, что когда-нибудь снова увидишь на конной ярмарке. Э, ты в том ничего не смыслишь, Лукьяша. Нельзя жить на свете таким вот святеньким, как ты, у человека должна быть к чему-нибудь слабость. Хочешь, возьму тебя как-нибудь с собой? Это такая зараза, что стоит только попробовать и на всю жизнь.

— Нет, Данько. Я весь дрожу, когда краденый конь ржет в стойле. И как только Явтух не обломал тебя до сей поры?

— А для меня это ржанье — словно песня. Тогда мне и Явтух ничто, и Мальва не нужна. Хочется только, чтобы тихо было, и на качели тянет. Что ни лошадь — то клад. Лезь сюда, я один не управлюсь, мне слышно, как он дышит...

— Боюсь тебя, Данько.

— Неужто ты мог что-нибудь подумать?

— Может, это ненароком, однако давай топор, тогда полезу.

Данько встал, подал Лукьяну топор, тот швырнул его к поленнице, где они уже много лет рубят дрова, потом братья подняли сундук, очистили от земли и, еще живой, тепленький, понесли в ригу. Данько прикрыл дверь, зажег фонарь. На балке сушилась шкура бычка, зарезанного для поминок, вавилонские старухи давно не ели такой вкусной телятины, а голубей сколько зажарено, и ведь это только начало, надо сорок дней готовить на весь Вавилон. Данько нашел ломик, сорвал с петель старинный медный замок и, прежде чем поднять крышку, сказал:

— Помолимся, чтобы господь оборонил нас от всякой напасти и от дурного глаза. Чтобы нас злато не ослепило, молю всевышнего за тебя и за меня, а в воскресенье поставим ему свечи в обеих глинских

церквах — у вознесенья и у спаса. Не забудем и нашу известяночку [1].

Явтух в одном белье стоял уже возле риги, он еще на поминках первый заметил золотое сиянье на своих ногах, сообразил, что это клад, прикинулся пьяным и, как отужинали, места себе не находил, неусыпно следил за каждым шагом соседей. Теперь он нашел глазок (из пересохшей доски когда-то выпал сучок, и Явтух сразу заприметил эту дырочку, как только в риге засветилось).

Даньку хотелось кричать, рвать на себе волосы от радости, кувыркаться на соломе, однако он нашел силы принять торжественный вид, а Лукьян затаил дыхание в этот священный миг, после которого им чихать на всех вавилонских богатеев. Отныне и надолго Вавилону быть под ними, если только они переживут эту ночь, если судьба будет к ним снисходительнее, чем до сих пор...

— Ну, слава Миколаю Соколюку, родителю нашему!..

Данько поднял крышку и оторопел, а Лукьян расхохотался, как мальчишка.

В сундуке было оружие, тщательно смазанное и аккуратно уложенное. Оружие разных веков и поколений. Фамильная коллекция панов Родзинских. Мечи в серебряных ножнах. Турецкие кривые сабли, казацкие мушкеты, медный бунчук с остатками черного хвоста, гетманская булава, серебряное стремя и стальная сетчатая кольчуга с какого-то долговязого воина. А под этим средневековьем тульский старинный пистолет, дробовик и медный охотничий рог, которым егеря созывали гончих... Рог в нескольких местах разъела зелень.

Все это выложили на солому, и каждый мог выбрать себе то, что ему больше нравилось. Лукьян взял дробовик и охотничий рог, а Данько — дамасский меч, шпору, которую ловко приладил к сапогу, и тульский пистолет. Гетманская булава, усеянная каменьями, все еще лежала на соломе, не привлекая ни малейшего их внимания, хотя именно она приводила в восторг Явтуха, пожалуй, разбиравшегося в драгоценностях не больше обоих новоиспеченных рыцарей. Впрочем, они

---

[1] Церковь, беленная известью *(прим. автора)*.

обратили на нее внимание, когда стали складывать все обратно в сундук. На ручке было выгравировано полатыни: Koniecpolski.

Данько засунул булаву за пояс, где носил ее когда-то гетман, закрыл крышку, а потом оба рыцаря уселись на соломе подумать о своих делах, которые представлялись им теперь куда хуже, чем до этой ночи. Миколая Соколюка, сложившего голову, можно сказать, почти ни за что, они оставили в покое, а вот покойнице маменьке поминки можно бы справить и поскромнее, подешевле, не надейся они на этот клад, обернувшийся вон каким лихом. Что с ним делать, куда девать все это добро, которое, может, и представляло ценность во дворце Родзинских, но в этой риге не стоило ни гроша?

Но совсем не так думалось об этом человеку за стеной. Явтушка поразило не только сияние каменьев на булаве, от которого посветлело в риге, но и кое-что поважнее — с этими вооруженными соседями, на которых он сейчас смотрел не столько с ненавистью, сколько с завистью, жизнь его станет совсем невозможной. Он представил себе вот сейчас рядом Присю — ведь загляни она в дырочку, а там один рыцарь статнее другого. Но тут случилось непредвиденное. Явтух продрог на свежей росе и закашлялся себе на погибель.

Соколюкам показалось, будто кто-то задыхается или кого-то душат. Сомнений не было — Явтух! Задули фонарь, прислушались. Лукьяну мерещился отец, удавленный в глинище постромками. Братья в доспехах как можно тише выбрались из риги, обшарили ее кругом, но белое привидение успело тем временем переметнуться к Явтуху во двор. Двое рыцарей спешили туда же, и, надо сказать, не с лучшими намерениями. Явтушок мог бы еще махнуть к Присе, но этим только обнаружил бы себя, и он остался там, где его уложили с вечера те же Соколюки.

Телега, как всегда, стояла посреди двора без дышла, и когда братья подкрались к ней, то увидели Явтуха в белом. Он спал навзничь, разбросав белые усы, посвистывая носом, а над ним тихо катился небесный воз — созвездие Большой Медведицы. Тем и кончилось смятение, и пришельцам было уже как-то неловко за свой приход. Но не будь они сами несколько не от

мира сего в эту минуту и погляди внимательнее, сразу увидели бы, что ступни Явтушка (они торчали пальцами вверх, как у мертвеца) мокрехоньки, только что вымытые росой. Явтух с ужасом подумал об этом, и ему захотелось спрятать свои мокрые ноги. Он повернулся на бок, лицом к пришельцам, а ноги засунул в сено. Вместо посвиста послышалось сперва тоненькое, а потом все более явственное отвратительное хрипенье, словно ему перерезали горло дамасским мечом. Первый не выдержал Лукьян, пошел прочь, за ним поплелся и Данько, размышляя, что то белое привидение вовсе не Явтух, а сам дьявол — вечный преследователь тех, кто находит клады. Остаток ночи Данько бился с турками на старых вавилонских валах, возле несуществующей ныне южной башни, а Лукьяша спал безо всяких снов.

Разбойников схватили в риге на соломе. Причинив в эту ночь бог знает какие беды человечеству, они спали во всех рыцарских доспехах. Лукьян сдался сразу, а Данько пытался оказать сопротивление, схватившись за булаву Конецпольского. Но когда в грудь ему уперлись два карабина, он рассмеялся и поднял руки. Их разоружили, устроили обыск и теперь никак не могли уместить все оружие в сундук — не то сундук стал меньше, не то оружия больше.

Телега Явтуха стояла на том же месте, а возле нее похрустывал травяной смесью взмыленный конь, на нем Голый верхом доскакал до Глинска и вернулся с нарядом милиции. Операцией руководил сам начальник милиции Пилип Македонский, который упорно называл себя Филиппом, считая, что это может добавить значительности его и без того высокой особе.

В понятые взяли Даринку, пастушку, которая как раз собиралась вести в стадо корову Соколюков. Корова была не доена, и Лукьян ее выдоил, чтобы не сгорело молоко. Македонский занес фамилию пастушки в акт, а затем сказал ей, что до конфискации имущества она, до тех пор бездомная девчонка, становится единственной хозяйкой в этой усадьбе. Данько передал ей связку ключей ото всего, что запиралось, а Лукьян просил позаботиться о баштане и о голубях, которые без него могут одичать.

— Не забывай сыпать им каждый день по горстке зерна и гони с баштана детей Явтуха, а то не дадут поспеть ни одному арбузику, а там все хорошие сорта, не хотелось бы, чтоб семена пропали...

Потом им приказали запрячь лошадей в телегу, погрузить туда клад, а самим сесть на сундук, чтобы Вавилон видел, что не зря их забрали.

Когда арестованных выводили из дому, Явтух стоял у ворот с отбитым до крови задом и улыбался лукаво, но незлобно: его Прися, как он думал, отныне будет рожать детей только от него, потому что не станет больше бегать к Соколюкам не за солью, так за спичками, стоит только ему отлучиться. Довольно с него и того, что трое, а то и все четверо из восьми смахивают если не на Данька, так на Лукьяна. Сейчас Прися выбежала из хаты и остолбенела, увидев обоих Соколюков на сундуке под конвоем милиции.

— Ой, за что их?

Явтух не стал объяснять, только усмехался в белые ячменные усы, свисавшие уже не так уныло, как раньше.

Братья надеялись, что довезут до сельсовета, а там троюродный дядя, председатель Панько Кочубей вызволит их из этой заварухи. Но дядюшки, как назло, не оказалось на службе. Секретаря сельсовета Бонифация тоже не было, он с рассвета в поле, которого ухитрился отхватить целых две десятины. Сельсоветский исполнитель Савка Чибис, имевший привычку смеяться не отчего, признался Македонскому, где о сю пору лучше всего искать дядюшку арестантов,— он холостит боровков либо здесь, в Вавилоне, либо в соседнем селе, куда председатель имеет честь наведываться, поскольку никто не может сравниться с ним в этих тонкостях.

Вместо председателя явился Матвий Гусак, живший неподалеку зажиточный вавилонянин, владелец ветряка и пасеки. Он любил хвастаться, что на него-де работают ветер и пчелы, и наивно полагал, что обе эти силы не имеют никакого отношения к советской власти, а представляют собою блага, дарованные людям испокон веков. Узнав, что произошло этой ночью в Вавилоне, он совсем оробел и долго не мог прийти в себя от страха (его называли когда-то в числе убийц Миколая Соколюка), но Савка Чибис своим смехом вроде

бы привел его в чувство, и он спросил у Македонского:

— А золотишко было?

— После разберемся,— сказал Македонский.— Может, и было...

— Должно быть, должно... золотишко-то.

— Довольно с них и оружия...

— Во-во... В бедняки рядятся, а оружие прячут. А для чего, спрашивается, для чего?

— Спросим... — невнятно пробормотал Македонский.

Матвий Гусак был хлебосолом. Вот и сейчас он хотел было зазвать Македонского на свежий гречишный медок, но тут черт принес Бонифация.

Запыхавшийся, прямо с поля, секретарь сельсовета рявкнул:

— Что, попались? Так, так...— и повел Македонского в сельсовет писать протокол по всем правилам делопроизводства.

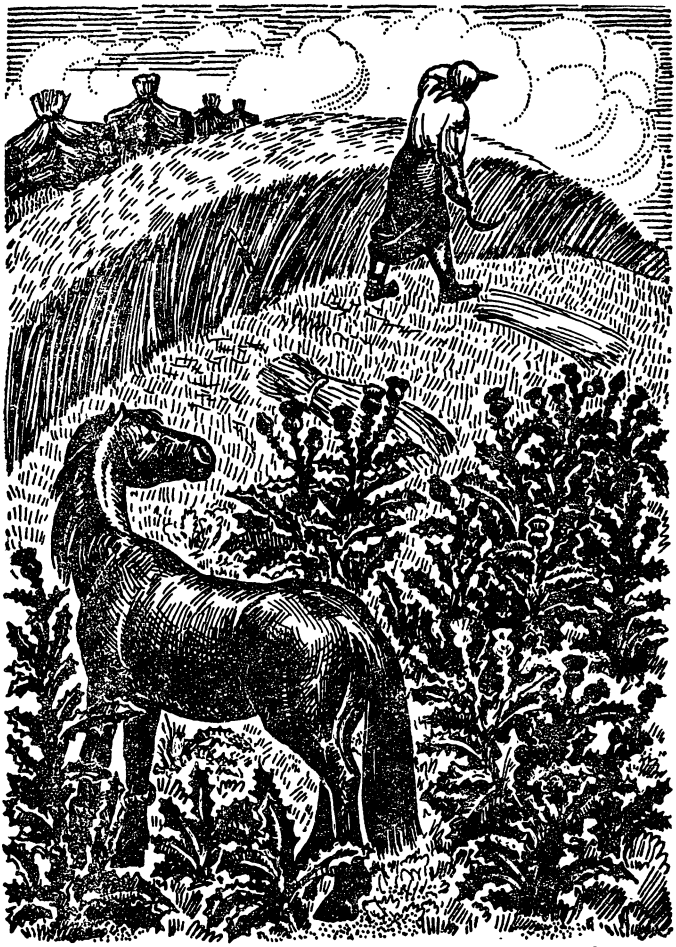
Тогда один из предполагаемых убийц Миколая Соколюка стал было утешать арестованных — ежели, мол, золота не нашли, так нечего и бояться, оружие-то господское. Лукьян уже и рот разинул на радостях, но старший брат проявил характер и ответил на утешения дерзостью:

— Без вас разберутся, ступайте-ка к своим пчелам!

Гусак ушел, а Данько, который всю жизнь опасливо обходил его ветряк и пасеку сторонкой, теперь в самый, казалось бы, неподходящий для брани момент готов был высказать ему вслед все, что о нем думал.

Арестованным разрешили слезть с телеги и сходить до ветру (в таких обстоятельствах в этом ощущается большая нужда); а так как вели они себя смирнехонько и не предпринимали попыток к бегству, им было дозволено полежать под старой шелковицей и полакомиться ее плодами, что, впрочем, никак не означало смягчения их вины. Этим благом пользовались и до них те, чья дальнейшая судьба решалась в сельсовете, то есть пока Бонифаций писал препроводиловку в Глинск на провинившегося вавилонянина.

Троюродный (ах, жаль, не двоюродный!) дядюшка их так и не явился, только где-то вдалеке визжали боровки, которых он лишал мужского начала. И когда



арестованные снова взгромоздились на сундук, Савка Чибис засмеялся — вот, мол, какой славный род идет прахом, пока Панько Кочубей облагораживает боровков ради знаменитого вавилонского сала. Сей талант он великолепно сочетал со службой в сельсовете, которым в отсутствие председателя правил Бонифаций. Исполнителя за привычку смеяться в самые трагические минуты прозвали сумасшедшим, потому что в каждом

Вавилоне для полноты картины должен быть свой сумасшедший, кому-нибудь все равно надо им стать, если даже на самом деле и нет такого.

Выехали за ветряки, и Пилип Македонский, памятуя характеристику, услышанную от Бонифация, положил маузер на колени — мало ли что могут надумать в поле эти два разбойника, уже раз едва не уничтожившие Вавилон. А те сидели смирно на господском сундуке,

где величайшей уликой против них, как намекнул один из конвоиров, была булава Конецпольского, из-за которой они сразу становились политическими. То, что это был польский гетман, не имевший к Вавилону ни малейшего отношения, в расчет не бралось. Конвоир сказал: то, что он иностранец, только усложняет дело, со своими-то гетманами давно покончено.

Припекало, как и двадцать лет назад, когда их везли к приставу за сожжение Вавилона. Проворный муравьишко еще под шелковицей забрался Даньку под рубаху и теперь жалил его изо всех сил, не имея никакого желания путешествовать с ним в глинскую тюрьму. А Данько не мог поймать его, потому что, кто знает, как отнесется к этому жесту владелец маузера. Вдали, на распаханных полях коммуны, взвился черный смерч и побежал им наперерез. Эх, сбросил бы он Пилипа с брички! Но коммунский смерч выдохся, пал посреди поля, не достигнув брички, и рассыпался, как гриб-дождевик.

Когда ехали мимо Абиссинских бугров, которые без Данька снова станут теперь обожженным и рыжим приютом вихрей, Лукьян заплакал потихоньку, а Данько замурлыкал песенку без слов.

Прощайте, Абиссинские бугры, не слыхать вам больше душевного смеха Мальвы Кожушной, у которой была тут вотчинка, пока Андриан копал колодцы в дальних степных селах. А как он захворал чахоткой, эта десятина, разумеется, вместе с Мальвой, перешла на попечение Данька. И вот сейчас в зарослях татарника, только-только заигравшего малиново своими цветами, пасся стреноженный Андрианов конь, а на самой макушке Мальва жала плохонькую перестоявшуюся ржицу, о которой совсем было запамятовала, зачастив в коммуну.

Увидев Соколюков на сундуке и в сопровождении конвоя, она в первую минуту едва не расхохоталась — что еще за напасть!— но, узнав Македонского в бричке и с маузером, так и замерла. Она не была на поминках у Соколюков — покойница мать их до самой смерти враждовала с Мальвой из-за сына,— но накануне похорон Данько обещал помочь убрать Мальвину десятинку, которая не столько давала хлеба, сколько воли Мальве. «Куда, Мальва?» — «На свою десятину...» Не одну ночку гордый Андрианов конь бился тут с из-

мождeнными клячами Данька, которых стреноживали на ночь, чтобы меньше глядели на небо, а паслись бы на ничейном косогоре. И вот диво: узнав их теперь, конь поднял голову и прощально заржал, будто не держал на них никакого зла. А Мальва так и осталась стоять сама не своя, не подала Соколюкам никакого знака. А что ежели они ночью убили кого-нибудь из вавилонских богачей ради этого сундука, на котором сидят? Предположения носились у Мальвы в голове роем. Она знала о страсти Данька к чужим лошадям, а в ком сидит одна болячка, может быть и другая, еще страшнее. Ей хватало своей дурной славы, чтоб лезть еще и в ихнюю. И она притворилась, что знать не знает никаких Соколюков, и принялась дожинать полосу, срезая поникшие колосья не высоко, как прежде, а у самой земли.

Лукьян покосился на брата, тот вдруг умолк, и только внутри у него все кипело. Ведь не так давно лежали они с Мальвой вдвоем, усталые, на возу, лошади грызлись в татарнике, а Чумацкий шлях, все еще как будто усыпанный солью, звал их в странствия...

Между тем Андрианов конь прыгал-прыгал в бурьяне, да и забрался к Соколюкам в овес. Данько словно озверел, вскочил:

— Убери коня, в три души мать!..

Это кричало в нем другое...

Не сел, пока Мальва не пошла выводить коня из потравы. Она взяла его за повод и повела межой на свою десятину. А Данько, только усевшись снова на сундук, проговорил через едва сдерживаемые рыдания:

— Ставлю на Мальве крест отныне и до гроба...

— Тот не пес, кто откажет суке,— улыбнулся Лукьян.

— Вот!— И Данько положил крест на грудь.

А конь погрустил на десятине и снова засеменил в овес. Не прыгал, хитрил, чтобы не увидели его с дороги.

Но Данько не стал больше трогать жницу, все равно не услыхала бы его издали, и конь привольно пасся в овсе, пока не скрылся с глаз. Не так жаль того, что съест, как того, что потопчет. На том вроде все и сошлось: Мальва по-прежнему кланялась ржице да в белом овсе снова прыгал конь...

— Теперь вся надежда на Фабиана...— тихо, только для брата сказал Лукьян.

— На козла? — думая о своем, отозвался Данько.

— Зачем же? На самого Левка Хороброго...

Данько рассмеялся, насторожив этим Македонского. Те, кто норовит сбежать, всегда выдают себя за легкомысленных. А то с чего бы смеяться?

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

И все-таки нет на свете ничего равного нашему Вавилону! Где еще вы увидите такого бравого философа, которого козел ведет извилистыми улочками на завтрак к Соколюкам? Оба Фабиана еще не знают, что стряслось ночью с хлебосолами, и рассчитывают всего лишь на остатки поминального ужина, которым Соколюки заткнули за пояс многих вавилонских богачей. Такого рая под грушей ни у кого еще не бывало. Грушки сами падали в ряженку, их вынимали оттуда за черенки и бросали козлу, который поедал их с превеликим удовольствием. Да и кувшинчиков недопитых немало осталось на полотенцах. А кому бы еще пришло в голову накормить весь Вавилон просто королевской голубятиной?! Идти на такой завтрак и то наслаждение...

А Явтух стоял за плетнем (он стоял так каждый праздник, а сегодня было как раз воскресенье, его день), легко улавливал ход мыслей двух гуляк, одного из которых ему так хотелось заполучить, и хитро улыбался в свои подлые усы, свисающие, как два слабых колоска с одного стебля...

— Проспались?— приветствовал он их, намекая на вчерашнее.

— А вас тоже вынесли в непристойном виде,— отпарировал философ.

— Хе-хе, где уж тем бусурманам тягаться с Явтухом!— И он сразу перешел к делу, словно для этого не будет более благоприятного случая.— Слушайте, перепишите на меня эту вашу скотинку. Вам она, ейбогу, ни к чему. Просто насмешка — такой великий философ и вдруг с козлом! Ну какая вам от него выгода? Проходимец. Обедает у меня, а ужинает у Раденьких. Позорит вас, да и только... А я бы вам за него рубль от-

валил. Рубль-то нынче, ого, обеспечивается золотом... Два много, а один рубль дал бы. Вот!— и он протянул его через плетень — так и носил в штанах, наготове.

— Не могу продать товарища.

— А как он сдохнет? У скотины век недолог! Миг один, прости господи. Да и прожил уже немалый срок. Вон сколько колец на рогах.

— Нет, Явтуша, я вашего брата-бедолагу знаю и не хочу, чтобы козел кончал жизнь в кабале. Не для того я его выкупил из рабства, чтобы продать в другое. Быть ему при мне...

Тот, о ком шла речь, удостоил внимания лишь верхнюю половину Явтуха, но философ легко представил себе его штаны — хитросплетенье заплат, в котором разобраться может одна Прися. Так не лучше ли, подумал философ, купить себе на этот рубль новые штаны? И повел козла дальше, надеясь застать рай под грушей неприбранным с вечера. Явтушок, предчувствуя, как они облизнутся в опустевшем дворе Соколюков, ядовито засмеялся им вслед. Философ же, в свою очередь, подумал, что уж лучше быть козлом, чем середняком. И откровенно предостерег товарища:

— Ты брось ходить к этому оборотню, а то пропадешь ни за полушку.

Вавилоняне умеют чужое горе превратить во благо для себя. Старушенции, сбежавшиеся сюда спозаранку, себя не обижали, но и охотно обхаживали Фабиана и его товарища.

Остатки поминального ужина оказались такими неисчерпаемыми, что завтрак, уже без хозяев, с маленькой передышкой на обед, длился до вечера, а вечером оба Фабиана отправились в коммуну. После долгих размышлений философ остановился на том, что лучше всего если за Соколюков заступится сам вожак коммуны.

Фабианы не жаловались на здоровье, но оба страдали одним и тем же недугом — потерей ориентации. На козла эта хвороба нападала в дни жестоких голодовок, преимущественно зимой и ранней весной, когда все лакомства этого прекрасного мира запирали (от него!) в погребах и амбарах. Чем более он был голоден, тем тяжелее переносил свою болезнь и то и дело кидался в противоположную сторону от всегда пустого

своего жилья. Скажем, домой надо сворачивать на север, к ветрякам, а он трусит на юг, хотя хорошо знает, что бредет не в ту сторону. К Фабиану-человеку этот недуг приставал в двух случаях: во-первых, когда он попадал в большой город и самым удивительным образом терял направление на родной Вавилон, и, во-вторых... Впрочем, этот второй случай к тому времени получил уже такое распространение, что на нем не стоит останавливаться. Слава богу, болезнь посещала их не одновременно, и всякий раз здоровый мог пособить больному, что, разумеется, никак не препятствовало хроническому возвращению болезни, а только способствовало ее обострению.

Кстати, не пора ли уже рассказать о Фабианах, а в особенности о Фабиане-философе, подробнее? Ведь нам не раз еще предстоит встречаться с ними. Пожалуй, пора. Добавлю только, что к тому времени, когда двое заступников за Соколюков добрались в коммуну, коммунаров уже одолел сон. Светилось только окно Клима Синицы. Философ обрадовался этому. А козлу пришлось поспать у парадного крыльца, он не умел ходить по крутой лестнице, где к тому же и количество ступенек превышает обычные вавилонские нормы...

Ну, вот, опять Мальва мешает отдать должное философу и хотя бы вкратце рассказать о нем. Покончив с жатвой на своей нивке и вдосталь накормив буланого у Данька в овсе, Мальва вернулась домой, выкупалась в Чебреце, нарядилась в зеленое платье и сапожки и примчалась в коммуну позднее обычного. Там она немало подивилась, застав у крыльца Фабианова козла. Стало быть, и хозяин тут? Она не стала будить козла — да и к чему? — и как можно тише поднялась по лесенке к поэту. Но мансарда была пуста, и Мальва, не задерживаясь, спустилась вниз и пошла через двор к сыроварне. Железное колесико так и лежало посреди двора неприбранное, Мальва споткнулась об него и чуть не упала. Когда она открыла дверь, поэт скорее растерялся, чем удивился ее приходу. Запах плесневелого сыра с непривычки показался Мальве нестерпимым. Сыровар работал в чепце, в белом халате и в галошах, которые явно были ему велики, и потому ступал он в них осторожно, чтобы не спадали с ног. А знаменитые его туфли стояли у порога, выва-

лив красные языки. Возле на скамеечке была сложена одежда.

Здесь готовились к ярмарке. Совсем юная коммунарка, вероятно, из сезонниц, которые приходили в коммуну на одно лето, помогала наводить глянец на головках сыра.

А между тем козел, проснувшись, узнал у крыльца вавилонского коня, печально опустившего голову, и никак, бедняга, не мог сообразить, откуда он тут взялся. Фабиан хорошо помнил, что и хозяин пришел с ним сюда пешком. Более того, козел почти волок его на себе и натрудился, как никогда. Увидав на буланом вышитую подушечку, козел снова погрузился мысленно в непостижимые хитросплетения жизни. Хорошо бы, скажем, на обратном пути увидеть хозяина на этой подушечке, чтобы не вести его снова в Вавилон пешком. И подумать только, что есть еще люди, которые завидуют легкой жизни козла...

На заре поэт отправился со своим неоценимым товаром в Глинск. Красные головки были упакованы в корзины и прикрыты брезентом. Как и уговорились, Мальва ждала возле деникинского рва, легкая и чистая, как сияющий рассвет. Глаза у нее улыбались от счастья, она совсем по-девичьи вспрыгнула на телегу, как только та остановилась. Была Мальва в красных сапожках, в платье и плахте, под которой, уже сидя на телеге, могла свободно прятать колени. Пахло от нее не то чебрецом, не то другим каким-то зельем. Обоим ни о чем не хотелось говорить, молчание было для них выше и понятнее самых пылких слов.

Уже перед Глинском Володя похвалился шашкой, которую прятал под соломой. Мало ли что может случиться в дороге, когда он продаст сыр и будет возвращаться с выручкой. Вспомнив о Соколюках и ужаснувшись мысленно, что он тоже может угодить в милицию за свою шашку, Мальва торопливо прикрыла ее соломой и поникла, замолчала. Потом Володя заметил ее смущение, когда проезжали глинскую тюрьму, но он не углядел, что в одном из тюремных окошек сходит с ума Данько Соколюк, страшный, хотя сейчас и бессильный соперник.

— Это еще кто?— спросил тот брата Лукьяна.

Мальва Кожушная только покосилась на окно и опустила глаза, боясь встретиться взглядом с Даньком, который возник за решеткой, как укор из неволи.

Их воз протиснулся сквозь ярмарочную толчею к ларькам, большею частью пустым, остановился возле одного из них, с черепичным навесом. Мальва помогла сыровару сгрузить корзины, потом на полку выложили красные головки, одна упала, выкатилась на площадь, покато спускающуюся к Южному Бугу, так что Мальва едва догнала ее под смех публики, обдула и положила на верхнюю полку. Может быть, благодаря этой самой головке к ларьку сразу потянулся ярмарочный люд. Сыровар облачился в белый фартук и принялся отвешивать на весах кому целую головку, а кому только кусочек на пробу; деньги от покупателей принимала его помощница.

Вот подошел к ларьку сам товарищ Тесля, секретарь райкома, с какой-то высокой дамой,— уж не с Варей ли Шатровой, у которой стоял на квартире?— выбрал самую лучшую головку, попросил взвесить. Прежде чем положить в кошелку, Тесля долго держал головку в руках, рассматривал на свет, словно диво какое-то, потом расплатился и повел свою хозяйку в ряды с приумолкшими связанными птицами. Вокруг ларька с сыром собралось народу больше, чем везде. Мальва едва успевала считать деньги, красных головок на полках оставалось все меньше и меньше. Данько за решеткой ругал продавцов сыра за то, что спускают товар по дешевке.

Когда все было продано, сметливые хозяева ларька убрали свои весы, сложили одна в одну корзины, от чего их стало наполовину меньше, чем было, когда ехали на ярмарку, вымостили соломой передок и поехали себе, только не домой, не мимо тюрьмы, как ожидал Данько, а по направлению к старой мельнице, где с некоторых пор была так называемая пролетарская корчма. Оставим их там и расскажем, наконец, о философе из Вавилона...

Козел считался собственностью философа, хотя в иные моменты философ был недалек от того, чтобы счесть себя собственностью козла. Впервые этот парадокс возник, еще когда четвероногого красавца вели

в наш Вавилон на самой обыкновенной пеньковой веревке. Похоже было, что козел вел человека, хотя все должно было быть наоборот. Любопытных вавилонян не столько тронула эта перемена ролей и даже не столько самое появление козла, сколько его имя. Что и говорить, после смерти козла таким его именем стоило бы назвать если уж не что-нибудь существенное на земле, где, к сожалению, все заслуживающее внимания уже названо, то хоть один из районов на невидимой стороне луны, с которой козел поддерживал постоянный душевный контакт по своей слабости к небесным телам вообще, и к этому вечно изменчивому шарику в особенности. Ведь луна не раз освещала ему дорогу домой, но и не раз предавала его, когда он прокрадывался в чужие огороды ночью. Невзирая на чудесное имя, которое могло достаться козлу совершенно случайно, в животном все же не ощущалось никакой претенциозности, свойственной этим самоуверенным созданиям, склонным преувеличивать свои заслуги перед человечеством. В Вавилоне из-за своеобразного рельефа местности крылатому козлиному племени не чинилось никаких притеснений со стороны властей. У коз издавна репутация верхолазов. Обратите внимание, на пастбищах никто не забирается выше их, они — как птицы.

Сперва Фабиан не питал никаких иллюзий относительно своего положения в этом обществе. Чтобы нравиться своим вавилонским фуриям, он менял масть в зависимости от времени года, отдавая предпочтение светлым тонам. Летом булано-серый с черной меткой на левой лопатке (эта деталь была вечной загадкой для него самого, не говоря уже о его избранницах), с умными малиново-вишневыми глазами, которые, правда, иногда теряли цвет, и этот изъян глаз скрадывался бородкой, которая то редела и выцветала совсем, напоминая бороду потрепанного волокиты, то вновь курчавилась, возрождалась, становилась дымчато-синей с благородными прожилками, и тогда никто не мог отказать этой бороде в прирожденной мудрости, что не в шутку отличало Фабиана-козла от его сородичей.

Что касается Фабиана-человека, то он стал Фабианом не сразу, как уже сказано, в свидетельстве о рождении он записан Левком Хоробрым. Это был человек странный, извечный бедняк и потому такого же фило-

софического склада, как и козел, купленный им в Глинске буквально за гроши. Никаких писаных трудов по философии у него не было, но ведь и великий Сократ за всю жизнь не написал ни строчки, что, однако, не дает оснований не считать Сократа философом. Из-за отсутствия писаных трудов Фабиан придавал тем более весу своим устным высказываниям и пользовался ими с величайшей осторожностью. Жил он на самой окраине Вавилона (мы еще побываем в его немудреном жилище), по соседству с ветряками, по которым легко определял направление ветра, но которыми никогда не пользовался как помолец, да и хлеба в его жилище давно уже не пекли, еще со времен покойницы матери. В революцию, которая проходила здесь не так бескровно, как в иных местах, Левко Хоробрый сразу же очутился на ее стороне, и притом без малейших колебаний, но никаких особых заслуг перед нею не имел, поскольку его философский талант раскрылся несколько позднее, в разгар последнего землеустройства, когда философам пришлось отступить перед аграриями.

Этот чудак при всем народе отказался от своего надела в пользу общины и понуждал других сделать то же, в результате чего сразу потерял репутацию нормального вавилонянина, хотя определенные отклонения от нормы наблюдались за ним и раньше. Скажем, перед этим он продал своего единственного коня, славного тем, что ни разу не дал надеть на себя сбрую, и купил себе (за целого коня) золотые очки, что было воспринято Вавилоном как чистейшее надругательство над здравым смыслом. Когда же умер старый вавилонский гробовщик Панкрат, Левко Хоробрый в свои не такие уже преклонные годы зашел дальше дозволенного и, ничтоже сумняшеся, занял это мрачное место. Ничего удивительного, каждый философ идет к вершинам вечной идеи своим путем.

Свободного времени на этом новом посту оказалось более чем достаточно, и он погрузился в чтение священных книг, оставленных Панкратом в верстаке, а затем и светских философских трактатов, обнаружив к этому определенную склонность и терпение. Книжки этого сорта он доставал по большей части на родине козла, в Глинске, и дошел с этим чтением до полного обнищания, сперва материального, а со временем и ду-

ховного, о чем вроде бы красноречиво свидетельствовала покупка козла, которую Вавилон рассматривал не иначе как «вершину» философской мысли гробовщика. Никто не хотел понять, что к этому анекдотическому шагу могла привести не убогость мысли, а беспросветная нужда философа и горячее желание выбиться из нее любой ценой.

Доведенный до отчаяния мизерными заработками на гробах, он уже давненько обдумывал одно хитромудрое дело, на котором собирался разбогатеть, тем более что оно ни к чему не обязывало его как гробовщика и философа, то есть ничего не меняло в привычном легком течении его жизни, которую он находил единственно возможной для такой неоснащенной личности, как Левко Хоробрый. Вооруженный очками, он не мог не заметить, что в нашем преславном Вавилоне держали бесчисленное множество коз, но никто не позаботился о козле и непокорных приходилось водить в самый Глинск, городок на ту пору уже достаточно цивилизованный, и там почти ни за что оставлять деньги, которые легко могли бы очутиться в необжитом кармане философа, имей он под руками хоть какого-нибудь паршивенького козла. Побаиваясь, что его гениальную идею может перехватить кто-нибудь другой, он потихоньку сколотил маленький капиталец на гробах (в тот год попалось сразу несколько зажиточных клиентов) и в первую же осеннюю ярмарку подался в Глинск, чтобы осуществить там свое коварное намерение, лишив городок дальнейших заработков, а свой Вавилон поставив перед фактом неслыханной догадливости, а может быть (в зависимости от того, как будут развиваться события), даже мудрости философа. К счастью, козел ему попался в расцвете сил, о чем свидетельствовали хотя бы его рога, по кольцам на них философ легко установил возраст своего нового товарища, от которого предыдущий хозяин хотел просто избавиться на зиму, почему и запросил за него такую ничтожную цену, что у философа от удивления голова пошла кругом.

Сейчас уже трудно сказать, кто кого вел на веревочке в Вавилон, где отныне становилось одним бедняком меньше или одним богачом больше, однако хорошо известно, как православные философы награждают себя за удачную торговую сделку. Наш герой

не мог нарадоваться, что почти даром приобрел такого красавца, загулял на радостях в трактире, а козел, проклинавший своего прежнего угнетателя, в свою очередь, предчувствовал, что попал в добрые и чуткие руки и наконец обретет свободу, которой жаждал с самого рождения. Одним словом, уже в пути они дошли до того высшего душевного взаимопонимания, которое показывало, что эти двое недаром приобрели друг друга.

А поскольку козла звали Фабианом, то это редкостное имя не без помощи вавилонских остряков очень скоро пристало и к самому философу. Через некоторое время Левко Хоробрый остался только в памяти вавилонян да в шнурованных книгах сельсовета. Другой восстал бы против такого произвола сограждан и непременно обратился бы к защите властей, а наш философ нашел свое новое имя, мало сказать подходящим, нет, прямо-таки необходимым, поскольку изначально был убежден, что у каждого философа должно быть прежде всего необычное имя, которое уже само по себе выделяло бы его из толпы и понуждало к размышлению. Платон, Сократ, Сенека, Спиноза, Сковорода. И после большого перерыва — Фабиан. Разве вы не чувствуете, как действует на вас самое звучание этих чудесных имен?

Таким образом, с этой стороны, покупка козла вполне оправдала себя, что же касается призрачных капиталов, на какие рассчитывал философ, когда основывал свое предприятие, то тут он потерпел полное фиаско: он не получил от козла ни одной монетки, поскольку всякий раз узнавал о козлином греховодничестве постфактум; возмутительнее всего было то, что иные хозяева горячо благодарили его за козла, но философ не мог предъявить им никаких претензий даже по римскому праву, к которому обратился было, видя, как гибнет предприятие, хотя козел и в дальнейшем оставался по всем сельсоветским описям собственностью почтенного Левка Хороброго.

Там, в этих описях, была зафиксирована масть козла (в наиболее постоянном варианте), стоимость по твердым ценам, вес, определенный на глаз, и маловероятная годовая прибыль от козла для взимания налога. Секретарь сельсовета Бонифаций, или, как его звали в Вавилоне, Кармелит (он был, по преданию, тай-

ным отпрыском босых кармелитов, одно время правивших Вавилоном из Бердичева, где и до сих пор стоят развалины их собора), любил в документах подробности. В этом отношении он был фанатик, и, когда Фабиан просил его удержаться от преувеличений в графе прибылей, не посмотрел даже на то, что приходился тому дальним родственником. То ли Кармелит был лишен чувства юмора, то ли, наоборот, нарочно проставил прибыль от козла, но бедняге философу пришлось и в самом деле еще платить сельсовету за эту и впрямь неприбыльную скотину. Ну да не впервые философам становиться жертвами своих гениальных идей! Зато теперь у Фабиана было два предмета, о которых никто в Вавилоне не мог и мечтать: очки в золотой оправе (96-я проба выбита на левом заушнике, и каждый может наглядно убедиться в этом, философ охотно снимает очки для такого случая) и козел, который не только принес почти безымянному философу имя, но и заставил Вавилон взглянуть другими глазами и на самого философа, не такого уж нищего, как до тех пор, потому что, по правде говоря, в этом мире человек чего-нибудь стоит, только если кроме славы у него есть и кое-что ощутимое, ну хотя бы живой козел — животное на крайний случай можно продать с молотка для уплаты небольших, но вечных долгов, в которых маются все без исключения философы, не признанные в полной мере своими неблагодарными народами. Иногда для такого признания как раз и недостает самого обыкновенного козла, он сразу поднимает философа в глазах современников, делая его не таким уж одиноким на поле брани.

Но вернемся к портрету Фабиана-козла. Если борода придавала ему вид мудреца, то рога были признаком его храбрости и неизмеримой силы. Роговица на них была прозрачная, перламутровая, на вечно молодых кончиках она просвечивала насквозь, как зеленая слива. Не удивительно, что никто не осмеливался тронуть его, когда он направлялся в обеденную пору к пруду на водопой или под вечер выходил к ветрякам встречать вавилонское стадо, которое возглавлял и грациозно вел в достославный Вавилон...

Он почти никогда не пропускал этого торжественного момента, поскольку в отличие от своего хозяина, державшегося всегда в тени по своей прирожденной

скромности и дальновидности, козел не признавал жизни без подвига, умел в ответственные моменты выходить на авансцену и тогда перерождался прямо на глазах. Он любил смотреть с мельничных высот, как долиной шествует стадо, в засуху над коровами подымалась романтическая пыль, и это, верно, напоминало ему усталое войско, которое возвращалось домой после битвы за вечный Вавилон. Если стадо запаздывало, Фабиан великодушно позволял себе подождать, потом занимал свое место во главе шествия и вел всех в Вавилон, как ассирийский царь, исполненный достоинства и величия. Затем он видел, как почтительно растворяли ворота (это он любил чрезвычайно, хотя и знал, что отворяют не для него), но в своем ослеплении не замечал другого. Бедняга не любил оглядываться назад и не видел, как стадо у него за спиной постепенно таяло. Он гордо шагал по верхним улицам дальше, уверенный, что все еще кого-то ведет, хотя на самом деле шел уже один, без войска. В такие минуты он казался трагически смешным, как человек, совершивший подвиг во имя пустой затеи.

Наконец он останавливался, глубокомысленно вздыхал, зажмуря глаза, и думал: какую неверную толпу он только что вел за собой и вот теперь должен один возвращаться на круги своя. И он топал по тем же улочкам, где еще пахло пылью да пролитым молоком, снова чувствуя себя самым обыкновенным козлом, озабоченным не какими-то там высокими материями, а поисками обычного ужина в одном из вавилонских двориков, которые на ночь запирали от него и от всякой чертовщины. Вот как недостойно с ним поступали. Но на следующий вечер Фабиан снова выходил к ветрякам, ибо не мог уже прожить без хотя бы кратковременной власти над стадом.

Козел знал все вавилонские дворики до малейших подробностей и, главное, их способность к обороне, ее нельзя было не учитывать, поскольку козлу, чтобы сохранить жизнь, приходилось пускаться на крайности, рискуя подчас тою же жизнью, цена которой в минуты голодного отчаяния сводилась на нет, не говоря уже о свободе, которую он проклинал, как выдумку сытых. Так, скажем, во дворике Матвия Гусака, человека зажиточного, козел любил красть из чугунов картошку, вареную для свиней, которую каждое

утро выставляли студить. Ему не так нравилась сама картошка, как соль на ней и одуряюще сладкий картофельный пар. Свиньи в хлевах неистово визжали, просто сходили с ума, почуяв запах картофельного пара и видя, как наслаждается всем этим их знакомый, но Фабиан не обращал на них никакого внимания, он в такие минуты был глух и слеп. Кончалось же все это тем, что Гусак или супруга его, захватив Фабиана на месте преступления, нещадно колотили козла. Он клялся себе никогда больше не заглядывать в этот двор, но не мог без соленого и ноги сами несли его на новые пытки, которые доставались ему через раз и только иногда реже. В минуты смертельной опасности козел развивал скорость в зависимости от того, каким предметом вооружались его гонители.

Беспрепятственно он мог обедать только у Явтуха Голого, еще одного вавилонского чудака, давно замышлявшего переманить козла к себе и с его помощью перебраться из немощных середняков в ряды обладателей высшего имущественного ценза, поскольку само слово «середняк» вызывало у Явтуха отвращение. Разумеется, в перспективе дело шло о закабалении козла и извлечении из него определенного дохода. В стремлении разбогатеть все бедняки чем-то походят друг на друга, вероятно, своим ослеплением.

Обеды устраивали в тени, под грушей, где собиралась вся семья, козел, не предвидя дурного, приходил на них с аккуратностью бездомного гуляки. После обеда он любил поспать вместе с Явтухом, только тот спал на полке, а козел этажом ниже, под телегою. Козлу импонировала атмосфера этого многодетного семейства, владевшего восемью десятинами поля где-то на краю света, а здесь — своей тропинкой к реке, своими мостками, клочком луга с кустом калины и у самого луга сказочно высокой конопле́й, в которой недремлющий Явтух частенько залегал в засаду на соседей, правда, как правило, безрезультатно. Впрочем, козел признавал Явтушка слишком симпатичным, чтобы ему могли изменять в конопле. Особенно трогательно тот выглядел в праздники. Он не бегал в церковь, как другие, не ходил в гости к кумовьям, сватам и родичам, ведь тогда пришлось бы звать их к себе, а это уже траты, которых Явтушок не мог себе позволить не столько даже по бедности, сколько потому,

что был скуп. Он нашел лучший способ бывать на людях: каждое воскресенье надевал вышитую рубаху, поверх нее черный касторовый жилет — единственное, что досталось ему в свое время из господского гардероба,— соломенную шляпу, которую сплел себе собственноручно, и вот так, расфранченный, с утра становился у плетня и мог неподвижно торчать там, сколько считал нужным, выдавая себя за бог знает какого хозяина. Между тем штаны у него были при последнем издыхании, ноги, потрескавшиеся и вечно багровые, как клешни у вареного рака, но все это было скрыто плетнем, зато свою верхнюю часть он мог демонстрировать сколько угодно, и, когда сдержанно и с достоинством здоровался с прохожими, тем, наверное, представлялось, что на Явтухе добротные шаровары, яловые сапоги и дорогой трехцветный шерстяной пояс, как на окрестных хуторянах.

Козлу со двора, из-под груши, где он лежал, дожидаясь обеда, смешно было наблюдать такой маскарад, но Явтуха это не трогало, он знал, что козел не сможет раскрыть его маленькую хитрость, рассчитанную на легковерных. Не обращал Явтушок внимания и на соседей, заклятых своих врагов, от них он и не собирался скрывать свою нижнюю половину, более существенные недостатки которой могли быть известны разве что Присе. Мальчишек год от году становилось все больше во дворе, Явтушок находил их слишком уж непохожими на него, и все чаще в нем пробуждалось гнетущее подозрение, которое он подавлял с величайшим искусством, ожидая случая смертельно отомстить Соколюкам, что он и сделал, хотя вина Соколюков могла состоять лишь в том, что Прися, забеременев, сверх меры заглядывалась на них и молила бога послать ей если уж мальчика, то непременно похожего на одного из тех красавцев, к которым она питала не одни только соседские чувства, хотя и отдавала Явтушку должное как мужу и отцу. Впрочем, в ближайшем будущем, с появлением нового, девятого мальчика Явтух все точнехонько проверит... А вот завладеть козлом казалось ему делом неотложным, скотина не только украсила бы двор, но еще и пользу бы приносила.

После обеда и сладкого сна под телегой этот негодник всякий раз не забывал возвращаться в жилище

философа, а тот давно разгадал далеко идущие намерения Явтуха и, затаив улыбку под очками, ждал развязки. У философа не было ни малейшего желания терять товарища только ради того, чтобы вывести еще одного никудышного середняка в другую социальную прослойку. Никто не мог предвидеть, в том числе и философ, что Явтух еще поплатится за свое половинное представительство у плетня.

Отношения Фабианов с сельсоветом отчасти уже читателю известны. В конце года философ платил за козла налог наличными, и налог не уменьшался по мере того, как козлу прибавлялось лет (подлые уловки Бонифация). Может быть, тем бы и кончилось, не понравься козел самому председателю сельсовета Паньку Кочубею.

Вместо революционного оружия, которым любили блеснуть при случае тогдашние председатели, Панько носил за голенищем несколько иные атрибуты власти — стальную иглу и длиннющий обоюдоострый нож, которого побаивались нарушители порядка. На эти инструменты и сам Савка посматривал со страхом. Председатель, как и раньше, до избрания, не брезговал не только холостить в Вавилоне боровков, но, погодя, и колоть их, само собой, не задаром. Колол он их виртуозно, но для вдохновения ему нужны были зрители и публикой служил козел. Фабиан не пропускал ни одного выступления председателя в этой роли, просыпался на зорьке и торопился к кострам, которые загорались накануне праздников то в одном, то в другом закоулке Вавилона.

Душистые дымки проникали в пустую лачужку философа с убийственной силой, принося ему самые тяжкие муки, какие только можно выдумать для человека в пору великого поста, соблюдаемого им отнюдь не из христианских убеждений. Но ни одна бестия не догадывалась угостить философа свежатинкой, которой ему так хотелось. Это было, по меньшей мере, неучтиво по отношению к человеку, чьи услуги рано или поздно могли понадобиться владельцам боровков. Когда прокопченный дымом козел возвращался домой, философ прогонял этого вегетарианца из комнаты, и тому приходилось всю ночь проветриваться в сенях. Может быть, таким способом Фабиан вымещал на козле недогадливость вавилонян, чьи поджарен-

ные боровки так вкусно пахли, а паче когда ветерок дул в сторону незащищенного жилища философа.

Был и другой аспект отношений нашей пары с сельсоветом. Зимой, когда пруд замерзал, козел, оставшись без водопоя, частенько наведывался в сельсовет, где мог напиться из дубовой бадейки, в которой ежедневно меняли воду. Председатель не прогонял его, невзирая на протесты Бонифация. Более того, козел пил прямо из бадейки, как и сам председатель, тогда как всем остальным вавилонянам разрешалось пить вкусную сельсоветскую воду только из медной кружки, прикованной к бадейке цепочкой. Этой привилегией козел очень гордился и некоторое время даже считал себя вторым лицом после Панька, до тех пор, пока Бонифаций не сделал ему соответствующего разъяснения и не отвадил надолго от бадейки. Кармелит ухитрился провести эту экзекуцию без свидетелей своего грубого обращения с животным.

В присутствии Бонифация козел больше не отваживался пить сельсоветскую воду, отчего унизился в собственных глазах, невольно почувствовав себя второстепенной особой. Однако, как и прежде, с упорством тупицы приходил на все заседания и сходы, полагая, что достойно представляет обоих Фабианов. Козла не только не прогоняли, но, напротив, допускали к самым сокровенным вавилонским тайнам, а Кочубей так привык к его присутствию, что не начинал без него ни одного важного заседания. «Подождем Фабиана»,— улыбаясь, говорил председатель, и никто не смел возражать, хотя все догадывались, о котором из Фабианов идет речь. Вероятнее всего, тут имело значение одно деликатное обстоятельство. Потому что если на следующий день классовые тайны сельсовета становились известными всему Вавилону, то виновником этого, как правило, оказывался козел, что, впрочем, не мешало Кочубею и в дальнейшем пускать этого болтуна на все секретные заседания. Что же до Фабиана-человека, то его почитали еще более ненадежным, держали в стороне от большой политики, и это было одной из самых серьезных ошибок Вавилонского сельсовета, который, придерживаясь старого, как мир, принципа, что нет пророка в своем отечестве, не знал своих будущих героев.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Перед рассветом тарахтенье возка разбудило Соколюков в деникинском рву. Одному из них взбрело в голову выглянуть, кто едет. Лошадь сразу же среагировала на глаза, смотревшие из зарослей. Осеклась, настороженно зафыркала, застригла ушами. Глаза принадлежали чернобородому человеку, тут же скрывшемуся в зарослях. Клим Синица вынул наган, спрыгнул с подводы и выстрелил в воздух — это могло быть сигналом для коммуны. Потом крикнул:

— Выходите! Я вас вижу... Иначе смерть вам всем...

В ответ мертвая тишина, слышно было только, как во рву бегали перепуганные мыши. И вдруг рельса в коммуне, набат на смертный бой с бандитами.

— Я кому приказываю?!— крикнул коммунар, почувствовав себя еще увереннее.

Сперва вышел один с поднятыми руками, а за ним и другой, похоже, тот, чьи глаза обнаружила лошадь. Загнанные, несчастные, оба чувствовали себя неловко.

— Оружие есть?

— Нет оружия...

— Никакого?

— Никакого...

— А что есть?— недоверчиво переспросил Синица.

— Вши, гражданин начальник,— усмехнулся чернобородый.

— Какие вши? Чего несешь, дуралей!

— Глинские вши. Ей-богу, правда...

Клим Синица посмотрел на того, кто сдался первым.

— Мы сидели в глинской тюрьме... Бежали нынче ночью. Оттого и вши...

— На телегу оба!— приказал им Клим Синица, уже догадываясь, что это те, о ком накануне просил Фабиан.

Он посадил братьев на разные стороны, спинами друг к другу, таким образом разъединив их, сам сел на передок и повез пленников в Глинск. В коммуне перестали бить в рельсу. Может, зря — деникинский ров не раз служил пристанищем и настоящим бандитам.

Эти-то оказались в нем с отчаяния, ждали погони, вот и не знали, куда деваться. Один умолял идти в коммуну, сдаться коммунарам, но другой наотрез отка-

зался. А заросли во рву такие, что в них можно скрываться хоть до самого покрова. Пересидели бы день-другой, а там подались бы куда глаза глядят. Разве станут их искать повсюду? Не такие уж преступники, чтобы непременно вести их под расстрел. За что, спрашивается? За то, что выкопали господский сундук, который их папенька неведомо зачем запроторил под грушу? Или, может, за булаву Конецпольского, о котором они узнали уже там, в тюрьме, от начитанных людей, что он в старину посадил на кол не одного их предка?.. Раз такая несправедливость, они решили бежать, что и сделали этой ночью. Ну, а теперь-то уж их, слов нет, расстреляют, если товарищ Синица не сжалится над ними и не отпустит с миром. И братья спросили как можно более проникновенно: что товарищ Синица потеряет, если подарит жизнь двум загнанным парням, которые так тихо спрыгнут с подводы, что он не заметит?.. С передка им не ответили, но наган Синица спрятал в карман.

Тогда Лукьян попросил разрешения поднять на телегу ноги — совсем затекли. А Данько тихо плакал, роняя слезы на стерню, ноги у него тоже занемели и стали непригодны для бегства. Потом и ему было разрешено поднять их в телегу.

— Видишь, Данько, что вышло из нашего побега?

Тот совсем пал духом.

Вдали вырисовывался Глинск, сперва показались две церковки, а потом все, чем привлекают такие городки на расстоянии. Вблизи они кое-что теряют и все же не перестают оставаться самими собой с тем повседневным и вечным течением жизни, которым они держатся на свете.

Глинск—город, грязнейший осенью, пыльный летом и невероятно холодный зимой, потому что лесов поблизости нет и приходится греться соломой, а от нее прок не велик, да и этого тепла хватает едва до середины зимы, а потом наступает такая пагубная стужа, что в здешних местах сложилась поговорка: «Холодно, как в Глинске». Город весь на холмах, всюду копают желтую глину, а в иных местах и белую, и теперь высокие обрывистые осыпи издали смахивают на меловые горы, от которых даже летом тянет холодком. Из-за этой своей прирожденной бедности и нерасторопности Глинск долгое время считался вольным горо-

дом; хотя не обладал ни знаменитым магдебургским правом, которое было дано Вавилону при литовском князе Ягайле, ни какой-либо высокой грамотой, а только вот этими холмами, на которых рождались вольнолюбивые дети да плодились в осыпях стаи летучих мышей. В Глинске селился тот, кто готов был отдать жизнь за миг свободы, либо тот, кому не было доступа в лучшие города на этой райской земле. Граждане Глинска, хлебнув беды, становились гордыми, стойкими, изобретательными, славились разнообразными талантами и склонностями, а глинские женщины прослыли непревзойденными хозяйками. Их изделия — глинские пироги с фасолью, глинские крученики и завиваники, рубцы по-глински и борщ с карасями — и поныне считаются шедеврами национальной кухни в наших краях. Скопление свободолюбивых, а стало быть, и талантливых людей со временем вынесло Глинск на гребень, сюда потянулся торговый и мастеровой люд, и где-то в начале двадцатого века Глинск по площади равнялся Карфагену, хотя в нем не было ни водопровода, ни рабов, ни сената и никто не грозил ему разрушением. Как раз в этот период на Глинск обратило внимание местное земство, а точнее, здешние магнаты, рассыпанные вокруг по фольваркам и экономиям. Земство основало здесь собрание по образцу известнейших земских собраний, выстроило тюрьму, школу, больницу, а в придачу к маленькой деревянной церковке, которую наспех сложили когда-то первые поселенцы на свои деньги, в Глинске поднялись еще две: одну заложили на вознесенье, другую на спаса; приходы тайно враждовали между собой, подольский архимандрит не раз приезжал успокаивать мирян и произносил проповеди, исполненные призывов не позорить сварами христианскую веру, приводя в пример непослушным прихожан глинской синагоги.

Эта вражда длится и поныне, беднейшие прихожане ходят к вознесенью, а зажиточные — к спасу, засылая одни к другим своих осведомителей. Отец Жабокрий называет отца Инфантия в проповедях штундой, а тот отца Жабокрия — униатским кретином, что, впрочем, не помешало им при нэпе держать общий трактир, который так и звали в народе «шинок святых отцов» и в котором они засвидетельствовали обоюд-

ное пристрастие к перцовой, чем в конце концов и довели это предприятие до полного краха, после чего не занимались уже больше обоюдным предпринимательством.

Клим Синица когда-то привозил в Глинск свою пурпурную глину и видел, что здесь творилось. В ярмарочные дни это был один из многолюднейших городов Верхнего Побужья. Но более всего славился Глинск конными ярмарками, те достигали иногда фантастических размеров, лошади запружали весь город, подымалось подчас такое ржание и начинались такие побоища, что жителям Глинска становилось жутко при мысли, что однажды лошади взбунтуются против грубого произвола и разрушат этот пакостный город, в котором их разлучают с хозяевами и передают в чужие руки, чаще всего под конец жизни, когда из них вымотаны силы и доблесть. Конокрадов, когда те попадались, здесь не щадили.

Позднее, полагая, должно быть, что Глинск — это прорва, которая поглотит все, нэпманы завозили сюда товары со всего мира, но местные перекупщики тоже не дремали и то же сукно, сатин, перкаль, бумазею, плуги, сбрую, соломорезки и даже конные приводы к молотилкам продавали в кредит, чего не могли позволить себе их залетные конкуренты, или, как их тут называли, чужеземцы.

Мастеровые люди держались вместе, и у них на ярмарках были свои неприкосновенные ряды. Колеса к телегам, ярма, грабли, цепы, ступы, ведра, бадейки, корзины для зерна, сита и решета — это все один ряд; домотканые полотна, сукна, ковры, вышивки, перо и шерсть — другой ряд; а за ними еще ряды и ряды — от гончарных, кожевенных, кузнечных изделий до иконостасов и бумажных цветов, придававших ярмарке торжественность и пасхальное благолепие.

Нового расцвета достиг Глинск, когда стал районным центром с районным председателем Чуприной из Чупринок и соответственными учреждениями: своей почтой во главе с бывшим царским почтмейстером Харитоном Гапочкой, своей милицией с неподкупным Пилипом Македонским, своей потребкооперацией, райсудом, райстрахом, райживсырьем, своим райфо и, следовательно, своим банком. Последний не имел поступлений сверху, а жил преимущественно обложе-

ниями, конфискациями, страховками и доходами от колбасного промысла, которым издавна славился Глинск.

Сердце Глинска и всего района — райком партии разместился в аккуратном домике над Чебрецом, который впадает здесь в Южный Буг, в домике очень приветливом, под зеленой крышей, с маленькими окнами и потому теплом зимой и прохладном летом, с открытым крыльцом, с галками на белых трубах, с сиреневой аллейкой и двориком, где было приятно полежать на траве и послушать шум воды, падающей на мельничное колесо, которое когда-то приводило в движение маленькую мельницу, но с тех пор, как мельница сгорела, крутилось вхолостую и останавливалось только в крещенские морозы, когда Чебрец в этих местах промерзал до живой рыбы. В районе было всего семь или восемь коммунистов, на партийные собрания все сходились сюда, дальше всех было добираться Климу Синице, но он появлялся первым и возвращался в коммуну только с рассветом, потому что собрания начинались вечером и заканчивались поздней ночью. На этот раз чуть ли не впервые его вызвали спозаранку, и от этого было как-то непривычно и даже тревожно на душе.

Сегодня Глинск был верен себе — пели петухи, лениво тащилось в степь стадо, по пустырям паслись на привязи местечковые козы, перекликались цепы в амбарах. И лишь в центре возле милиции царило необычное оживление, от которого веяло тревожными временами — там сновали ополченцы, вооруженные мушкетами, дробовиками и даже пищалями, а те, кому не досталось огнестрельного оружия, не побрезговали холодным, что, впрочем, не снижало боевого духа ополченцев, а лишь свидетельствовало, что он высокий; они носили оружие гордо за поясом, поскольку ни в какие карманы оно не влезало.

— Видите, что вы натворили,— сказал Клим Синица своим пленникам, полагая, что переполох в Глинске происходит из-за них.

Те сидели на бричке ни живые, ни мертвые, узнавая то одно, то другое из вооружения ополченцев.

К славному воинству спешил с почты и Харитон Гапочка, бывший царский почтмейстер. Он, как стар-

ший по службе, был вооружен мечом в серебряных ножнах.

— Что случилось, товарищ Гапочка?— спросил Синица.

Тот смерил подозрительным взглядом сидящих в бричке, кто, мол, такие, а потом сказал доверительно:

— Как, а вы разве не знаете? Тут сегодня бежали из тюрьмы двое вавилонских разбойников. Сейчас выступаем на Вавилон.

Клим Синица мало верил в преданность ополчения и теперь невольно подумал, что скверно придется Глинску с такими защитниками, как этот. Коммунар насмешливо улыбнулся, а Гапочка, не стерпев такого издевательства, вынул меч из ножен и рассек им воздух, что должно было означать: «Этим мечом я снесу голову любой контре». Двое на подводе невольно втянули головы в плечи — бравый почтмейстер и в самом деле владел мечом и только ждал случая отличиться.

Коммунар, побаиваясь за своих пленников, не стал задерживаться возле разбушевавшегося воинства, вскоре подвода выбралась из пыли и остановилась у домика райкома. Тут Синица слез, отпер ворота, въехал с Соколюками во двор и приказал им:

— Слезайте!

Они сошли, долго и смущенно отряхивая друг с друга дорожную пыль.

Флаг на крыльце обвис — не было ветра. В небе ни тучки, мельничное колесо крутилось вхолостую, ни для чего, возле поленницы стояла коса — во дворе вчера или, может, даже сегодня скосили люцерну и она увядала в кучках,— красная вывеска была, как всегда, на месте, не запыленная, как в других учреждениях — тут ее протирали каждое утро,— и Клим Синица сказал:

— Вот, ребята, наш райком. Посторожите друг друга, а я скоро выйду,— и вошел с кнутиком внутрь.

«Это просто черт-те что,— подумал Лукьян.— Посторожите друг друга...»

Синица вышел не скоро, и все это время Данько тихонько уговаривал брата бежать:

— Бричка легенькая, конь добрый, махнем к моему приятелю в Талалаев, а там в какой-нибудь большой город, и конец. Ты же слышал, какая о нас слава. Сколько народа вооружили нашим добром. А здорово,

коли вот так со стороны посмотришь на этих вояк! Я как глянул на почтмейстера, чуть не обомлел. Мечто наш!.. Решаемся, Лукьяша?..

На крыльце появился Клим Синица, уже без кнута, похвалил их за выдержку и велел следовать за ним. Коридоры узенькие, половицы скрипят, стены увешаны плакатами, которых Соколюки не успевали прочитать, искренне сожалея об этом. Синица провел братьев к секретарю райкома и доложил так:

— Вот они оба. Я захватил их во рву возле коммуны. Спали. Ребята славные и послушные. Откопали клад, зарытый отцом, рассчитывали найти золото...— Тут коммунар непринужденно улыбнулся.— А нашли булаву гетмана Конецпольского, которого наша милиция почему-то считает вавилонским гетманом. Максим, позвони и скажи им, что гетман польский и эти парни к его булаве имеют такое же отношение, как мы с тобой. Все оружие я возьму в коммуну для музея. Это редкостная коллекция, и я не позволю ей пропасть.

Максим Сакович Тесля, очень спокойный, уравновешенный и, должно быть, от природы добрый человек, долго разглядывал обоих Соколюков, сперва Данька, потом Лукьяна, и, не найдя никаких весомых аргументов, сказал:

— Все это так, они и в самом деле не виноваты, что когда-то казаки разбили гетмана Конецпольского и захватили его булаву. Но зачем же было бежать из тюрьмы?

— Я начал там слепнуть...— умоляюще сказал Лукьян, а Данько поддержал его трагическим кивком.

Максим Сакович был человек не только добрый, но еще и осторожный. Все надежды Соколюков на освобождение умещались в ямочках, которые появлялись на щеках секретаря, когда он улыбался. Ямочки заметно углубились, когда Тесля пригласил Соколюков сесть, а сам подошел к стене, на которой висел телефон, позвонил Македонскому и приказал необыкновенно тихим голосом прийти, взять беглецов, вернуть им лошадей и телегу и сегодня же отпустить домой. А ополченцев разоружить. Синица подмигнул Соколюкам, когда Тесля сказал, что сам хочет увидеть булаву Конецпольского. При этих словах на щеках у него снова появились многообещающие ямочки, Лукь-

ян тихо заплакал под очками и отер со скулы слезу. Конь во дворе съел одну кучку люцерны и вместе с бричкой перешел к следующей.

Соколюков освободили. Им вернули лошадей, заметно осунувшихся на плохом корме, телегу и пустой сундук из-под оружия в доказательство того, что их держали недаром. Пилип Македонский был ласков и добр, извинялся перед ними за все причиненные им неприятности, вызванные будто бы тем, что классовый враг не дремлет и надо быть начеку, а на прощание посоветовал им никогда больше не попадать в это отвратительное сооружение, построенное еще земством, оно-де и ему самому не приносит никакой утехи, кроме бессонных ночей. За воротами ждала Даринка, принесшая очередную передачу. Она всю ночь шла сюда, босая, вся в пыли, и, увидав их, расплакалась на радостях.

Замочили колеса на мели и тронулись домой. У обоих было одно желание — живее выбраться из Глинска, утратившего в их глазах всю прежнюю романтику. Даринка сидела на сундуке и правила лошадьми, тоже хлебнувшими здесь горя, а Данько и Лукьян упивались свободой на голом полке, они сидели рядом, свесив ноги в заплесневелых от тюремной сырости сапогах. Прощай, Глинск! Еще сегодня они смоют в корыте свои грехи перед человечеством, наденут чистые рубахи и вечерком выйдут на качели, как будто ничего не случилось. От колес поднимался приятный дух дороги...

Клим Синица возвращался в коммуну поздним вечером. Он постригся, побрился у парикмахера и был чуть навеселе — поужинал в «Зеленой мельнице» (мельница сгорела в гражданскую войну, осталась только коробка над Чебрецом, и рабкоop оборудовал в ней так называемую пролетарскую корчму в противовес нэпманским). В «Зеленой мельнице» еще у Соснина был открытый счет — коммуна поставляла туда сыр, — и Клим Синица сохранил с корчмой эти отношения, только в отличие от предшественника аккуратнейшим образом записывал каждую копейку, которую тратил на себя, за что пролетарская корчма называла его «глиняный черт», поскольку не получа-

ла от него никакого барыша. Синица на это не обижался, ведь он не только сбывал здесь коммунский сыр, но пристроил и несколько бадеек овечьего сала для печения глинских коржиков, которые чуть горчили, зато сами таяли во рту. Вообще сегодня он возвращался из Глинска в лучшем настроении, чем когда-либо, а больше всего радовался, что выручил невиновных.

Славная выдалась ночь в дороге. Нетопыри из глинских осыпей долго еще сопровождали его, пролетали над самой бричкой, а иные норовили залететь коню в ухо, отчего жеребец мотал головой, словно стряхивая летучих мышей с черной гривы, на которой те все нацеливались передохнуть. А в Глинске уснуло ополчение, позорно разоруженное и осмеянное Теслей, как будто рожденным, чтобы разбираться во всех тонкостях власти. Чуприна, как и все здешние, держался на гибком и натренированном уме Максима Тесли. Райком все более становился центром всей жизни района, который пока казался Тесле похожим на Ноев ковчег без парусов. Максим Тесля, верно, и до сих пор не решил еще для себя, что брать в ковчег, а что оставить на произвол судьбы.

Сегодня, освободившись от Соколюков, Синица и Тесля переговорили обо всем на свете и даже о любви, чего прежде не касались. К этому побуждал шум колеса в «Зеленой мельнице», которая уже и сама по себе была местом интимным. Тесля столовался в пролетарской корчме, а сегодня даже выпил за счет коммуны. До сих пор его считали здесь непьющим, и эта новая его черта была благосклонно принята работниками корчмы.

Тесля прибыл в Глинск недавно, живет здесь пока одиноко, без семьи, квартирует у одной славной хозяйки, Варечки Шатровой, как он погодя узнал, бывшей офицерши. Ее девичья фамилия — Снигур. В Глинске целая улица Снигуров, на которую Варя вернулась Шатровой. Жена Тесли с двумя детьми осталась в Краматорске и не торопилась в Глинск, имея представление о нем только по письмам мужа. Тесля придерживается мнения, что каждый уголок на земле прекрасен, когда постигнешь его, укоренишься в нем.

Синица не говорил ни слова о своей печальной истории с Рузей, эта история казалась ему давней и непригодной для воспоминаний в пролетарской кор-

чме. А вот о Мальве Кожушной рассказал. Нежданно явилась к нему в коммуну; когда-то он дружил с ее мужем, тот недавно умер, можно сказать, у него на глазах. «Какая, товарищ Тесля, может быть любовь при таких обстоятельствах? Выпроводил я ее из коммуны...»

От хаты Снигуров к Бугу сбегает обсаженная подсолнухами тропка, по ней каждый день на рассвете Варя Шатрова и ее квартирант спускаются купаться в затоне, укрытом под глинскими вербами, Варя, высокая, с вышитым рушником на шее, словно плывет над подсолнухами, а Теслю некоторые подсолнухи хлещут по лицу. Спускаются вместе, а купаются врозь, прячась от глинских пересудов, да разве спрячешься от Харитона Гапочки, этого царского последыша, который сразу же написал об их предрассветном купанье в Южном Буге жене Тесли в Краматорск. Синица раз уже заприметил Варю, когда она приходила вместе с Теслей в коммунский ларек за сыром, запомнил ее красивое лицо в веснушках, необычную для Глинска фигуру, теперь мог легко довообразить себе эту женщину в затоне и невольно улыбнулся, представив себя на месте Тесли: ну как устоять против такой веснушчатой, пусть даже и жены белого офицера в прошлом?.. Испепелит, лиходейка, бедного Теслю насмерть, и тогда не станет его ни здесь, ни в Краматорске. А вот ему, Синице, ничто не угрожает, кроме разве Мальвиной хворостинки, прикосновение которой он и по сю пору чувствует на груди.

В деникинском рву было на диво спокойно. Запоздалая бузина стояла в белом саване, опьяняюще пахла — чистый дурман. Клим Синица подумал о Мальве, ее хворостинке, засмеялся. Задел Тесля больную струнку у него в душе...

У парадного стоял конь на безжалостно коротком поводу, с подушечкой вместо седла. Это было сверх всяких ожиданий, и Клим только теперь признался себе, что всю дорогу от Глинска ему хотелось застать ее тут, в своей комнате. Даже удивительно, что она до сих пор не выбежала на балкон, может, спит на диване в нише? Синица приласкал коня, который, верно, стосковался по мужской руке, перевязал его на длинный повод, чтобы он мог прилечь, если хозяйка задержится, расчесал пальцами холодную гриву,

на которую пала роса. Не будь сторожа, следовало бы завести коня в конюшню, поставить у кормушки с сеном. Только теперь стала понятна улыбка, которой его встретил сторож. Идите, мол, Мальва вас с самого вечера ждет.

Дурманящий цвет бузины преследовал его здесь, у крыльца. Он прикрыл дверь, вынул спички из кармана — побежало, может быть, самое тревожное мгновение, после которого на душе стало как-то пусто и необорудованно. В комнате никого не было, только молодой Маркс с медальоном на шее неусыпно смотрел из ниши. Коммунар впервые подумал, что это был уже безумно влюбленный Маркс. Спичка обжигала пальцы, но потерпевший прошел с этим крохотным огоньком сквозь полутьму ко второй двери, открыл ее и как можно тише вышел на балкон.

Конь стоял у крыльца, грустный, тихий, оконце сверху высветлило железное колесико, валявшееся во дворе и казавшееся совсем игрушечным с вышины, а в мансарде поэт читал на память лермонтовского «Демона». Читал с чувством, с жестами, в отражении окна, там, где лежало колесико, время от времени появлялся его взволнованный и величественный силуэт.

Клим вернулся в комнату, прилег в нише, но влюбленный Маркс ничего не мог посоветовать ему в этих сложных обстоятельствах. Лишь чьи-то легкие шаги по лестнице тихо прошуршали в его сон...

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Соколюки знали Даринку, можно сказать, с колыбели. Данько дружил с ее отцом еще в юности, выезжал вместе с ним в ночное, хотя был значительно моложе. Там младшие всегда жмутся к старшим, но все вместе выбирают себе атамана, не труса, а храброго и, главное, чтобы был справедлив ко всем равно, в том числе и к самым маленьким пастушатам, которые облепляли костры, как ночные бабочки, и завороженно слушали побасенки старших, а среди них и правдивые рассказы о Вавилоне и о соседних «народах». Отец Даринки атаманил дольше всех, не одно лето водил пастухов на ночные баталии против

«долговязых», «черных клобуков»[1], «дохлых мух» и других «племен», которые под эгидой Прицкого, села упрямого и независимого, заводили с Вавилоном долговременные войны, на первый взгляд, вроде бы и ни за что, а на самом деле все за те же честь и свободу, которых, впрочем, никто и не собирался отнимать у воюющих сторон. Это было ясно хотя бы из того, что, как только кончалось лето, враги угомонялись, Вавилон засылал сватов в окрестные села, а прежде всего в Прицкое, и свозил на свои бугры лучших представительниц тех самых враждующих «племен». Те, в свою очередь, поступали так же, понукаемые к тому примером Вавилона.

Атаман приглядел себе рано овдовевшую шляхтяночку Ясю Закревскую из Прицкого и привез ее в Вавилон вместе с дочкой от первого брака. Ася вскоре умерла от тифа, оставив атаману вроде бы совсем чужую ему Даринку. Но отчим относился к ней по-отцовски, она называла его папой, оставлять ее одну дома не хотелось, вот он и брал дочку в ночное. Скоро и девочка гарцевала на Гнедом к радости отца. Тот не раз говаривал ратоборцам: «Гляньте-ка на мою Даринку! Ей-богу, быть ей атаманшей!»

Однажды во время жестокой битвы с «дохлыми мухами» кто-то из «мух» угодил в нашего атамана дубинкой, беднягу даже не довезли до больницы. Зато после этого случая Вавилон признал себя побежденным и попросил у соседей перемирия. Если и вспыхивали стычки, то уж только на кулаках, причем бились одни силачи с силачами, и тут прославился Данько Соколюк, который всегда одерживал верх, кроме одного раза, когда победил его какой-то верзила из Прицкого.

Даринка еще некоторое время пригоняла в ночное своего Гнедого. Юную всадницу старшие научили курить, ругаться, приспосабливали ее ко всем превратностям пастушеского житья, не больно заботясь о том, что могут навредить девушке. А когда однажды Даринка не явилась в ночное, все пожалели, что ее больше нет, поняли, что любили ее, а те шалости, которым они учили девушку, были для них только

---

[1] Воинственное племя во времена Киевской Руси. Обитало в бассейне реки Роси *(прим. автора)*.

жалкой забавой после прежних славных баталий. Даринку вместе с Гнедым, а точнее, чтобы завладеть Гнедым, забрали в Прицкое какие-то дальние родичи. Они оказались людьми тихими и загребущими, и на следующее лето Даринка от них сбежала. Отцовской хаты она уже не застала — соседи успели растащить ее на дрова, — и только вишневый сад, как и прежде, зацветал каждую весну, не хотел дичать.

За все беды и тяготы Даринка добилась сана, которого другие гнушались,— стала главной вавилонской пастушкой, меняла подпасков, подбирая себе боевых и послушных мальчишек, и, если бы еще вернуть Гнедого, которого присвоили себе проклятые родичи, могла бы и не в шутку считать себя атаманшей. Она как будто и примирилась со своей судьбой, только хмурила вызолоченные летом брови, когда возвращалась со стадом в село, да в душе упрекала отчима, что так нелепо погиб и бился не с теми, с кем надлежало биться большому атаману. Надо было биться с теми, чьих коров и овец становится все больше и больше, словно их плодят какие-то неугомонные чудовища. Скоро овец станет так много, что они съедят и самый Вавилон, выщиплют в нем все живое до черной земли. Дивно Даринке, что овечьи отары не уменьшаются и над каждой свой колокольчик, совсем не похожий на другие. Даринка не в силах проникнуть в мир этих музыкальных созданий, которые слышат свой колокольчик, как бы тихо ни звенел, и идут за ним, как заговоренные.

Все лицо у пастушки было осыпано искорками веснушек, но даже носик не стал от этого хуже, ей эти веснушки шли; ресницы длинные, всегда опущенные, так что зеленые глаза из-под них походили на вечерние сумерки, когда вспыхивает первая звезда, придавая им синевы; стан у Даринки был гибкий, как побег, но в походке чувствовалось что-то мальчишеское, тот самый широкий шаг, который так портит девушек; был у нее и еще один изъян, верно, оттого, что курила в детстве, — грубый, хотя и довольно приятный голос; уж не оттого ли у нее и черный пушок над губой, он пока что едва проступал, но Даринка не только не смущалась, а, наоборот, гордилась им, получив его в наследство от Яси Закревской, женщины красивой и гордой. Ну, а голос — это ей

было все равно, он не доставлял ей никаких хлопот. В одних домах Даринку так и звали Даринкой, а в других, может быть, из-за ее голоса, Дариной, хотя ей было не больше, чем тем вавилонским девушкам, которых звали Марфушами, Пизями, Дызями, а то и еще ласковее. Девушек Даринка не признавала, дружила с парнями, если же доходило до драки, то билась с ними на равных, изо всех парней боялась разве что Данька Соколюка, да и то не столько его самого, сколько его черной бороды — ей казалось, что он своей бородой может кого угодно защекотать насмерть. Фабиана-философа могла слушать сколько угодно, что же до Фабиана-козла, то этого она терпела только в присутствии хозяина, без него козел представлялся ей всего лишь одним из перевоплощений человека, она восхищалась, когда он самозабвенно вел стадо, и, откровенно говоря, малость побаивалась хитрющей скотины, не раз готовая предложить: «Фабиан, а ну, обратитесь-ка опять в человека...»

Даринка носила Соколюкам передачи, однажды даже ухитрилась передать в хлебе пилочку, положенную туда одним великим спецом по побегам из тюрьмы. Рекомендовал его Петро Джура, а живет тот спец в Глинске и считает себя мастером на все руки. За пилочку Даринка отдала ему добрый кусок сала. А для самой Даринки это было чем-то вроде игры в необычайное, неведомое, она и впрямь хотела вызволить Соколюков, а когда везла их домой и сидела на сундуке, то не стыдилась Вавилона, а даже испытывала некий душевный подъем. Даринке не на кого было излить свою преданность, вот она и выплеснула всю ее на Соколюков, а у них хватило благодарности за это только на дорогу от Глинска. Когда же путь из неволи закончился, они, в особенности Данько, сразу стали другими да притом такими мелочными и ничтожными в ее глазах, что Даринка невольно подумала, стоило ли таких и выпускать на волю.

Данько, как выпряг лошадей, тотчас побежал на чердак, там на балке висело в кулечке сало, так он, аспид вавилонский, понесся смотреть, сколько сала перевела за время их отсутствия Даринка. Она этого сала и не попробовала, все относила в Глинск, а он сошел с чердака, потрепал ее по заду и говорит:

— Гляди, Лукьяша, какую славную заднюшку наела на нашем сале.

Лукьян, чем бы вступиться за Даринку, рассмеялся. Он принялся сзывать голубей, и, когда те слетелись отовсюду и стали садиться ему на руки, на плечи и даже на голову, это привело его в такой восторг, что он совсем забыл о Даринке. Словно и не замечая ее, покровитель голубей побежал осматривать баштан, разграбленный детьми Явтуха, а Данько, настороженный пропажей сала, метнулся на луг, уверенный, что одним салом тут не обошлось. На лугу еще при отце выросла маленькая вязовая рощица, и в ней Данько недосчитался нескольких самых стройных молодых вязов. Все указывало на Явтуха, который мог начать с сала и дойти до вязов, да и не могла же Даринка, в самом деле, одна перевести целый кулек сала.

Рядом на прокосе разостлано было несколько дорожек полотна — Прися выбеливала его на лугу у Соколюков, чтобы на своем в это время могла расти отава. Данько собрался уже было поскидать полотно со своего луга на соседский, но в тот же миг из конопли показалось несколько старшеньких Явтушенят. Имена им выбирались попроще — Тодось, Антось, Стась, Ивась, — так что потом сам папенька их вечно путал. Одним своим видом вынудив дядю Данька убраться прочь, сторожа полотна снова засели в коноплю и сидели там так тихо, словно и впрямь ждали вора. Тем временем их маменька наряжалась в хате, чтоб идти к Соколюкам, а папенька отсыпался под грушей. То-то спохватится, как встанет и увидит соседей на свободе, здесь.

Вязовую рощицу Явтух успел уже почти присвоить — без конфискации. Одно только хотел бы сейчас знать Данько: где сосед прячет краденые вязы? А Лукьян на баштане чуть не заплакал с отчаяния: самые большие арбузы, примеченные им еще до ареста, исчезли, а весь баштан имел такой вид, что Лукьян сразу представил себе пиратские налеты Явтушенят. Груши и яблоки были также надлежащим образом собраны, уцелели только поздние сорта, их Явтушенята оставили до осени.

На каждом шагу Соколюки натыкались на следы грабежа, совершенного если не Явтухом, то его деть-

ми, но жаловаться на это пострадавшие могли теперь разве что друг другу или троюродному дяде Паньку Кочубею, в жизни которого никаких существенных перемен за время их отсутствия не произошло. Дядя продолжал быть председателем, а заодно не забывал и про поздних боровков, надеясь заколоть их на будущий год перед пасхой.

Между тем Даринке стало невмоготу у Соколюков. Когда они еще только проезжали мимо сельсовета, на крыльцо вышел Бонифаций и приветствовал их так, словно они возвращались с мельницы. Кармелита поразило не столько то, что их отпустили — это его мало трогало, — сколько то, что им вернули сундук.

— Эй, а что у вас в сундуке? — спросил Бонифаций, не сходя с крыльца.

Вместо ответа Лукьян постучал косточками пальцев по крышке, что означало, что сундук пустой. Зато на сундуке — и он показал жестом на Даринку. Такой гордой Бонифаций ее прежде не видал.

Когда они оба вернулись в хату — один с баштана, другой с луга, — Даринки уже не было, а на лавке сидел Фабиан. Он пристыдил их за Даринку и сказал, что на их месте придержал бы эту девчонку до лучших времен, хаты она не пересидит и хлеба не переест, еще и заработок за пастьбу приносила бы в общий котел. Лукьян хотел было вернуть Даринку, но Данько остановил его:

— Погоди, братишка, ты тут вроде не один...

Явтух спал, и Прися воспользовалась этим и, прихорошась, отправилась к соседям. У двора она встретила Даринку.

— Что, уходишь от них?

— Ухожу...

— Жаль. Привыкла я к тебе... и мальчикам моим ты понравилась. Пусть бы уж, думаю, росла тут... Парни-то красавцы, что один, что другой...

— Отвыкнете, тетенька, — усмехнулась Даринка.

— Ого, какая колючая, — заметила Прися.

Задетая гордой девчонкой, Прися вернулась под грушу, постояла у телеги и, убедившись, что Явтух спит крепко (это к дождю), тихонько отодвинула

доску в заборе и, поставив ее снова на место, махнула к Соколюкам.

Фабиан подстригал Данька перед мытьем, посадив его на скамеечке у окошка. Меньшой Соколюк хлопотал у печи, грел в огромном чугуне воду для старшего. Даринка оказалась очень догадливой, наносила воды полную дежку, в воде плавал маленький лягушонок, удирая на дно всякий раз, как Лукьян черпал воду медной кружкой. Даринка наполняла дежку ночью или на зорьке, вот и принесла ненароком этого колодезного лягушонка. Вообще Даринка старательно вела домашнее хозяйство, все перемыла, перестирала, рушники на образах как новенькие, всюду, где только можно, натыкала полевых цветов, обмазала земляной пол подзолоченной глиной, припечек и дымоход побелила — в хате долго еще будет пахнуть Даринкой, ее духом девичьим.

Уже стояло наготове гигантское вербовое корыто, в котором когда-то умещались оба Соколюка разом. В этом корыте парилось несколько поколений, в том числе и первые Явтушенята. У Явтуха не сразу появилось свое корыто, вот Прися и привыкла к этому, с жестяной заплаткой на днище. Ничто не может сравниться с вербовым корытом, если его как следует распарить. Купель пахнет вербой — дети растут на глазах. Бывают еще липовые, вязовые, кленовые корыта, но те оживают медленно, до вербового им далеко.

Прися пришла так непринужденно, как когда-то приходила за корытом или за солью, заметила, что корыто пересохло, и уселась на лавку, выставив напоказ свои красивые загорелые ноги в постоликах. Данько, укутанный полотенцем, покосился на них, усмехнулся. Фабиан сбился с такта стрижки, а Лукьяша кинул в печь пучок соломы, не скрутив жгутом, и комнату заволокло дымом.

— Помоги-ка ему, Прися, — обратился к ней Данько, и этого было довольно, чтобы гостья вскочила.

— Спровадили такую славную девку, а теперь и выкупать вас некому, — сказала она, становясь к печи. — Ха-ха-ха! Какие же вы без нас беспомощные! Завели бы себе хоть одну жену на двоих! Ха-ха-ха-ха!

Смеялась печь, смеялась и Прися, а Данько так гоготал, что Фабиану пришлось дать ему по затылку, чтоб сидел тихо, не шевелясь.

— А мой Явтушок купается в пруду, он не такой барин, как вы... — зачем-то сказала Прися, хотя хорошо знала, что Явтушок не купается в пруду, боится конского волоса[1]...

— Когда-нибудь твой Явтух за них еще в смоле выкупается, — заметил Фабиан, приводя в порядок бороду Данька.

Прися промолчала, быстренько согрела два чугуна, поставила третий. Корыто распарилось, запахло вербой, в углу от пара заплакал Никола-чудотворец. Лукьяша побежал по воду — уже для себя. Явтух отсыпался в телеге, Явтушенята катались на разостланных полотнах. Лукьяша зачерпнул воды и понес на коромысле вверх. Явтух перевернулся на другой бок, лицом к Соколюкам.

Лукьяна Фабиан подстригал во дворе, на колоде, где рубили дрова, а в хате Прися купала Данька в корыте. Терла ему овсяным жгутом спину, потом голову. Заметила, что Явтушок донес на них не со зла, только от одной ревности, потом мучился, а она, Прися, совсем затосковала по ним, хоть и нет у ней никакой корысти, как у Мальвы или еще у кого... Соседям надо жить в мире, в ладу, ведь они ж почти что одна семья. Ее россказни о сыроваре Данько встретил легоньким смешком. Для Мальвы это один миг, пока есть на свете он, Данько...

Он вышел из хаты разомлевший, чистый, как цыган в праздник, улыбаясь, сказал Лукьяну:

— Иди, братишка, выкупайся, да отпразднуем как-нибудь свое омовение...

Обмывки слиты в ведерко, а корыто уже чистое, вымытое, снова парится. Прися над ним прекрасна. Лукьяша стыдится раздеваться при ней. Сыпанула какого-то зелья, спросила:

— Не видал, Явтушок мой еще спит?

— Спит.

— Так купайся скорей...

---

[1] Так крестьяне называют возбудителя болезни, которая переходит к людям через воду, где купают лошадей *(прим. автора)*.

Тот грубый, похотливый, а он, Лукьяша, нежный, как юноша.

— Жениться вам пора, — сказала она ему, — а то так и увянете вечными бобылями. Вон мои мальчишки вас догоняют...

Данько украдкой постучал в окно, это было предупреждение: под грушей проснулся Явтушок.

Явтух посмотрел на солнце, оно уже стояло над ветряками, вроде переспал; ему захотелось сорвать злость на жене, позвал ее. Потом вспомнил, что Прися собиралась белить полотно на лугу, быстро запряг коней, положил на подводу вилы-двойчатки для снопов и побежал отворять ворота.

Что за напасть? Старший Соколюк сидел на завалинке с философом, а младший как раз вышел из хаты и поклонился оторопевшему соседу.

Тот раскланялся растерянно и удивленно, словно еще сквозь сон, а когда увидел кованый сундук на телеге, у него и вовсе потемнело в глазах, он и представить себе не мог, что сундук пустой. Когда речь к нему вернулась, бросил:

— Эй, черти! С возвращением вас, в добрый час будь сказано. Только что вы мне снились... Тьфу на вас, добра бы вам не было!

Между тем показалась Прися, она шла с луга, и то было для Фабиана единственное из всех известных ему кругосветных путешествий, которого он не мог постичь до конца своих дней. Он же наверняка знал, что она не выходила из хаты в дверь. Это так заинтриговало Фабиана, что он встал и пошел в хату, чтобы хоть объяснить себе этот факт.

Козел спал в сенях, кровать под окном была величественно убрана целой горой подушек, сложенных, как всегда, пирамидкой,—никаких признаков поспешного бегства. Пораженный философ шагнул ко все еще потному Николе-чудотворцу и осенил себя крестом, хотя до сей поры никогда не заискивал перед богами, почти отошел от веры. Когда он вышел, Прися уже сидела на подводе, повязанная белым платочком, свежая, чистая, неизменчивая. Через час-другой они будут возвращаться с поля на высоченном возу со снопами, прижатыми вязовым рубелем, срубленным на чужой леваде. Явтух будет гордо

взирать с этой хлебной выси на грешную землю, а Прися любит полежать на снопах, глядя в вечернее небо, уставшее за день. Если же через девять с половиной месяцев (мальчишек ведь, как правило, перенашивают) родится мальчик, Прися напомнит Явтушку, как это произошло: когда свозили хлеб из-под Чупринок, прямо в поле, на возу, под вечер, разве он не помнит, как поднял ее к себе на вожжах и как потом внизу догадливо фыркали лошади. «Это в тот день, когда мы дважды опрокинулись со снопами», — после некоторых колебаний улыбнется Явтушок, и поверит ей, и будет любить младшенького не больше и не меньше, чем остальных, а если бог даст девочку, то и вовсе будет счастлив и назовет ее Мальвой, чтобы это славное имя не переводилось в Вавилоне. Здесь мало верили в то, что Явтушок сам смог наделать столько мальчиков, но Вавилон с уважением относился к таким приобретениям, зная, что мальчики пригодятся на будущее, что же до девочек, то, если их не хватало, вавилоняне восполняли дефицит в соседних селах.

Соколюки пышно отпраздновали свое возвращение из Глинска. На гульбище были оба брата и оба Фабиана, допоздна пели песни, били в тулумбас, которым служила заслонка от печи, верно, выманивали, аспиды, Присю из хаты, но Явтух придержал ее, не дал ступить со двора ни шагу. Козел уморился от этой оргии раньше всех, подбивал философа отправиться восвояси, но тут кому-то, кажется Лукьяну, пришла в голову гениальная мысль: запереть козла до утра в сундук, чтобы не болтался под ногами. Все трое схватили его — козел не отбивался, знал, что бесполезно,— и понесли к телеге. Отперли сундук и бросили козла на полушубки, которые Даринка принесла в Глинск на случай, если бы Соколюков стали отсылать дальше. О лучшей постели козел не мог и мечтать и, как только крышка захлопнулась, разлегся на полушубках и погрузился в сладкий сон без малейшей тревоги за свою судьбу. Если уж Соколюки вырвались из тюрьмы, то он и подавно из этого сундука выберется. К тому же в крышке были щелки, и козлу не только хватало свежего воздуха, но даже был виден клочок звездного неба.

Дальнейшие события развивались надлежащим образом: забыв о козле, Фабиан один потащился на Татарские валы. Это было рискованно, потому что в таких случаях его приводил домой козел, хозяин при этом держался за его левый рог, на котором все более четко проступали кольца козлиного долголетия, и с таким поводырем мог дойти куда угодно. Где-то на полдороге он было вспомнил о козле, но никак не мог сообразить, куда тот запропастился. Лишенный товарищеской поддержки, философ прилег отдохнуть на травке посреди горы и беспечно уснул там. Соколюки тоже умаялись — один очутился на лавке, другой нырнул в подушки.

Явтух на этот раз пересилил Присю, и когда в ее высокой груди, которую он ценил превыше всего, задышал сон, он тихонько встал, оделся, перекрестился на образа, светившие в темноте мертвыми глазами, а через минуту уже отодвинул доску в заборе (у каждого из них был свой потайной лаз к соседям; у Приси для займов, у Явтуха — для борьбы) и не без известного риска пробрался во двор Соколюков.

Сундук стоял на телеге, и Явтух не поверил своим глазам,— по всем предположениям, Соколюки должны были прибрать его и, ясное дело, не прибрали только потому, что на радостях забыли. Булава Конецпольского засияла ему всеми рубинами, а помимо того он надеялся найти в сундуке еще кое-что, к примеру, ему нисколько не повредил бы меч, в особенности теперь, когда он снова оказался нос к носу с соседями. Подобравшись к телеге, Явтух долго просидел под нею на корточках. Прибежала Мушка, полизала ему руку, и ни с одной особой женского пола он еще не шептался так ласково:

— Мушка, Мушенька, это я, ты что, не узнала?

Улестив суку, Явтух мог действовать решительнее. Он влез на телегу, повозился там еще некоторое время, а потом осторожно поднял крышку. Из сундука шибануло в ноздри чертячим духом, а вместо гетманской булавы, которая мерещилась Явтуху, на него глянуло живое обличье, потом из тьмы вынырнули холодные рожки и хвост, который уже, верно, дорисовало его воображение.

— Черт! — заорал Явтух и свалился с телеги на землю.

От этого крика, а может быть, и от сотрясения проснулся спавший на лавке, отворил окно и, увидев неизвестного у телеги, закричал:

— Лукьяша, Лукьяша, нас грабят!

Пока выскочили из хаты, перед ними был уже только козел, который сладко потягивался в сундуке.

— Как он там очутился? — удивился Данько, а Лукьян только руками развел.

— Вообще начинает твориться что-то невероятное, оказывается, их было двое, один ни за что не смог бы запихнуть козла в сундук.

Сняли сундук, вытряхнули из него козла, и тот поплелся домой. На горе он наткнулся на своего хозяина, постоял над ним в совершенном отчаянии, а потом разбудил и повел домой одному ему известным способом.

Явтух добрался до хаты еле живой и, когда Прися спросила, что с ним, сказал:

— Тс-с-с! Я только что видел живого черта. Совсем как человек — бородка, глаза, уши и громадные крученые рога. Жуть!

Прися переспросила:

— А это, часом, не Фабианов козел?

— Что же, я не отличил бы козла от черта?

Прися задумалась: неужели когда-нибудь свет оскудеет и пойдут в нем плодиться одни Явтушки, а такие, как Соколюки, вымрут? Она и теперь думала о них обоих сразу, а самой приходилось утешать своего родного Явтуха, который все еще дрожал у нее под боком от встречи с чертом. Когда же наконец он захрапел, тоненько, словно ему вставили свисток в горло, Прися потихоньку слезла с кровати, ветхость которой давно уже требовала вмешательства Фабиана, но Явтух все откладывал ремонт до лучших времен, уселась на лавке у окошка, выходившего на хату Соколюков; и отчего-то любо было ей смотреть, как мерцает в неверном свете полной луны старинный двор с овином, телегой и тем самым сундуком, в котором ее муж наткнулся на черта. Теперь сундук

был опрокинут. Один из Соколюков прилег досыпать во дворе на полушубках, вытряхнутых из сундука вместе с козлом.

Прися уже готова была вернуться к Явтуху, как вдруг увидела двух всадников, . ехавших по дороге вдоль села. Явтушок спит в телеге, так что видит их уже которую ночь, а Прися увидала впервые — всякий раз, когда они проезжали мимо хаты, она запаздывала к окну.

Услыхав топот лошадей, Данько в одном белье поднялся с полушубка, бросился к воротам, но лошади отпрянули от белого великана и понесли по улочке вниз, мимо самой хаты Явтуха. В хлеву заржали и лошади Явтуха, а уж они никогда не ржут без причины. Через минуту и Явтух был уже на ногах.

Данько бросился было за всадниками на улицу, в которой они скрылись, но там Явтух у ворот. Он не узнал Данька в белом, а, уже и без того перепуганный, перекрестился сгоряча, но вдруг, присев за воротами, злорадно засмеялся. Должно быть, он смеялся над чем-то очень уж святым, потому что Данько остановился в отчаянии, а потом повалил на своего насмешника ворота, которые держались только на конопляных свяслах, и зашагал на свои полушубки.

— А добра бы тебе не было! — выругался Явтух и, выбравшись из-под досок, принялся ставить ворота на место.

Теперь засмеялся Данько на полушубках, разглядывая небо над Вавилоном. Узнал там предрассветные созвездия, которые не раз наблюдал с Абиссинских бугров. Но не лежалось ему на полушубках. Надел льняную рубашку, обулся в новые сапоги со скрипом, накинул на плечи полушубок — так он когда-то одевался, отправляясь к Мальве на качели. Лукьяша спал тихо, несуетливо, как ребенок, белый вихор прилип к белой подушке, Данько не стал его будить, надеясь вскоре вернуться.

Явтух все еще ныл возле ворот, искал способа отомстить Даньку за то, что так бесцеремонно, грубо повалил их. Так братья могут когда-нибудь прийти и

опрокинуть воз вместе с ним, Явтухом, повалить хату, а там и всю его жизнь. Скрип новых сапог Данька ударил его по нервам.

«Надо защищаться от них, пока не поздно».

Он пошел в хату, вынул кирпич из поддувала и достал из тайничка обрез, завернутый в тряпочку. Жена не обратила на это внимания, она кормила самого младшего, полуторагодовалого Яська, которого не отлучала от груди дольше, чем остальных. Воз со снопами ночевал во дворе, и Прися решила, что Явтух пошел его разгружать. И все же какая-то подсознательная тревога охватила ее. Прися знала про поддувало, стремительно метнулась туда и, вынув кирпич, с ужасом подумала о муже, чья мстительность была ей известна. Иметь дело с вооруженным Явтушком она побоялась и не побежала, не стала его останавливать. В хилом тельце ее мужа живет злобный и непокорный дух. Неужели узнал, что она их сегодня купала? Так ведь это для того, чтобы помирить их с Явтухом. Один господь бог мог бы проследить сейчас ход мысли этой женщины.

Вавилонская гора еще спала в синем мареве, когда Данько поднялся на нее. Нагромождение белых хаток, которые ночью сходились пошептаться и еще не успели разбежаться врозь, лепились одна к другой — крыша над крышей, конек над коньком, — производило впечатление чего-то большого и единого. В древности на этих горах жили тавры, потом завладели солнцепеком татары и турки, затем с поляками пришли евреи, которым эти горы, наверное, напоминали их родину, но со временем все это выветрилось, смешалось, породнилось с буйной казацкой кровью, чтобы через века из этой смеси народов и страстей явилось чудо красоты — Мальва Кожушная, и вот уже который годок реет она над вавилонским миром, беззаботно будоража души множества мужчин. Великовозрастный Данько сегодня несся к ней, как последний мальчишка, лез на Вавилонскую гору, словно полоумный, хоть и не имел на Мальву ни церковных, ни гражданских прав и пришел не каким-то там гордым Даньком, а самым что ни на есть скромным просителем.

На качелях он их не застал, хотя, пока взбирался на гору, был уверен, что они там. Лошадей их тоже не было во дворе, хата стояла задумчивая, с двором, утоптанным ногами многих поколений, с тенями деревьев на синевато-белых стенах и казалась словно бы неравнодушной к переживаниям Данька. Он подошел к оконцу с тем неясным предчувствием, с каким конокрады ходят на выводку, на всякий случай постучал, полагая, что никто не отзовется. За окном появилась спокойная, невозмутимая Мальва, отворила раму, и на Данька пахнуло знакомым теплом. Он протянул руку, чтобы привлечь Мальву, но та отшатнулась, мелкие бусы в несколько ниток, когда-то купленные для нее Даньком в Глинске, разбежались по шее, косы рассыпались.

— Это правда?

— Правда, Данько...

Нитка красных бус разлетелась, бусинки стекли на лопухи под окном, потом окно закрылось и Данько еще долго стоял, окаменевший, беспомощный перед женской изменой, зажав в горсти горячие зернышки своей любви. Стоял в белом расшитом полушубке, тепло которого Мальва должна бы помнить... Стоял, вымытый для нее в вербовом корыте, пахнущий ромашкой, которой Прися насыпала в воду, когда мыла ему голову, еще и пошутив, что делает это для Мальвы...

Потом швырнул в стекло горсть бусинок и зачем-то побрел к качелям, на которых вылетал свою любовь.

Он чуть покачивался, отталкиваясь одной ногой от утоптанной дорожки. Ждал, что Мальва еще выйдет к нему, и кто знает, сколько бы еще так качался в беспамятстве, если бы в сарае не заржал конь. У Данька тенькнуло в сердце, он помнил, как ржет конь Андриана, потому что разбирался в таких вещах до малейших тонкостей, но этот голос, кажется, слышал впервые.

В сарае густо пахло тьмою, сонными курами и сеном, которым был набит чердак. Коммунский конь стоял нерасседланный, не ел, нервно моргал глазами, должно быть, чуя беду, в то время как конь Андриана

спокойно шарил в кормушке, весь поглощенный поисками свежего сена в объедках.

Данько не терпел малейшей небрежности в уходе за лошадьми, он забросил в кормушку сена, отпустил подпругу на коммунском коне — то был верховой жеребец Клима Синицы, сыровар, верно, все же ухитрялся тайком брать его для своих прогулок. И тут в Даньке сразу отозвалось привычное — лучшего случая для нового приключения не найти, жеребец еще до утра мог бы оказаться бог знает где... не будь он собственностью самой коммуны, а там Клим Синица...

Данько вышел из душного сарая и снова подобрался к оконцу, но уже с другим представлением о тишине в хате. Он постучал снова, теперь уж весьма настойчиво, словно бы говоря всем своим видом: «Где вы там, мерзкие душонки, а ну, выходите-ка оба!» Доблести ему придавало то, что он не поддался конокрадскому искушению и как-никак, а пришел сюда, одержав победу над собой.

На этот его угрожающий стук в окне появился гордый и, как показалось Даньку, довольно красивый парень в белой рубашке с растрепанными волосами, молча смерил взглядом непрошеного гостя и, улыбнувшись, проговорил:

— Они спят, и я советую вам больше их не тревожить...

Это наивное «они» рассмешило Данька, он поправил полушубок на плечах. Конечно, это тот, кого Данько впервые увидел из окошка глинской тюрьмы. Данько узнал его по вихрам, по красиво посаженной голове.

— А ты их разбуди! — насмешливо велел он.

— Сейчас, — ответил сыровар.

Он метнулся от оконца, а через минуту с шумом открылась сенная дверь и тот же парнишка вылетел из нее с клинком, занесенным для атаки. Он лихо размахивал шашкой, хоть и был как будто босиком.

«Зарубит», — подумал Данько и с места пустился наутек. Недалеко — на качели.

Но через минуту это место уже казалось ему ненадежным — шашка приближалась, делая боевые

круги, словно владелец ее мчался на лошади. Даньку невольно вспомнилась атака австрийской конницы на Западном фронте, он тогда чуть не погиб, но под усатым австрийским драгуном, преследовавшим Данька, споткнулся конь. А от этого безумца, ослепленного любовью, у него не было другого спасения, кроме бегства. Данько, не раздумывая, кинулся с качелей под обрыв, в густые заросли деревея и терновника.

Сыровару стоило немалых усилий удержаться на краю кручи и не сверзиться следом за соперником, хотя он и не намеревался сносить тому голову. Парнишка рассмеялся, видя, как белый кожушок, отделившись от плеч беглеца, повис на ветвях. А Данько шлепнулся на колючки и еще на что-то живое и отвратительно теплое...

А это Явтушок сидел в засаде, ожидая, когда Данько выйдет с Мальвой на качели, тут-то в самый раз и пальнуть по нему, чтоб он свалился с наивысшей точки. То есть это он шел сюда с таким намерением, а тут уже усомнился, стоит ли убивать Данька, и сознательно дал себе расслабнуть и задремать под абрикосом. Задремав, он и вовсе заколебался, тратить ли на Данька единственный патрон, оставшийся в хозяйстве, или придержать пулю до горшей беды. Сладкий поток мыслей все более согревал Явтушка и оставлял все меньше места для смерти супостата...

Как вдруг нечто невероятно тяжелое и неуклюжее свалилось на него и придавило его с такой силой, что Явтушок даже не успел вскрикнуть, а лишь подсознательно нажал спуск и выстрелил в небо, не столько защищаясь, сколько взывая этим выстрелом о помощи. Сперва он не сомневался, что это сам черт свалился на него, а тут еще повис на абрикосе дьявольский полушубок. Он уже решил, что это конец, но черт заорал так отчаянно, что Явтушку не оставалось ничего другого, как собраться с духом и попробовать выкарабкаться из-под мохнатого страшилища, которое, конечно же, оказалось не кем иным, как Данько Соколюком. Спасения вроде бы и не было, но Явтушок остался верным себе, его практический ум сработал с такой прозорливостью, какой от кого-нибудь другого в таких обстоятельствах нечего и ждать. При-

кинувшись, что он не узнал Данька, Явтушок заорал не своим голосом:

— Банда!.. Деникинцы!.. Спасите! — выскользнул из-под своего душителя и, вскочив на ноги, с таким проворством пустился бежать в заросли, что преследовать его не то что Даньку, а и настоящему черту было бы безнадежно. Когда человек вот так нелепо остается без единственного патрона в сонмище врагов, вся его сила уходит в ноги. Данько же попробовал было подняться, да ноги его не слушались и он остался лежать под абрикосом. Он никак не мог сообразить, почему полушубок оказался на самой макушке деревца, ведь он хорошо помнил, что падал в полушубке. Лицо у него горело не то от колючек, не то обожженное выстрелом Явтушка. Перед глазами все еще стоял огненный сноп. Но если уже и сама живучесть Явтушка показалась Даньку поразительной, то окончательно подавляло его то, что отныне им с братом придется иметь дело с вооруженным соседом.

Дымок от выстрела поднялся над обрывом и в поисках выхода повис над Даньком. Облачко это чем-то походило на раздавленного Явтушка: руки, ноги, голова на коротенькой шейке, даже штаны его, такие же обтрепанные. Виденье все больше походило на Явтушка, и у Соколюка было такое чувство, что вот сейчас этот негодяй оживет и рассмеется над своим поверженным врагом, но этого Данько уже не мог ему позволить. Набрав полную грудь воздуха, он дунул на облачко, оно поколебалось мгновение и поплыло прочь, исказив Явтушка до неузнаваемости.

А те, наверху, подстегнутые выстрелом, потихоньку вывели лошадей из хлева, повскакали на них и вылетели на улочку, да так стремительно, что Явтушок едва успел отступить в кусты. Коммунский жеребец захрапел, почуяв рядом недобрый дух, и во всю мочь помчал всадника под гору, а Мальвин конек отстал, и Мальва, воспользовавшись этим, крикнула в заросли, уверенная, что там притаился Соколюк:

— Не дури, Данько!.. Вылезай!

Вслед послышался мстительный смешок какого-то тщедушного мужичонки.

«Господи, во что превратился Данько!» — подумала Мальва и, припав к гриве, полетела по улочке за спутником.

Затем мимо Явтушка проковылял Данько, и Явтушок едва удержался, чтобы не сказать: «Доброе утро, сосед!» Ведь как бы там ни было, а бой-то выигран, хоть и дорогой ценой — не осталось в хозяйстве ни одного патрона. Он вышел из зарослей и, вдохновленный только что одержанной победой, безо всякого страха пошел за поднимавшимся в гору Даньком.

Он уже окончательно убедился, что не имел намерения убивать Соколюка, и даже проникся сочувствием к парню, потому что ему, как никому другому, ясно было, что творилось сейчас в душе соседа. Обманутые всегда на стороне обманутых. Только возле поваленных ворот ненависть к Соколюкам вспыхнула в нем с новой силой, и ведь подумать — этих вражин как было двое все эти годы, так и осталось. Лукьян стоял на крыльце, поджидал брата, которого мог бы и не дожидаться, не выстрели Явтушок с перепугу, а целься он как следует в своих врагов, когда те падают на него с вавилонского неба...

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Мальва провожала коммунара до ветряков, там они, не сходя с лошадей, попрощались; и мельничный сторож Тихон Пелехатый, у которого уже все позади, подумал, наблюдая за ними из своего верхнего окошка: им вот мало ночи, а у него, Тихона Пелехатого, каждая безветренная ночь — как вечность. Ветряки чуть-чуть поскрипывают на привязи, и оттого время почти не движется.

Другое дело, как налетит ветерок — молдаванин или турок с горячего юга, или жилистый низовик от Глинска, или еще откуда-нибудь — и на горе разом припустят все четыре ветряка да набегут из Вавилона и окрестных сел помолки — веселые, живые, задорные, готовые иной раз и подмигнуть мельнику, лишь бы смолоть без оплаты, — тогда и время течет незамет-

но, и сам приобретаешь вес на ветру, хотя ты всего-навсего сторож чужих мельниц.

Хо-хо, какого соловьеныша сманила Мальва из дворца Родзинских! Помольцы толкуют в один голос, что он комсомолец и что неспроста повадился в Вавилон, а как они с Мальвой поженятся, то и вовсе останется здесь, хочет основать в Вавилоне свою коммуну.

Откроет сыроварную и, верно, конфискует эти ветряки — власть над Вавилоном у того, у кого власть над ветрами. Так-то, парень! Ну, однако, не хвались тем, чего еще нет. Мельничный сторож уже бессчетно лет разглядывает Вавилон с этой горы и что-то не заметил там большого стремления к коммуне. Бывает, даже бедолага, которому давно бы уже место в коммуне,

взбирается сюда с одолженным зерном на спине, а сам все не оставляет надежды выстроить тут когда-нибудь собственный ветряк. И никак не меньше! О богачах и говорить нечего. Вавилон весь исполнен дикой неистовой силы, все бросились богатеть, плодиться, окореняться и враждовать, разделенная земля разбрасала людей, узвлекла из них то отвратительное, что было спрятано на самом дне души, и это чувствуется здесь, на ветряках, владельцы которых уже давно и ветер поделили бы меж собою, только бы знать, как. Вавилон, едва зачуяв новые поля, не прочь бы начать и новую межевую книгу, намного страшнее той, которую мысленно листает сторож чужих ветряков.

Сегодня Мальва держалась с парнем непринужденно, называла его на «ты», чего прежде не было, и выскочила сюда совсем по-домашнему — босиком, без косынки и без подушечки, заменявшей ей седло. Заложив ногу на ногу — пожалуй, не каждому казаку впору так ловко держаться на лошади, уж не на качелях ли наловчилась?—повезла она от ветряков, может, лучший из своих рассветов. Колени у нее были такие, что могла завлечь ими кого угодно, а не то что этого птенца с шашкой. Ей мельники охотно мололи без оплаты. Впрочем, ночной сторож ни разу не ловил Мальву на том, что позволяли себе иные помолки-ветрогонки, которые на людях вроде бы берегли честь, однако легко давали себя увести в полынную ночную степь от мельничного многолюдья.

Жилья своего у сторожа в Вавилоне не было, только зимой он останавливался там у бабки Отченашки. Владельцы ветряков, заинтересованные, чтобы он жил тут постоянно, платили ему помесячно и независимо от того, есть ветер или нет. Платили и мукой, и зерном из помольного, кроме того, сторож кое-что выгадывал себе и на мучных обметках после помола. А Отченашка не давала залеживаться его заработкам. Ноги у нее еще крепкие, ну и переправляла все это в Глинск, а на ветряки приносила спички, табак, соль, крупу на кашу и свежие рубахи. Случалось, и ночевала там. Старик всю ночь курил трубку, а старуха не выносила табака, так что спали они в разных мельницах. Он у Бубелы — тот ветряк каменный, не сгорит, а она — в

новеньком ветряке братьев Раденьких, где еще пахло смолой от свежих досок.

В полыни подымался ветерок, уже заныл ветряк Раденьких, самый чуткий из всех, и старик сошел вниз, проверил все хозяйство, поправил растяжки, потом развел огонь, налил из дежки воды в чугунок и собрался уже было варить кашу, но выстрелы в деникинском рву оторвали его от этого привычного занятия и заставили снова подняться на чердак главного ветряка. Он припал к слуховому окошку, и все предстало перед ним, как на ладони: ров, дорога вдоль него, ничейная степь, лилово пылающая цветом бурьяна, а за нею сквозь марево — шпили белого дворца коммуны.

Рвом в сторону ничейной степи бежали «деникинцы», их было трое, не то четверо. Да, четверо, один, высокий, неуклюжий, никак не мог спрятаться во рву, споткнулся обо что-то, упал, а потом, наклонясь, побежал последним. Тихон невольно отшатнулся от оконца, узнав в одном из «деникинцев» Киндрата Бубелу. В бурьяне стояли их стреноженные лошади, вот они и бежали туда один за другим. Все разом вскочили на лошадей, а конь Бубелы — вороной с белой звездочкой — потерял путы и теперь не давался хозяину. Бубела в ярости то крался к коню кошкой, то внезапно налетал на него в один-два прыжка, а когда и это не помогало, звал его, просил, складывал перед ним руки, как перед богом, пока не умолил наконец.

...Пелехатый бежал ко рву прямиком через межи и поля, по стежке, оставленной на росе коммунарским конем, через ничейную степь, заросшую ежевикой и затянутую паутиной, — Вавилону все не хватало силенки распахать ее и засеять. Сыровар еще жил, на дороге сверкала его обнаженная шашка, по скуле сбегала слеза, и гордый чуб купался в пылище...

— Это я, я, я! Ты что, не узнаешь?.. — взмолился мельничный сторож, когда юноша, приняв и его за бандита, отклонил помощь. Потом вложил шашку в ножны, взвалил парня на плечо и понес на звон рельсы, которой Клим Синица обычно будил коммуну, а на этот раз, может, просто бил в набат...

Коммунары собрались во дворе, быстро снарядили телегу и заторопились с раненым в Глинск. Уже на

выезде он поискал глазами кого-то в толпе и, узнав сторожа с обвисшими длиннющими руками, задержался на нем умиротворенным взглядом.

А мельничный сторож, которого грызли дурные думы насчет хозяина, поплелся к ветрякам. Там его ждала Отченашка. Кончился месяц, и она пришла за его заработком, а заодно принесла старику свежую рубаху и все необходимые припасы, как всегда.

Собака-ищейка, которой дождались из Глинска не так скоро, как того хотелось бы, сразу же подтвердила намеки мельничного сторожа, взяла след, ведущий в ничейную степь, которая пустовала уже несколько лет, со времени последнего землеустройства. Степь заросла непролазным лесом репейника и ежевики. Высоко на стебли бурьяна взбирался переступень. Там водились гадюки, шмели, жгучие оводы и время от времени воскресали «деникинцы». Было той пустоши гектаров двести, а то и все триста, и никто не мог сказать, зачем так много земли лежит без пользы. За все эти годы от нее прирезали по клочку только Явтуху Голому и еще нескольким семьям, где стало много детей. А когда коммуна попробовала было забрать пустошь, Вавилон запротестовал на том основании, что это исконно вавилонская земля. Соснин (это было еще при нем) отступил, а Синица считал, что для коммуны эта степь — только обуза, коммуне тяжко и без нее.

В этой адской чащобе пес скоро сбился со следа, зачихал, похоже было на то, что преступники посыпали след табачной крошкой. Но в спешке они потеряли свеженькие, чуть ли не впервые использованные веревочные путы.

Македонский весьма обрадовался этой находке и перенес поиски в Вавилон, надеясь выявить там хозяина пут иным способом. Он вызвал в сельсовет наиболее вероятных недругов коммуны и под хитрый смешок Савки Чибиса, который собирал этих негодяев как исполнитель, спрашивал, показывая на путы: «Ваши?» Это был просчет, никто из вызванных не признал пут, кроме козла Фабиана, завер-

нувшего в сельсовет без вызова. Он с любопытством обнюхал путы и дважды чихнул, что красноречиво свидетельствовало об оставшихся на путах следах табачной крошки, которой пользовались преступники против ученого пса. Отметим, между прочим, что путы понравились еще Явтушку, он один оценил вещь хозяйским глазом и охотно объявил бы ее своей, если бы не опасался тяжелых последствий такого шага. Он потрогал веревки концами пальцев и, тяжело вздохнув, сказал: «Нет Не мои...» Он только догадывался, кому из вавилонян могли принадлежать такие добротные изделия глинской канатной...

На этих первых допросах козел Фабиан подружился с ученым псом, поскольку и в себе обнаружил недюжинный талант искателя, к примеру, он легко разыскивал по следу своего хозяина, когда тот отправлялся в странствия по Вавилону один, забыв о друге.

Отец и сын, исполу содержавшие глинскую канатную, не отрекались от своего изделия, но у них на каждой ярмарке бывало так много клиентов, что назвать всех поименно они не смогли.

Между тем они хорошо запомнили белобрового вавилонянина, который не далее как на позапрошлой ярмарке приобрел у них большую партию товара — постромок, вожжей и несколько пут, как раз того сорта, каким интересовался Македонский. Но кто же станет топить столь выгодного клиента в такие тяжелые времена для канатной, которую до сих пор не прикрыли только потому, что на ней не выявлено никаких признаков наемного труда, если не считать, что отец эксплуатирует сына. Но это ж дело семейное. Македонский пригрозил, что вынужден будет закрыть их предприятие, если они не назовут загадочного клиента. Но это на них нисколько не подействовало. Да, пожалуй, и сам Македонский понимал, в каком хаосе окажется здешний мир, надумай кто-нибудь закрыть эту последнюю глинскую канатную...

А на следующую ночь вавилонские богатеи пришли во двор к Зингерам. Полетали на качелях, а потом осторожно, сбившись в кучку, подобрались к окну.

Безо всякого оружия, да и вообще вроде бы не тая никакого зла. Постучали раз, другой. Старая Зингериха вышла из темноты, припала к стеклу. Киндрата Бубелу она узнала по белым бровям; за ним стоял Павлюк с тремя сыновьями. В молодые годы, когда ее Орфей, как агент фирмы «Зингер», отправился в свои дальние странствия по свету, Павлюк, тогда еще парень, «положил на нее глаз», но был осмеян; а это Скоромные жмутся сбоку, словно сами не свои; за ними еще кто-то,старуха не разглядела во тьме. Бубела, узнав ее, показал рукой на дверь. Она пошла, открыла. Стояла перед ним в полотняной сорочке из грубой ткани, в белой кисейной намитке, скрестив руки на вялой груди. Павлюк сплюнул тихонько — где та красавица, которую он знал когда-то?.. А она только теперь приметила обоих Раденьких — Хому и Федота,— а за ними крался Явтушок, которому она доводилась крестной матерью.

— Чего тебе, Явтух? — спросила она у крестника. — Добрые люди спят уже.

— Мне?.. — смутился Явтушок, прячась за Раденьких. — Мне ничего. Я так, с ними вот... — крестник кивнул на остальных.

— Разбудите Мальву. У нас к ней дело...— сказал Бубела, отирая ладонью взмокшую бровь.

— Нет ее. Еще днем умчалась в Глинск. Вы же слышали, что случилось... Такого молодца свалили. А за что, добра бы им не было?..

— А то вы не знаете, за что! — под бровями у Бубелы вспыхнули огоньки.

— А за что же, Киндрат? Может, я старая да глупая...

— За Мальву дерутся, а у нас чубы трещат, — намекнул Бубела.— Вот мы и пришли сказать... От всего Вавилона... Ее и правда нету?

— Говорю же, полетела верхом. Днем еще. А вот уже и первые петухи пропели. Должна бы уж быть. Она у меня с тех пор, как умер Андриан, никогда нигде не ночует. Только дома. Боится покойника... Приходите, люди добрые, днем...

Старуха заперла дверь, поплелась в горницу. А они все стояли сами не свои. Пуще других смутился крестник. Пришли требовать от Мальвы, чтобы убиралась из Вавилона хоть в коммуну, хоть еще куда, пока не

поздно, пока не накликала на Вавилон новую беду. А то ведь за одним коммунаром сюда повадятся другие, а Вавилон пышет ненавистью к коммуне, боится самого духа ее, ну и станет обороняться, а вина может пасть на безвинных людей, вот хоть бы и на этих, что пришли сюда от всего Вавилона, прихватив с собой и Явтушка. На всякий случай заглянули в хлев. Кто-то зажег спичку. Убедились, что стойло пустует, коня нет. Пока спичка горела, Явтушок приметил на столбе для сбруи кованую уздечку с медными бляшками и положил за пазуху. Она там предательски позвякивала, так что он потом сам удивлялся, как мог опуститься до такого позора в благородной компании, попасть в которую стремился давно, однако всегда чувствуя себя там не на своем месте.

От ворот разбрелись кто куда по-двое, по-трое, а Явтушку пришлось идти одному в свою страшную улочку, заросшую деревеем. Чертополох там жил еще с незапамятных времен, и, когда зацветал, вся улочка пахла медом, но сейчас этот старожил показался Явтушку Даньком Соколюком в дубленке нараспашку. Отступать он не мог — что подумали бы о нем вавилонские «боги»? Пошел прямо на Данька, а это чертополох. Сплюнул и дальше решил не давать разыгрываться страху в животе, страх-то ведь там таится, только выходит из другого места.

Когда он уже прошел половину улочки, чужая уздечка настырнее зазвенела за пазухой, и не успел он оглянуться, как страх в животе одолел его и заставил припуститься бегом — это один Явтушок убегал от другого, верно, от того, который в эту ночь так неосторожно связался с «деникинцами»...

К утру Вавилон облетела новость... В главном ветряке повесился Тихон Пелехатый. Ночь выдалась без ветра, помола не было, ему никто не мешал. Когда Фабиан пришел туда, чтобы снять мерку для гроба, старик, уже вынутый из петли, лежал внизу, под дерюжкой. Горели свечи, и Отченашка шептала над ним свои молитвы. Снимая мерку, гробовщик не заметил никаких следов насилия или борьбы, верно, старик принял смерть по собственной воле. Фабиан уже засу-

нул складной аршин за голенище и собрался уходить, но Отченашка задержала его, взяла за руку и повела по лестнице к чердачному окошку. Она была страшна и вела Фабиана по той лестнице чуть ли не силой. Наверху, прислушавшись, нет ли кого поблизости, тихонько попросила:

— Гляди, сынок. Только как следует гляди. Ты там ничего не видишь?..

Глазам Фабиана открылась широчайшая панорама, но ничего особенного, необычного он в ней не замечал. Скирды коммуны, белый дворец, выступающий из марева, пустошь без единой живой души, а поближе толкутся на своем жнивье пастушата с белыми гусями, собирают колоски на стерне. Кажется, ничего такого, что могло бы тревожить Отченашку. «Это у ней оттого — подумал Фабиан,— что она одна тут с повесившимся. Ни в коем случае нельзя этого допускать». Сам гробовщик ни за что не согласился бы остаться тут один, хоть и знал покойного много лет и даже заходил к нему на кашу.

— Так что, сынок? — переспросила старуха.

— Вижу гусей, пастушат. Ну и что еще?.. Все отсюда видно. Пустошь, Абиссинию...

— А он видел их...

— Кого, бабушка?

— Будто ты не знаешь, кого?.. Хозяев наших... Вот отчего и смерть такая... — с этими словами старуха пошла вниз, а Фабиан еще долго оставался у окошка, до тех самых пор, пока не явились вавилонские бабки в черном — упокоительницы усопших.

Он уже строгал доски на гроб, а все не мог избавиться от ощущения, что его окружают какие-то жестокие призраки. Бубела застал его за отделкой крышки, Фабиан и оглянуться не успел, как тот остановил перед хатой свою рессорную бричку и переступил порог. Он осмотрел гроб, обстукал его, похвалил Фабиана за работу, потом вынул кошелек и заплатил мастеру такую высокую цену, словно расплачивался за гроб для себя.

— Тихий был человек, справим ему хорошие похороны. А как же. На хуторе бычка режут. Раденькие водку гонят, созовем всех помольцев и помолок, чтобы не осталось на ветряках никакого страху. Земля ему

пухом!.. А ты подумай, Левко, может, заодно с этим,— он показал на гроб, — и его место займешь? Работа тихая, есть ветер или нет, а плата идет. Одним словом, мельничный сторож. Подумай, Левко. Нам ведь все равно человека искать.

— Хорошо, я подумаю. Только погодя. А то это вроде как на живое место...

— Известно. Разве я говорю, сейчас? Вот похороним, забудем. Раз-другой ветерком продует. А тогда уж и того. Договоримся, коли согласен.

— Я подумаю.

— Ну, ну, думай. А где ж твой козел?

— Обедает где-то, супостат.

— Давно что-то не было его у меня на хуторе.

— А ему хватает дел в Вавилоне...

— Ты мерку снял, все как следует?..

— А как же без мерки?

— Ну, кончай... Бог помощь... Мог бы еще и пожить старик. Но, верно, уж так ему на роду написано. Все там будем, всех нас когда-нибудь обмеряет Фабиан. Хе-хе-хе! А потом и ему кто-нибудь гроб выстругает...

— Об этом я уж сам позабочусь. А только чье сердце смерти не хочет, тот не умрет. Если только силой на балке не повесят...

— Это ты к чему, Левко?..

— А к тому, Киндрат Остапович, что не могу принять от вас деньги за этот гроб. Тихон был мне друг, а я на друзьях не зарабатываю. Ни на живых, ни паче на умерших.

— Разбогател, что ли?

— Нет, в деньгах всегда большая нужда... Только не в таких...

— Что-то не соображу... Зачем же тебе тратиться на человека, если мы берем на себя похороны?

— Это великодушно, однако деньги заберите, Киндрат Остапович.

— А тебе вперед заказывают?..

— Отчего же, заказывают и вперед. Удивительный обычай. Гроб стоит на чердаке, а человек живет и живет. Разная бывает предусмотрительность...

— Ну, раз уж ты такой суеверный, смеряй меня. На этот задаток.

— Я живых не меряю...

— А как? На глазок?

Взгляд заказчика ненароком споткнулся о плотницкий топор гробовщика, застрял на его лезвии. Топор лежал на верстаке со всеми инструментами. Бубела нервно погладил мохнатую бровь кончиками пальцев, потом покосился на окно, стоит ли там его рессорка.

— Года уже такие, что можно и о вечном пристанище подумать.

— Ладно. Подойдите к стене. Вот сюда. Тут отметка Бонифация, пускай будет и ваша рядом. Станьте прямо. Руки опустите. Шапку снимите, все равно там не понадобится. А голову вверх. Вот так...

— А чего Бонифацию приспичило?

— Подрался с Зосей. Ну и прибежал сюда. Говорит, покончу с собой. Я его и смерил. А они потом помирились. Живут. — Фабиан отошел, внимательно прикинул рост клиента и заметил с улыбкой: — Хорошо будете выглядеть. Бонифаций, так тот побледнел, когда я делал над ним зарубку. А вы мне нравитесь. Будете жить, Киндрат Остапович... — Он взял с верстака топор, встал на край лавки и сделал зарубку.

У заказчика брови стали мокрые, как мыши.

— Все?

— До покрова будет готово. А то и раньше.

— Мне не к спеху, Левко. — Бубела отошел, глянул на зарубку. — Вот видишь, как все просто в этом бренном мире. Был Бубела, а глядишь, вроде и нет его. Ты это имел в виду?..

— Я вас не понимаю, Киндрат Остапович.

— Я бы тебе посоветовал, Левко, подумать и про свою зарубочку... Будь здоров!

— Первый гроб я сделал себе. Держу на чердаке. Что бы я был за мастер, если бы не подумал о себе... Там целый саркофаг стоит. Так что милости прошу...

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Что ни день цвет пыли, подымаемой над Глинском, когда проходит стадо, меняется от теплых тонов до мрачных. Это незаметно подкрадывается осень. При-

рода едина в своем движении по замкнутому кругу. Потому что только настанет пора осеннего лета и первая журавлиная стая провиснет над Глинском, словно пробивая клином дорогу на юг, как в самом Глинске на рыночной площади, подметенной ветрами, начинаются осенние собачьи свадьбы, возвещающие, что лето кончилось, что глинские дети вволю наигрались в пылище, что после затишья снова во всех закоулках загомонит ярмарка и Глинск на некоторое время словно бы очутится в центре мира, ломая привычные представления о границах и расстояниях.

А пока что через эту мало известную миру столицу тащится в степь ленивое и пестрое глинское стадо, овцы кричат панически и глупо, точно их прогоняют отсюда навсегда, и отлученные от коров телята семенят отдельно в ежиках-намордниках, чтобы не смели желать целительного молока, хотя и положенного им по извечным законам природы.

Идет на службу Пилип Македонский, у которого не клеится следствие, идет грузный, усталый, словно его самого только этой ночью вылепили из глины за недостатком другого материала, вдохнули в него душу и ради предосторожности в последнюю минуту повесили ему у правого бедра маузер. Когда польют дожди и все вокруг на время поглотит мстительная грязища, маузер придется подтянуть чуть повыше, и грозное оружие кое-что потеряет от этого, будет воздействовать на местную мелкобуржуазную публику не столь мистически устрашающе, как теперь, когда оно волочится у самой земли. Идет он, как всегда, в сопровождении Малька, маленького кривоногого песика, который трюхает за ним на почтительном расстоянии, преисполненный доблести и еще чего-то близкого к самопожертвованию...

Уже второй раз, перед тем как идти с рассветом в Глинск на следствие, Панько Кочубей обходил подводы в сопровождении Бонифация и непременно справлялся: «А Фабианы оба?» В тяжелые для Вавилона дни внимание к этой паре возрастало: один восполнял недостаток мудрости, которая имеет свойство улетучиваться в минуты отчаяния, а другой был для вавилонян воплощением спокойствия. «Мы тут!» — отвечал фило-

соф с подводы Данька. Это вносило некоторое оживление в поездки на следствие. Смешно даже подумать, но в этой примолкшей толпе на подводах теплилась надежда, что все и вправду могло бы сойтись на козле, только бы изобрести способ доказать его причастность к преступлению, совершенному против коммуны. Кто-то даже подал мысль: «А почему в Глинске думают, что козел не может стрелять? Этот вавилонский козел может что угодно...»

В дороге все были изобретательны, смелы, остроумны, знали, как защищаться и что говорить на следствии, но достаточно было очутиться перед неподкупным Македонским, как язык деревенел, присыхал к небу, а в голове все путалось. На иных еще нападала при этом медвежья болезнь, а во время приступа уж и подавно не скажешь в свою защиту ничего разумного. К примеру Матвий Гусак, измочаленный этой хворобой, нес про Вавилон такое, что самому Македонскому приходилось его останавливать.

Спокойнее других держался на следствии Киндрат Бубела. Он набирал в мешочек сухарей, сала, кроме того, вез с собою запасные сапоги, потому что следствие шло весьма неровно, то отдаляясь, то снова приближаясь к его особе. Когда его спрашивали: «Так скажите следствию, как вы относитесь к коммуне, гражданин Бубела?» — он отвечал всякий раз одно и то же: «Не имею к ней никаких претензий и живу с нею в мире». И все же, наблюдая за развитием событий, Бубела чувствовал, что следствие незаметно выдвигало его в центр эпизода, как главную силу. Больше всего напортила ему смерть мельничного сторожа, но в то же время было и немного легче оттого, что самый страшный свидетель потерян для следствия навсегда. Но коммунар все еще жив, он здесь, в глинской больнице, Бубела пуще всего боялся встречи с ним и теперь прозрачно намекал на Данька, на его давнюю связь с Мальвой, пытаясь свести дело к обычной любовной истории, к мести на почве ревности. Данька же совершенно неожиданно для Бубелы и для кое-кого еще отчаянно защищал Явтушок, до сих пор слывший заклятым врагом Соколюка. Он клапялся следствию, как и надлежит невинному и воспитанному человеку, и клялся всеми

восемью детьми (тут он ничем не рисковал, если бы и довелось ему покривить душой), что он, Явтушок, показывает одну лишь правду. Он утверждал одно — что спал в ту ночь как убитый, потому что днем, свозя снопы с поля, дважды опрокинулся, а это все двойная работа, да и снопы Прися вяжет такие, что с ними того и гляди надорвешься, не какие-нибудь там мотылечки, как у Скоромных, или Бескаравайных, или еще у кого. Он не станет скрывать от следствия, что в самом деле еще с вечера слышал — и это тянулось до самой полуночи, — как его соседи дурачились, бренчали на печной заслонке, постукивали ложками, ясное дело, выманивая этим вроде бы невинным способом из хаты его Присю, к которой уже давно неравнодушны. Соколюкам помогали оба Фабиана, они не упустят случая хорошо поужинать у людей — своего-то поля нету, а кому охота жить впроголодь. Оба они тут, и следствие может их вызвать. Потом все утихло. Явтушок и сам затихал перед следствием и наконец переходил к сути дела. А суть та, что, надурачась с вечера, Соколюки спали на полушубках у себя во дворе и, верно, не слыхали, что творилось в округе. Да и мыслимо ли, чтобы люди, только выйдя из тюрьмы и так пышно отметив освобождение, захотели обратно под замок? На вопрос, почему он их не разбудил, когда прозвучал во рву выстрел, Явтушок ответил еще убедительнее:

— А пропади они пропадом! Еще их будить. Да по мне пусть хоть вовек не просыпаются...

Вот, собственно, и все, что показывал Явтушок по существу дела. Что же до «деникинцев», то он слышал, будто такие объявились в Вавилоне, но какое же отношение может иметь к ним он, который в девятнадцатом бился с ними под Чупринками несколько дней подряд в кавалерии Криворучко? Для подтверждения он прихватил и бумагу, подписанную комиссаром Криворучко и неким товарищем Гофманом. Правда, бумага побита жучком, потому что держит ее Явтушок в ящичке, но зато без фальши, в чем следствие может убедиться. А еще он просит извинения, если в чем напутал перед следствием или сказал неточно слово — от волнения отдает у него в ногах, в животе и по всему телу... У них с Матвием Гусаком одинаковая болезнь,

и, как ни странно, нападает она на обоих только здесь, в Глинске. Дома Явтушок понятия не имеет о ней...

Лошади подкреплялись овсом, а под телегами пряталась от жары вавилонская знать, к которой бог знает по каким признакам относил себя и Явтушок, хотя у его лошади не было даже торбы для овса, она перебирала на полке́ ячменные объедки, а сам он весь день перебивался огурцами с грядки да хлебом из непросеянной муки.

— Ну что там, Явтуша? — осаждали его братья Раденькие, один из которых, Федот, доводился Явтуху кумом еще с той поры, когда сам ходил в голодранцах.

— Я им показал, что такое мы! — похвалялся Явтушок, развязывая узелок с огурцами.

Он усаживался под своей телегой, резал огурцы пополам, посыпал их крупной солью цвета пыли и, растерев половинку о половинку, ел с таким аппетитом, словно только что сошел с борозды. Ничто так не выматывает, как следствие, на котором приходится выручать своего заклятого врага, чтобы не погубить себя самого.

Как уже было сказано, возглавлял вавилонян Панько Кочубей, то есть это был тот случай, когда он один отвечал за всех — и за виновных, и за невиновных. Без его разрешения никто не смел отлучаться, и все должны были находиться под рукой, поскольку не знали, кого вызовут на допрос следующим. Исключение составлял только козел Фабиан, ему разрешали прогуливаться по Глинску и навещать тамошних родичей, привязанных к скудным бедняцким выгонам. Однако если и он долго не являлся с прогулок, то Панько Кочубей справлялся и о нем, хотя в протоколах следствия сей вавилонянин, разумеется, не значился. Но когда усатый милиционер выходил на крыльцо и вызывал кого-либо из вавилонян, козел выбирался из-под телеги и торопливо, но сохраняя при этом достоинство, направлялся к крыльцу, вызывая всякий раз все большее восхищение усача. Понурая толпа при этом оживлялась, веселела, а сам милиционер терял строгость и под конец уже каждый выход козла встречал добродушным смешком. Благодаря козлу и еще некоторым оптими-

стам Вавилон внешне держался с достоинством и не падал духом, хотя оснований для оптимизма не было никаких.

Бубела стоял на том, что лучше погубить кого-нибудь одного, чем бросить тень на весь Вавилон, к которому Глинск относился враждебно. За развитием следствия следил сам районный председатель товарищ Чуприна из Чупринок, чья неприязнь к Вавилону была хорошо известна. В молодые годы он батрачил у вавилонских богатеев. И надо же так, возмущался Бубела, у каких-то Чупринок есть здесь свой районный председатель, а у гордого Вавилона нет в Глинске никого, кто бы постоял за своих и помог в горе. Так что приходится полагаться на самих себя, а не ждать, пока придет на помощь Чуприна из Чупринок. Эти мысли зрели постепенно и в конце концов возобладали на телегах и под телегами окончательно. Кажется, все сошлись на том, что нужна жертва. Их выбор пал на Данька Соколюка...

Данько почувствовал это, еще когда выезжали из Вавилона. Его троюродный дядя Панько Кочубей намекнул, что Вавилон себя исчерпал, что нервы у людей не выдерживают, что на этот раз кто-то один должен ответить за всех, а уж Вавилон надлежащим образом почтит память этого великого мужа и патриота. На Данька посматривали с печалью и сочувствием, а в пути на подводах говорили о нем, как о герое, которого избрали не они, а сама судьба. Сперва Данько не испытывал никакого страха, но, когда подводы стали на своем обычном месте, с Данька слетел терновый венец великомученика, он снова почувствовал себя самим собой со всеми человеческими слабостями. Следствие еще не начиналось, но, когда он захотел прогуляться с козлом по утреннему Глинску, троюродный дядя остановил его:

— Нет, Даня, тебе надо быть здесь, тебя могут вызвать первым.

Данько вспыхнул, сообразив, что дядя побаивается, как бы он не сбежал. Это был психологический просчет Панька Кочубея, великолепно разбиравшегося в боровках, но мало знавшего гордое человеческое естество. Обреченные не терпят, когда у них отнимают последний миг свободы. Данько не мог признаться лю-

дям, что в это утро любил Мальву больше, чем когда-либо, и хотел пройти к больнице и попрощаться с нею. Ему необходимо было поблагодарить ее за то, что не выдала его на следствии.

— Хорошо, дядюшка,— сказал Данько и вернулся к подводе. Лежал там ничком и перекусывал соломинки. Ему виделось бабье лето на Абиссинских буграх, представлялись ночи, проведенные там с Мальвой, и смех ее заполнил его до краев. Наверно, ни одна женщина не умеет так смеяться, как Мальва, ее смех, обрываясь, как бы продолжает жить, звучать в воздухе. Небось она могла бы обезоружить своим смехом самого Македонского. Говорят, и на следствии держалась с достоинством, как Явтушок.

Козел размышлял у телеги о колесе, этом едва ли не самом величайшем и непостижимом для него создании человечества, и все же первым отреагировал на выход усатого милиционера, словно ожидал, чью фамилию тот назовет. Усач, который, как казалось вавилонянам, все знал наперед, обвел взглядом притихшую толпу, явно ища кого-то, и, остановясь на Даньке, бесстрастно провозгласил:

— Гражданин Соколюк Данило Миколович...— Поправился: — Миколаевич.

Козел двинулся к крыльцу под тихий смешок вавилонян, которые, быть может, впервые могли облегченно вздохнуть, полагая, что их терзаниям наступает конец. Козла еще не сморила жара, он шел грациозно и весь был на таком духовном взлете, что невольно вызывал восхищение даже у тех, кто до сих пор сомневался, мыслящее ли он существо. Очутившись перед усачом, он смерил его с ног до головы своим козлиным взглядом, затем принял воинственную позу, согнувшись в дугу и давая усачу понять, что он силой пробьется на следствие, если его не пропустят добром. Усачу было невдомек, что козел прошел школу вавилонского сельсовета, где привык к большей почтительности, и милиционер предусмотрительно прикрыл перед Фабианом дверь. Козел сник, повернулся неторопливо, как это делают все четвероногие, и пошел прочь, а вместо него к крыльцу захромал Данько, который еще тогда, при падении с обрыва, вывихнул ногу и при других обстоятельствах лежал бы вообще.

— Черт с вами! Пойду...— промолвил Данько, оборотившись к вавилонянам.— Хотя я и не стрелял! Не стрелял!!! Бог мне свидетель!

Уже на крыльце он вспомнил о ключах. Вынул из кармана связку — от хаты, от железных пут для лошадей и еще от чего-то,— сказал зачем-то:

— Ключи! — и швырнул их Лукьяну под свою телегу. Потом отстранил усача и ушел, быть может, навсегда, проклиная Вавилон и вавилонян.

А тут фыркают лошади, спят на травке усталые жеребята, слышно, как кто-то пьет воду из жбана. И тогда поднялся философ, поправил очки, с минуту, казалось, колебался, боролся с собой. Бубела, насупя белые брови, успел из-под телеги пронзить философа тяжелым взглядом: «Что он собирается говорить, этот голяк?..» Фабиан почувствовал, как по спине у него забегали мурашки.

— Пусть вызовут сюда мельничного сторожа. Он знает, кто стрелял...

— Что несешь, дуралей! Какого сторожа?..— вскричал Панько Кочубей, выходя с облупленным яйцом в руке из-за телеги, где он собрался в холодке перекусить.

— Того самого... Какого же еще.

— Что ты ворошишь мертвого в гробу?

— Отченашка жива. Пусть ее вызовут...

— Теперь все видите, что он юродивый,— сказал, вылезая из-под телеги, Бубела,— козел его куда разумней...

— Это всем известно...

— Еще с тех пор, как он от земли отказался...

— И коня на очки променял...

— Философ! Ха-ха-ха!

Грянул желчный, страшный, безумный хохот.

Из дома выбежал усач и сказал, что они мешают следствию. Фабиан сконфуженно повел стеклышками, поклонился миру, словно хотел попросить прощения, потом подошел к подводе и стал пучком соломы сметать пыль с сапог. Он надевал в Глинск лучшее, что у него было, и сейчас застегнул воротничок синей сати-

новой рубашки, поправил кисточки пояса, проверил, есть ли в кармане платочек, а потом спросил у Лукьяна:

— Где тут у них райком партии?

— На что тебе? Ты же видишь, тут все свои. И дядюшка с ними заодно.

— Пойду к товарищу Тесле...

— В конце улицы. Возле старой мельницы...

Панько Кочубей чуть не подавился крутым яйцом, а Явтушок, заметив это, весьма невпопад засмеялся под своей телегой, где у него уже было все разложено: хлеб, соль и огурцы.

— Панько, верните его,— повелел Бубела.

Панько Кочубей, который к этому моменту уже проглотил яйцо, кинулся было догонять Фабиана, но дяде (хорошо, что он троюродный, а не родной!) преградил путь Лукьян.

— Не смейте!

Оставив завтрак под телегами, мужики тесным кольцом обступили Лукьяна. Бубела схватил Соколюка за грудки, на том треснула по шву сорочка.

— Зачем, я спрашиваю, пошел туда гробовщик? Говори! — тяжело дыша, вопил Бубела.

— Не знаю,— тихо ответил Лукьян.

— Упокоения б тебе не знать, басурман.— И Бубела изо всей силы отбросил Лукьяна, так что тот шмякнулся под телегу.

— За что?! — Перед Бубелой вырос высокий побледневший Бонифаций, на уродливом лице которого нервно подрагивали желваки.

Бубела струсил, сообразив, что явно переоценил единство своих рядов, попробовал было ускользнуть от Бонифация, но тот загородил ему дорогу к подводе. Все эти годы, с тех пор как Кармелит в сельсовете, Бубела молол ему бесплатно и теперь не мог простить такой неблагодарности.

— Тьфу, какой ты противный! И как только Зося с тобой на одной подушке спит? Чудище вавилонское!..

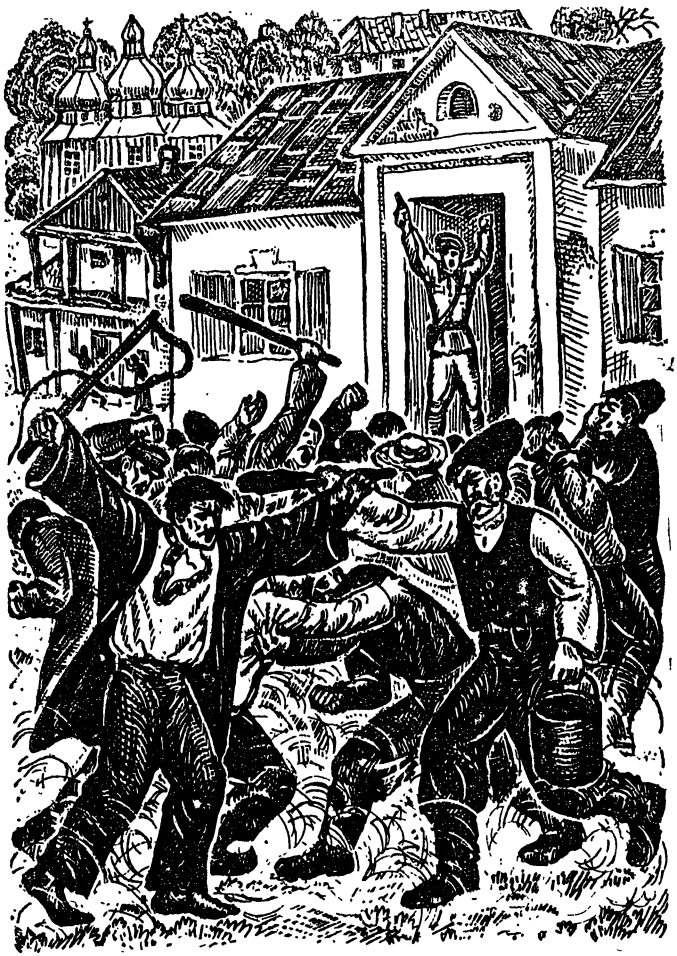
То, что случилось в следующее мгновение, превзошло все представления вавилонян о Бонифации. От

удара, уже самый звук которого ошеломил многих, с Бубелы слетела шапка, а сам он едва не очутился под мордами Павлюковых лошадей. Павлюк с сыновьями как раз завтракал под телегой, а лошади были не распряжены, метнулись от Бубелы назад. Под колесами закричали Павлюки... Вскочив, Бубела добежал до своей подводы, выхватил там из ведерка, которое держал в задке, мазницу для дегтя и двинулся с нею на Бонифация. Но тут уже и Лукьян стал отцеплять от своей телеги валек; оставил свой бедняцкий завтрак Явтушок и стоял, размышляя, чем бы лучше вооружиться и чью принять сторону в драке, которую считал теперь неминуемой и даже необходимой для следствия; братья Раденькие вооружились и заняли оборону возле своей подводы, а там приготовился и Павлюк с тремя сыновьями, двое из которых молотобойцы в его кузнице; Матвий Гусак поспешно снимал нашильники с дышла; готовились к бою Скоромные, до сих пор имевшие репутацию тихих и даже излишне мирных людей; торопливо снимали уздечки с лошадей Бескаравайные... Напрасно Панько Кочубей, взобравшись на телегу, призывал к миру разбушевавшихся земляков.

Бой грянул жестокий и неудержимый. Бубела орудовал мазницей с дегтем, не щадя ни новых рубах, ни лиц. Лукьян пробивался ему навстречу, крестя вальком не только его сторонников, но и всех, кто попадал под руку. Братья Раденькие сражались, как львы, до тех пор, пока их не раскидал Бонифаций. Скоромные— отец и двое сыновей, которые даже есть стыдились на людях, не то что драться,— теперь сводили старые счеты с Павлюками и так героически бились на кулачках, что Панько Кочубей, все еще стоявший на телеге, залюбовался ими. Уздечки Бескаравайных падали на головы, как пращи. Явтушок бился вишневым кнутовищем, не примкнув ни к кому определенно, он налетал то на своих, то на чужих, пока Матвий Гусак не вытянул его железными цепочками нашильников за непоследовательность, после чего Явтушок переметнулся на сторону Бонифация, то есть на сторону бедноты, чьих защитников Бубела метил дегтем, пока у него не выбили из рук мазницу.

Видя, что мирный способ ничего не даст, Панько Кочубей выдернул из телеги дышло и занес его как

можно выше, целясь, ясное дело, первым долгом в Бонифация, как наиболее вероятного претендента на пост председателя сельсовета в будущем. Разумеется, от грабового дышла пострадал бы не один Бонифаций, если бы не внезапный удар с тыла, нанесенный председателю козлом. Фабиан, разогнавшись, сбил Панька с ног как раз в тот миг, когда дышло уже готово было опуститься на головы неразумных. Вполне вероятно,



что козел в сутолоке не узнал председателя, иначе он не позволил бы себе ничего подобного. Тем же методом — отбегая и разгоняясь — он сшиб с ног еще нескольких наиболее ретивых, в том числе и Бонифация, который был уже почти уверен, что выиграл бой.

Когда обезумевшие вавилоняне выдохлись и навоевались, всем стало легче и под телегами воцарилось

некоторое спокойствие, то в одной, то в другой кучке разражался заливистый хохот, лишь старый Павлюк никак не мог вправить на место свою нажитую давно грыжу и стонал. Кто-то подал мысль, что надо бы помириться, чтоб не возвращаться врагами в Вавилон. Явтушок готов был самым пылким образом откликнуться на это, но серьезно попортил свои штаны на видном месте и не мог обратиться к народу, а вынужден был просидеть остаток дня под телегою. В этой битве он не добыл большой славы, в обоих лагерях о нем говорили одинаково: и нашим, и вашим. И потом, когда мирились в трактире, его не позвали ни эти, ни те и ему пришлось тряхнуть собственным кошельком, отчего лицо его приняло трагическое выражение.

Тесля был уже на работе и стоял у вымытого, как всегда, окна, откуда открывался вид на глинское «царство-государство» со всеми утренними красками, звуками, ритмами, от которых он отвык в Краматорске. Еще в детстве ему казалось, что мир перебирается из лета в осень за одну ночь — со всеми ветрами, птицами, красками, со всем, что окружает людей и что так дорого ему здесь, в Глинске.

Собираются ветры в степи, словно рождаясь в черных конских гривах, собираются в стаи птицы, чтобы вдруг прокричать над Глинском в бездонной ночи; а внизу порываются в небо домашние гуси, наполняя местечко ратным криком слабокрылых существ.

В такие дни и самому хочется в путь... Тогда Тесля зовет Хому, райкомовского кучера, и приказывает запрягать. По ямочкам, которые появляются на щеках Тесли, Хома догадывается, что предстоит поездка в коммуну, и выбирается туда не слишком охотно. Там старику приходится перепрягать лошадей из брички в арбу и становиться вместе с Теслей на скирдование. Иногда это длится подряд несколько дней. Хома совсем забывает, что перед ним секретарь райкома, и позволяет себе при коммунарах покрикивать на Теслю, пока Клим Синица не прекращает это безобразие, напомнив Хоме, что он всего лишь райкомовский кучер, а не заворг Рубан. Дело в том, что заворг, почуяв

слабинку, порой повышает голос и на Теслю, хотя относится к нему с уважением, ценя в секретаре выдержку, спокойный характер и редкостное умение дружить с подчиненными, не допуская при этом ни панибратства, ни снисходительности. А Синице импонируют в секретаре предусмотрительность, осторожность, философский склад ума, но такие люди, как правило, ни одну из этих черт не умеют обратить в свою пользу и допускают иногда разительные ошибки в собственном жизнеустройстве. Большею частью они непрактичны, но их общественная функция в том, что на крутых поворотах они как бы принимают на себя роль тормозов истории, чтобы все не полетело кувырком. Чем большей властью они наделены, тем осторожнее пользуются ею. Так или иначе, Клим Синица проникается все большим уважением к Тесле, видя в нем идеального секретаря райкома для Глинска, если бы, конечно, не эта его любовь к Варьке Шатровой... О ней поговаривают даже в коммуне (давала себя знать болтливость райкомовского кучера), и Климу Синице едва удается пригасить эти пересуды, в которых влюбленный Тесля выглядит не очень лихо.

Теля ночует у Клима, в его комнате, а Хома спит на сеновале в конюшне. Секретарь с председателем допоздна беседуют о мировой революции, о том, какое бы она оказала влияние на их Глинский район, а Хома с коммунскими сторожами высказывает разные предположительные доводы против нее. Утром те и другие сходятся в столовой коммуны на завтрак и молча едят кашу, заправленную прогорклым овечьим салом. Хома крестится, впрочем, притворяясь, что это он открещивается от таких харчей, и тут Тесля делает ему совершенно справедливое замечание: «Хома Лелькович, вы забываете, что работаете в райкоме». Хома просит прощения, но на следующее утро все повторяется.

...Тесля принял Фабиана не без некоторого предубеждения, но, узнав, кто он и что, заметно смягчился, ямочки на щеках стали глубже; внимательно выслушав философа, секретарь намекнул, что он, Тесля, не вмешивается в самый процесс следствия, но и не равнодушен к нему, потому что дело тут политическое, классовое и враг, кто бы им ни оказался, должен понести наказание.

— Мы, голубчик, сидим на пороховой бочке, нас горстка, всего семь коммунистов и один кандидат на целый район. А Глинск, сам видишь, какой. И все в нем есть: бывшие деникинцы, петлюровцы, нэпманы. А вокруг Глинска чьи хутора, чьи ветряки, крупорушки, маслобойки? Все притаилось, ждет... А развороши, беды не оберешься. Собственность сидит в человеке крепче всего. Даже если и нет ее, если только мечтаешь о ней. Ты, знать, человек с головой, понимаешь, к чему идет. Либо коммуна возьмет верх, либо мы расплодим новую буржуазию, и тогда нам амба. Вот ты, Левко Хоробрый, с кем бы ты хотел быть?

— Мне, товарищ Тесля, терять нечего. Для меня выбор один. Я от земли отказался, коня продал, есть козел, так и тот принадлежит всему Вавилону. У меня такая душа, товарищ Тесля, что, даже купайся я в богатстве, его бы мне едва на день хватило, а на следующий день я бы все людям раздарил, чтобы снова стать Левком Хоробрым, единственным человеком в Вавилоне, который не запирает на ночь ворота, потому что у него их нет, а дверь затворяет разве что от холода. Да разве вы не слышали о Фабиане? Это я... Но кроме меня есть в Вавилоне братья Раденькие с новым ветряком, есть Явтух Голый, нахвативший земли на всех деток, есть Скоромные и Бескаравайные. Я не стану перечислять вам весь Вавилон, но все они тянутся туда... под телегу к Бубеле...

Бубела покашливал, распростершись под телегой. Голова лежала на мешочке — там сапоги, сало, дубленка, сухари... А гробовщик все не шел... Бубела ни разу не видал в глаза живого Теслю, только слышал, что квартирует у Снигуров, которых Киндрат хорошо знал, и уже от одного этого у него на душе было легче. Больше всего Бубела боялся очной ставки с потерпевшим. Он непроизвольно приглаживал свои белые брови, ведь таких приметных бровей, верно, ни у кого больше нет. Все остальное, даже путы, его беспокоило меньше. Приводили сюда хозяина из глинской канатной, и тот только руками развел. Не продавал он своих изделий этому человеку и видит-то его впервые. Слава тебе,

Лейба, мудрец иудейский! Слава тебе вовеки! Какой христианин способен так заботиться о своей мастерской? Сто Явтушков Бубела отдал бы сейчас за одного канатчика.

Явтушок раздобыл где-то иголку (уж не у Бонифация ли, который считал, что в дороге все может понадобиться?) и, укрывшись под телегой в одних исподних, чинил себе штаны на тот случай, если его, Явтушка, снова вызовут на следствие. Вот как Голому в драку-то встревать.

— Явтух!

— Ох, встать не могу... А что?

— Не позорь Вавилон. На тебе деньги, ступай, набери себе на новые штаны. Хоть человечишко ты и никудышный...

Физиономия у Явтушка вытянулась, глазки заиграли, иголка забегала, как челнок, никто ведь и представить себе не может, как ему опротивели эти штаны и как он стыдится их. Ночью еще так-сяк, а днем они для него истинное несчастье. Они мешают свободно думать, дышать, шагать по земле. Но ценишь их, только надев последний раз, ведь нет ни малейшего представления, что ждет тебя в новых штанах. Нитка выбежала из ушка, и он от волнения никак не мог ее вдеть, только бубнил:

— Сейчас, сейчас, Киндрат Остапович...

Вон выводят Данька, усаживают в бричку и везут куда-то. Уже под конвоем. Бубела подослал Раденьких к усачу на крыльцо. Повезли Данька на очную ставку с Яворским...

А тут еще деньги дают на новые штаны. Явтушок прямо пузыри пускает:

— Я отдам. А как же? Непременно отдам. Я такой. Я насчет отдачи надежный, как никто...

— Чудной ты, Явтух. Моли бога, чтобы все кончилось благополучно... Да разве я одни штаны могу купить? Это для меня сущие пустяки, Явтух. Носи на здоровье... Как ты думаешь, опознает он его?

Явтушок молчал, ибо как ни ничтожен он душою, а перед ликом убийцы в нем пробудился человек. Не

хватало лишь маленького усилия воли, чтобы швырнуть Бубеле его деньги. И Явтушок сник, сожалея об этом.

Мальва в белом халатике и больничных шлепанцах сидела в ногах раненого, она не отходила от него все эти дни, за исключением тех нескольких часов, когда ее вызывали на следствие. Поэт засмеялся, узнав Данька и вспомнив, как, отделившись от него, летел с обрыва белый полушубок.

— Вы тогда нашли его? — поинтересовался Володя.

— Нашел... На абрикосе. На самой верхушке застрял. Едва стряхнул.

— Вы в самом деле поверили, что я хочу вас зарубить?

— Лучше б ты меня зарубил, чем эти муки... Как же я мог очутиться во рву раньше тебя, если я без памяти лежал под кручей?

— А кто говорит?.. Запишите, товарищ Македонский... Это мое последнее слово...

Ему, должно быть, трудно было говорить, а Данько упал на колени у его постели и расплакался, как мальчишка. Конвоиры еле вытолкали его из палаты. Он заметил, что у парня уже здесь, в больнице, пробились усики, верно, от любви, и так же, как раньше, непокорно торчали вихры, готовые вынести любые страдания ради Мальвы. И Даньку стало понятней, за что Мальва могла полюбить этого дерзкого воителя. Не иначе, за благородство и величие души...

В Вавилон возвращались без Киндрата Бубелы. Его подводу взяли Раденькие. Им он поручил и подводу, и ветряк. Раденькие, природные лицедеи, даже проронили на прощание слезу. А на самом деле оба думали о том, что теперь ветры обеими руками заработают на них, пока бубеловский гигант будет стоять рядом без движения. На возу Соколюков дремал козел, измученный не столько следствием, сколько самим путешествием в Глинск. Философ, чем бы печалиться, что поте-

рял место сторожа на ветряках, огорчался, чудак, тем, как трудно Тесле править районом, над которым умещается чуть ли не весь Млечный Путь в миллионы километров...

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Рассветы в Глинске наступают внезапно, словно их приносят сюда порывистые ветры вместе с запахами степного жнивья. Этот миг не пропускал поэт, усаживаясь не без помощи Мальвы в старинное кресло с головой дракона на спинке (кресло нашли на больничном чердаке и с разрешения врача поставили у окна в палате). В Глинске состязались в громкости петушки-дисканты, заставляя замолчать своих потерявших голос отцов. Смешно было слушать, как ломкий подголосок, впервые ощутив в себе талант вокалиста, неожиданно на самой высокой ноте «пускал петуха» и трагически сходил со сцены. Эти неудачники напоминали поэту о его детстве в приюте, о первых стихах; они были чудом для него самого, хотя никто в Глинске не принимал их всерьез, пока в приют не заглянул бывший председатель коммуны Соснин, который, послушав, признал в мальчике поэта. Это были стихи о приюте, о девочке Федорке, о первом чувстве к ней. Соснин забрал поэта в коммуну, а Федорка осталась в приюте. Разочаровавшись в поэте, который не смог написать о коммуне ничего эпохального, а все только воспевал белых лебедей на озере да покалеченных богов в парке, Соснин отправил его в Кострому на курсы сыроваров, должно быть, считая этот промысел очень близким к поэзии. Вернувшись из почетной ссылки через год, сыровар не застал Федорку в Глинске, да и сам приют к тому времени уже распался, не смогши держать в покорности столько переростков. Федорка уехала в какой-то большой город. Она была беленькая и легкая, как пух одуванчика, и такую ветры могли занести, куда хотели.

Ночью, когда больница затихала и погружалась в беспокойный сон, Мальва сама забиралась в старинное кресло, устраивалась там поудобнее, подобрав ноги, и читала вслух Майн Рида, томик которого отыскали вместе с креслом на чердаке. Мальва читала, пока

больной не уставал и не засыпал от этого чтения. Лампа коптила, и Мальва появлялась утром в коридоре с копотью на носу.

На этот раз на рассвете все повторилось. Мальва привычно помогла больному добраться до кресла. Над Глинском возносился целый хорал петушиных голосов, но поэт спросил ее:

— Мальва, почему молчат петушки?

Затем все перед его глазами пошло кругом, поэт стал хвататься руками за воздух, на крик Мальвы вбежала Варя Шатрова, старшая операционная сестра, и показала ей на дверь. Но Мальва поняла этот жест как приказ звать доктора.

Доктор был родом из Миргорода, из знаменитой врачебной семьи Шамраев, прадед которых, по преданию, будто бы лечил еще самого Гоголя. После института это была первая практика молодого Шамрая. Жил он один, занимал небольшую комнату рядом с аптекой, и потому в его жилище всегда стоял запах лекарств. Из-за этого запаха раму выставили, а окно от мух затянули марлей. Говорили, что доктор спит голый, вроде бы никак не может отвыкнуть от студенческой привычки экономить на белье. За эту наготу его уже здесь, в Глинске, прозвали Марсианином. Варя Шатрова, которой часто приходится будить Марсианина к тяжело больным, уже свыклась с его наготой и не видит в ней ничего зазорного. Неизвестно, как будит Марсианина старшая операционная сестра, а Мальва не поверила своим глазам и, прежде чем будить, накрыла спящего простыней, которая сползла на пол, и только потом зашептала над ним:

— Доктор, доктор, идите... Володя не слышит уже петушков...

Высоченный накрахмаленный Марсианин словно и впрямь появился в этой застиранной больничке с какой-то другой планеты. Мальва бежала за ним, исполненная веры в его всемогущество. Одноногий сторож на деревяшке, австриец Шварц, как раз отворял ворота перед громадными дымами. Волы привезли больного из Нехворощи, уморились и теперь стояли как вкопанные. На передке сидел вихрастый парнишка-погонщик, а хозяин лежал на белой соломе, из которой выглядывали черные скрюченные пальцы его босых ног.

Мальве показалось, что на этой медленной, как вечность, подводе привезли только ноги крестьянина...

Петушки-дисканты первыми оплакивали поэта. Когда в палату явились санитары с носилками, врач приказал им сначала вынести кресло с головой дракона на спинке, как будто оно было причиной смерти. Кресло с трудом выставили, оно цеплялось своими рахитичными ногами за дверные косяки. Санитары, оба усатые и похожие друг на друга, казались близнецами. Разных людей выносили они, но поэта впервые. И они несли его уж больно торжественно.

Марсианин был только на год старше сыровара и, когда тот очутился в больнице, не чинил ему никаких притеснений, разрешил Мальве быть при нем и только теперь сообразил, что эта свобода могла стать причиной худшего. Нет ничего более неутешного, чем влюбленные в предчувствии разлуки. Доктор сочувственно смотрел на Мальву, собирающую в узелок пожитки поэта, ветхость которых бросалась в глаза — ей они были совсем ни к чему,— и с горечью вышел спасать больного из Нехворощи.

Дыманы улеглись возле телеги, заняв чуть ли не полдвора, покорные, разумные, каждый в своей части ярма. Если хозяин умрет в операционной, они еще сегодня увезут его обратно в Нехворощь, и потому им надо отдохнуть. Погонщик, казалось, был равнодушен к судьбе хозяина, он, разметав руки, спал на полке́ в рубахе горохами и в залатанных на коленях парусиновых штанах. Это дало повод Мальве подумать, не одарить ли ей беднягу, должно быть мыкающегося в батраках. Но волы посмотрели на нее из ярма с таким укором, что она не посмела оставить узелок на телеге.

Было воскресенье — базарный день. Из дальних и ближних сел потянулись возы, нагруженные боровками, овечками, связанными петухами, которые отпели свое, и всяким другим добром. Нехворощь проскрипела на дыманах, похожих на тех, что спали в больничном дворе. Обрисовался на дороге, как мираж, и вавилонский обоз, Мальва еще издалека узнала его по коврикам и дерюжкам, которыми устилали телеги, чтобы уже одним этим показать свою принадлежность

вечному Вавилону. У Мальвы не было никакого желания встречаться с вавилонянами, она сняла туфли и пошла напрямик. Кое-кто на подводах узнал ее, окликнул, но она не подала никакого знака, что услышала. Провалитесь вы, убийцы! Не хочу знать вас до самой смерти.

Трясогузки — их здесь зовут волопасиками — стремительно перелетали по стерне перед Мальвой, с необыкновенной легкостью выбирая для нее эту самую трудную и самую неведомую изо всех дорог. Стерня низкая, колючая, а Мальва шла по ней босиком, вот птички и волновались, подбегали к самым ступням, вспархивали и щебетали все озабоченнее — заметили, видно, кровь на ногах, ну и хотели как-нибудь предостеречь — и так сопровождали Мальву, пока не вывели на черную коммунскую пашню и уж там оставили ее. У них ведь и без того полно забот, у смышленых этих степных непосед.

Вот они увидали в утреннем сиянии козла Фабиана, да не одного, а с философом. Оба эти бедолаги, верно, накануне хорошо поужинали, так что проспали ярмарку и теперь, опоздав, медленно брели через поле — терять-то им было нечего. Волопасики знают эту пару и охотно опекают ее по дороге в Глинск, а наипаче на обратном пути, когда Фабианы теряют представление о странах света. Тогда птички ведут их до самого Вавилона, а сами возвращаются ночевать в глухое поле, потому что любят тишь после суетливого дня.

Вместе с вавилонским оркестром, чуть ли не единственным на весь район, явились в Глинск Соколюки, чтобы воздать должное поэту, спасшему Данька от гибели. Впрочем, их привела на эти похороны еще и другая забота. Дело касалось Мальвы. Данько надеялся вернуть ее на Абиссинские бугры. Смерть поэта вселила в Данька новые надежды. Любовь и ненависть к Мальве смешались в одно, обратились в незажившую рану, которая мучила его все сильней, бедняга доходил до того, что готов был наложить на себя руки и в душе завидовал поэту, когда узнал, что тот умер у Мальвы на руках. Даже брату шепнул, что тоже хотел бы вот так славно расстаться с жизнью.

Перед выносом тела из зала райисполкома Соколюки протиснулись к гробу и стали в головах покойника рядом с Мальвой, как близкие родственники. Этого не догадался бы посоветовать им даже Фабиан, приехавший с ними на одной подводе. Братья стояли скорбящие и горестные, со стороны Фабиану казалось, что никто так не разделяет печаль Мальвы, как они. Лукьян даже увлажнил очки и попросил платок у брата, потому что своего не взял. Фабиан тоже прослезился, чего не бывало с ним ни на одних похоронах.

Лафета не было, поэтому гроб поставили на самую обыкновенную телегу без бортов, запряженную тройкой. Комсомольцы вели за катафалком коня, оседланного, в черных лентах, конь все еще заметно прихрамывал на левую переднюю, которую задела пуля. Синица нес знамя, спешил, он ведь не мог переменить руку...

Братья подхватили Мальву под руки и повели ее через весь Глинск. Все ее попытки освободиться от них были напрасны. Данько при этом выказывал совершенную покорность и невинность, весь был погружен в скорбь, а Лукьяша, как только заиграла музыка, забормотал скороговоркой:

— Что ж теперь будет, Мальва? Сгубили такого парня. Может, из него вышел бы гений. Молодой ведь... А ты самая обыкновенная, Мальва, такая же, как все... Только этот мой дуралей и по сей день души в тебе не чает... Грозится, что покончит с собой.— И замолчал, потому что в обеих враждующих между собой церквах ударили в колокола.

Максим Тесля воспринял это как вмешательство церковников в похороны коммунара и приказал Македонскому угомонить звонарей. Колокольня у спаса вскоре затихла, только в самом большом колоколе, который пел густым басом, язык все не мог успокоиться; но другая, в церкви вознесения, неумолчно наполняла Глинск заупокойным звоном. Старый звонарь знал Володю Яворского еще приютским мальчуганом, а теперь словно взбесился и звоном своим, то и дело попадая не в такт, вконец разлаживал и без того несыгранный оркестр, в котором каждый из музыкантов больше всего полагался на собственную силу духа в

прямом смысле этого слова. Мой отец на кларнете, инструменте, можно сказать, певчем, и то забирался так высоко, что и самым отчаянным трубам не угнаться было. Нет ничего более неслаженного, чем оркестр, приглашенный в районную столицу из провинции проводить покойника. Музыканты ведь наигрывали одни польки да «коробочки» на сельских свадьбах. Прислушиваясь к ним, Тесля решил, что Глинску необходим и свой собственный оркестр. Одно время, еще в Краматорске, он сам стоял с бубном и сейчас ближе всего принимал к сердцу, когда фальшивил этот инструмент.

На площади у братской могилы глинских революционеров при большом стечении народа — здешнего и из окрестных сел — Тесля произнес гневную речь по адресу мировой реакции и местной контры. Чуприна из Чупринок и другие разговорились уже на поминках, устроенных коммуной в пролетарской корчме. Клим Синица расщедрился, да сыровар и стоил того, может быть, ничто так не поддерживало коммуну, как прибыли от сыроварни. На поминках Тесля думал о том, что ему с Варей теперь доведется забыть дорогу к коммунскому ларьку под красной крышей.

Коммунары возвращались из Глинска поздно. Конь, на котором еще три дня не полагалось ездить, бежал за подводой понуро, стриг ушами, настороженно зыркал по сторонам, шарахаясь от сов и кобчиков, вспархивающих над деникинским рвом. Мальве все мерещился на коне поэт, и все почему-то босой, верно, это его душа домой возвращалась. Мальве невольно вспомнились его женские ботинки, но в том-то и дело, что души умерших, должно быть, блуждают по миру босиком.

Клим Синица сидел рядом, свесив ноги с полка.

— Ты видела, как мы его хоронили? А что могло бы из него получиться? Ты представляешь? Погубить такого гениального сыровара! Ни за что ни про что. Ты хоть любила его?

— Любила, Клим Иванович...

— А еще писал: «Я все золото своей страсти отдаю, коммуна, тебе!..» Отдавал... пока ты не явилась на своем жеребчике... Ну, а теперь что тебе в коммуне делать? Может, отвезу тебя в твой Вавилон? А хочешь,

устрою в Журбове на сахарном заводе? Как раз сезон начинается. Не хочу, чтобы ты напоминала коммунарам об этой потере...

Всю дорогу за коммунским обозом кралась одна из вавилонских подвод, она то отставала, точно в нерешимости, и скрывалась во тьме, то, снова вынырнув из ночи, тарахтела совсем рядом, и тогда Мальва прижималась теплым плечом к Климу Синице, как бы ища у него спасения и защиты. Словно через ее душу катился этот воз, пока не свернул на перекрестке к Вавилону...

Когда умирает поэт, с ним умирает и то, чего другие не способны увидеть. Изо рва все выползали и выползали безликие отвратительные призраки. Клим Синица не обращал на них внимания, а конь не пугался— у него на глазах были шоры, и он видел лишь дорогу впереди. На черной пашне после целого дня беготни спали волопасики, их, верно, тоже никто не заметил. И только Мальва как будто видела их снова, сонных, нахохлившихся и тихих, как комочки земли... Но это уже у нее от поэта.

А в Глинске шел на свою улочку к Снигурам одинокий Тесля. Казалось бы, выговорился, а вот острее всего ощутил печаль только теперь, оставшись один. Смерть поэта тронула его душу, вовсе не столь закаленную, как это представляется его товарищам по Краматорску, а более всего здешним, вот хотя бы Климу Синице. Тому и вообще-то кажется, что настоящий человек, думающий о переустройстве мира, может вовсе не утруждать себя мелочами, даже такими, как, скажем, любовь. Ну а если это такая любовь, от которой душа юноши вспыхнула всеми красками, пусть хоть на один только миг? Кто знает, какие сыры варил бы и какие стихи писал бы Володя Яворский, не пади он августовской звездой, живи он вместе с Мальвой в коммуне или в том же Вавилоне, где коммуна возникнет завтра? И еще, думал Тесля, что принесла эта любовь Мальве? Очищение, влечение к чему-то высокому, к чему-то, чего не нашла эта женщина в родном Вавилоне? Так, может, и не Мальву следует укорять, что не нашла, а Вавилон, жестокий, недобрый, алчный Вавилон, где агония собственничества вот-вот достигнет опасного предела и обернется непоправимой бедой? И не провозвестником ли этой беды стал выстрел в ком-

муну? Ведь, конечно же, покушались на Клима Синицу, а попали в сыровара. Кулачье чует близкую петлю, свирепеет, закапывает хлеб, потихоньку распродается — ярмарки в Глинске обильны, как никогда. Старое крестьянство доживает последние денечки. Вот-вот разразится жаркая, смертельная битва. А он, товарищ Тесля, топает все на ту же тихую уютную улочку, на которой селились когда-то глинские кожемяки. Еще и теперь здесь могут выдубить любую шкуру, вынести на базар первейшего сорта хром, знаменитое глинское шевро для сапожек. Только все утихло, затаилось. Все ждут. Вот не получится у Вариного квартиранта с селом, тогда и тут можно будет поднять голову, взяться за старое. И все же Тесля идет к этим людям, Снигурам, их тут вся улица.

Каждый раз, как он подходит к дому, да еще ночью, ему кажется, что вернулся Шатров. Так и хочется спросить, едва приоткрыв дверь: «Нет его?» Варя смеется над этим, она уверена, что Шатров погиб, ведь крейсер, на котором он служил, потоплен в Кронштадте еще в восемнадцатом году. Хотя сам Шатров, по ее словам, родом бедняк, сын плотника из Великого Устюга — есть такой старинный городок на севере — а в морские офицеры выбился совершенно случайно и так же случайно встретил ее, Варю, в одном из петербургских госпиталей в начале войны. От Шатрова у нее сын, уже порядочный озорник, и, чтобы мальчуган не мешал жильцу, старый Снигур переселил внука к себе в каморку через сени, где до сих пор жил один. Офицерский наследник помнит отца, смотрит на Теслю волчонком, а тот и сам не склонен сближаться, у него собственные дети в Краматорске. Иванна вкладывает их письма в свои, и Тесля не нарадуется, разглядывая каракули, особенно дочкины.

Тесля остановился у ворот. Коммунары небось уже дома... Как они там обошлись с Мальвой?.. Хватит ли у Клима Синицы ума после всего не отвадить ее от коммуны, не толкнуть на старое?..

Под корчмой тревожно плескалось мельничное колесо, тихими ночами его слышно на весь Глинск, в Краматорске ничего подобного не было. Варя Шатрова и это колесо с самого начала стали для Тесли неотъемлемой принадлежностью Глинска... В обоих он находил нечто сугубо здешнее и непреходящее, нечто от

вдохновляющей поэтической мечты. А может быть, это лишь его заблуждение, с которым пора покончить? Нет, все же ему чуточку обидно, что коммунары не позвали Варю на ужин, оттого и колесо внизу так тревожится...

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Из узенького оконца мансарды видна чуть ли не вся коммуна — фольварки, поля, дороги и рвы, которыми она отгородилась от мира единоличников, или, точнее сказать, которыми старый мир от нее отгородился. На гребнях рвов поспели сорняки, равно угрожая тем и другим своими семенами. Клим Синица только теперь сообразил, что с ними можно еще было бороться, пока они стояли зеленые. Сейчас их не скосить и не собрать.

И все же иная блокада коммуны тревожит его больше, чем сорняки, она становится все более угрожающей. Не проходит ночи, чтобы не наведались наглые гости. Сожжен клевер в скирдах, искромсан ремень от молотилки, в горючее подсыпали песок, отчего локомобиль, только его утром разогрели, зачихал, затрещал и стал надолго. Пришлось звать Петра Джуру из Вавилона, работавшего когда-то на помещичьем локомобиле. Тот нашел причину, и машина снова просит снопов, зовет коммунаров в неведомое грядущее. Синица считает, что, пока работает локомобиль, существует и коммуна...

В одну из ночей не стало лебедей на озере. Один лебеденок не мог оторваться от воды, и вся стая кружилась над ним, призывно трубя, пока и он не поднялся в рассветную синь. Может, его и звали-то на верную смерть, а все же легче так, чем тащиться бескрылым в неволю... Теперь их деревянные домики, сработанные коммунарами, обживали домашние гуси. Они забились туда и кричали, не переставая, должно быть, спутав и страны света, и времена года, и все в жизни, кроме голосов своих хозяев, которые каждый вечер звали их домой, как уток: тась-тась-тась!.. Гуси слушались и подымались в гору белым шнурком. Их послушание, вероятно, изумляло богов в парке, имевших возможность, глядя на лебедей, составить себе несколько иное понятие о свободе.

Мальва словно бы жила над богами, исполненная печали и чувства душевного очищения. По мере того как гасло зарево осенней листвы в парке, боги выступали из убежищ во всей своей наготе и византийском совершенстве, а заодно и во всем своем нынешнем убожестве, обесчещенные временем и людьми. Ни один не остался в целости, почти все изувечены, но и калеками они все еще сохраняли гордость и неукротимость духа.

Мальва каждый день выходила на работу, вместе со всеми трудилась в поле, подбирала снопы после крылатых сноповязалок, потом работала на молотилке, после целого дня работы добровольно оставалась на ночную смену, не признаваясь, что ей одной боязно в мансарде по ночам. Во сне является сыровар в красных башмачках и читает ей вслух лермонтовского «Демона». Коммунары догадывались о ее страхах, но когда ей намекали на Клима Синицу, живущего ниже этажом, Мальва только улыбалась с явным оттенком иронии.

Коммунары сперва относились к Мальве с предубеждением, а иные даже враждебно — уж больно дорого обошлась коммуне ее любовь,— но постепенно уступили и подружились с нею. Мальва обветрилась, поздоровела, чувствовала себя на коммунской земле все увереннее. Только в глазах у нее прибавилось пронзительной синевы, а на лице, покрытом густым полевым загаром, едва угадывался налет печали, походка стала по-женски горделивой, во всем облике ее прибавилось простоты и неброского великолепия. Женщина становится красивей всего, когда не слишком заботится о красоте.

С наступлением ночи в коммунском парке блуждала чья-то тень, она металась среди белых богов, но так и не отваживалась выйти из мглы. Это Данько приходил с Абиссинских бугров и забирался в парк, чтобы хоть издали увидеть Мальву. Иногда из своей комнаты выходил перед сном Клим Синица, его пустой рукав свободно болтался на ветру. Увидев в мансарде свет, он возвращался в комнату, брал весло, стоящее в углу, и тихонько стучал им в потолок. Это читалось всегда одинаково: спокойной ночи. Он знал, что она там не одна, а со своим поэтом... Клим все больше утверждался во мнении, что большая лю-

бовь и в самом деле вечна, а вечность не переждать...

В подвалах сыроварни поспела последняя партия сыра, сваренного в свое время еще Володей из летнего молока. Семьдесят один день пролежали головки на полках. Когда Мальва увидела их, ей самой захотелось постичь это редкое в наших местах ремесло. Она попросилась на сыроварню, работа там не такая уж каторжная, только тяжкий смрад стоит все лето, поэтому охотников варить сыр не находилось ни при Володе, ни теперь. Но с первой варкой все у Мальвы и кончилось: сыр расплывался, головок из него не получалось. Потом он появился в столовой, и коммунары так и прозвали его насмешливо «Мальвин сыр».

В коммуну приезжал Македонский, еще раз допрашивал Мальву, уточнял какие-то детали той трагической ночи. Бубелу все еще держали в Глинске, устраивали ему очные ставки с Отченашкой, а потом и с самим философом. Но Отченашку задобрили либо застращали. Она обозвала Фабиана нехорошими словами, отреклась от всего, что говорила раньше, уверяя, что Тихон Пелехатый давно уже носил в себе эту дурь и всякий раз, когда, бывало, ссорился с нею или с хозяевами, угрожал: «Повешусь, ей-богу, повешусь». Вскоре Отченашка заняла его место на ветряках.

Возвращались с поздней осенней ярмарки, на которую коммуна вывезла последнюю партию сыра еще летней, Володиной варки. Данько купил головку и себе — потянула три фунта с небольшим — и теперь вез ее в торбе для овса домой. Мальва вешала, а деньги считал коммунский кассир Сипович, дотошный математик. Потом Данько еще бегал по ярмарке, искал для Мальвы подарок, но, когда подошел к ларьку коммуны второй раз, там уже никого не было...

Обогнав без счета подвод, возвращающихся с ярмарки, он все надеялся догнать коммунский воз с порожними корзинками. Нагнал Явтуха с Присей и детьми — старшие пошли в школу, вот Явтух и повез их на ярмарку, чтобы обуть до снега. Мальчики узнали

дядю Данька, когда тот обгонял их подводу, и в один голос запросили: «Папа, папа, наперегонки!» Явтух, подзадоренный детьми, дернул вожжи, а тут еще и Прися поддала: «Где уж вашему папе угнаться за дядей Даньком!» Явтуха словно поджег кто, он хлестнул лошадей и под ободряющий крик детей оставил Данька позади. Восхищенная мужем, Прися светло и весело рассмеялась и покрепче обняла мальчишек, чтоб не вылетели на тракт.

Мальва вернулась поздно, утром встала, не выспавшись, с тенью усталости под глазами, все утро улыбалась самой себе и словно бы уклонялась от встречи с расхаживавшим по двору Климом Синицей. Кассир был от нее в восторге, сыр они распродали быстро, выручки набралось, как никогда, но под самый конец ярмарки явился Тесля, купил у них остатки сыра, головки полторы, и пригласил обоих к себе в гости. Выпили по одной, потом по другой, запели, вот вам, Клим Иванович, и вся ярмарка...

Накануне Клим Синица получил письмо, что в Костроме снова открываются курсы, такие же одногодичные, как и те, которые закончил в свое время Володя Яворский. Только эти уже государственные, на них будут преподавать знаменитые сыровары, в том числе и голландские, которых мы со временем должны побить на мировом рынке. Директор и комиссар курсов явно преувеличивал роль сыроварения в мировой революции, но Синица, увидав, кто директор курсов, нисколько не удивился тону письма. Это был Иннокентий Мстиславович Соснин, основатель коммуны. Письмо было размножено под копирку, и никакой приписки от руки Синица не нашел. Ни своему воспитаннику, которого уже не было в живых, ни коммуне Соснин не написал ни слова. То ли стал равнодушным ко всему, то ли что другое заставило его забыть свое детище. Однако человека надо послать хорошего, чтобы после не жалеть. Еще несколько дней назад Синица и не подумал бы о Мальве. А тут пошел на сыроварню. Мальва возилась там, белила, прибирала после лета. Зашел разговор о курсах.

— Коммуна каждый месяц будет посылать тебе деньги... Пожитки свои можешь оставить здесь, они никуда не денутся. А там увидим. А не вернешься,

бог с тобой... Хоть я уж как-то привык, что ты живешь надо мной... Чувствую, ты все еще с ним... Значит, была любовь... Прости, если я был к ней не в меру строг. Нелегко она мне досталась, эта ваша любовь. Да, Мальва, нелегко...

Проводив брата в поле, Лукьян с самого рассвета принялся топить печь — он еще от матери перенял, что чем ровнее топить, тем лучше хлеб удается. Пустив на растопку солому, от которой, казалось, еще пахло ночевавшим на ней Даньком, Лукьян накидал в печь вишневых поленьев, потом засучил рукава и стал месить тесто, как раз подошедшее в деже. Тесто густело, думы неслись стремительнее хмурых облаков за окном. Люди подаются на Турксиб и Тракторострой, этой осенью выехало несколько смельчаков и из Вавилона, вокруг уже творится что-то великое, а он торчит в этой прадедовской халупе, откуда, может, никогда уже и не выберется, так и будет прозябать весь век при Даньке, при плошке, при этой дубовой бадье, в которой из поколения в поколение оставляли на дне закваску, чтобы не перевелась, а то хоть возвращайся к опреснокам. В старину, должно быть, только огонь поддерживали так. А ведь заботиться приходилось не только о себе, но и о забывчивом соседе, точнее, о соседке, Присе, которой, с тех пор как у Голого распря с Соколюками, Лукьяша передает закваску тайком, чтобы не приходилось женщине бегать за нею в верхний Вавилон. Кончив месить, Лукьян собрался было соскрести с рук тесто, как вдруг во дворе тонко затявкала и метнулась к воротам неусыпная Мушка. Лукьян так с тестом на руках и выбежал из хаты.

У ворот стояла бричка с какой-то незнакомкой в плаще, на передке сидел усатый кучер в высокой смушковой шапке и домотканой свитке с откинутым башлыком, лошади в шорах косились на неугомонную Мушку и перебирали ногами. Лукьян кинулся унимать собаку, а женщина сошла с брички так привычно, словно всю жизнь только на ней и ездила. Лукьян изумился, узнав Мальву. Как, однако, быстро приноровился человек к новому выезду, о котором раньше и понятия не имел!

На Мальве были простые сапоги, пестрое теплое платье и длинный-длинный с засученными рукавами парусиновый плащ, явно с чужого плеча. Лукьян и сам мечтал достать такой, хоть один на двоих, чтоб ходить в слякоть. Мальве же пришлось распахнуть плащ, откинуть полы, но и так она едва шла в нем.

— Вот уж кого не ждал,— Лукьян смущенно прятал руку в тесте под материнский фартук.

— А я вижу, топится, стало быть, наши дома...

— Заходи. Данька, правда, нету. Я один.

Она будто этого только и ждала. Обернулась к кучеру.

— Постойте, Юхим. Это те самые Соколюки, о которых я вам рассказывала. Ведь кто знает, когда и увидимся.

— Неужто совсем выбираешься из Вавилона?

— Может, и совсем. Не только свету, что в оконце...

Он посмотрел на узлы, которыми была завалена бричка, кивнул, мол, понимаю. Уже на крыльце заметил:

— А плащ великоват...

Мальва засмеялась:

— Это Клима Ивановича.

— Ну, заходи, заходи, не бойся. Бывала же когда-то.

— С хлебом тебя,— сказала Мальва, входя.

Хата показалась ей заброшенной, не такой, как была при матери,— пол грязный, неподмазанный, пылища на нем, как в Глинске, рушники на стенах потускнели. Но пахло здесь мужчинами, земными, работящими, пахло вишневым дымом и ржаным тестом, которое ждало печи, чтобы не опасть в деже.

Лукьян взял нож, сделанный из косы, тупой стороной счистил с рук тесто, сполоснул ладони в чугунке. Тем временем гостья сняла плащ, поправила кочергой жар в печи, потом подошла к деже, взялась за нее обеими руками и перенесла с лавки на припечек — надо бы знать пекарю, что в тепле тесто скорей подойдет. Лукьян принес из чулана первач, который держал для Данька от простуды, поставил на стол

позднюю антоновку, уцелевшую от набегов соседских детей. Яблоки казались прозрачными, как жемчужины. Он налил две чарки, но, вспомнив, что нет хлеба, метнулся печь лепешки. Пока он готовил место на поду, Мальва обдула лопату, посыпала ее мукой, в один миг раскатала лепешку; удивительное дело, у нее тесто не липло к пальцам, она умела спасаться от него мукой. И через минуту в хате запахло хлебом. Вскоре Мальва достала лепешку, обстучала ее костяшками пальцев и уже на столе разломила, запахло еще вкуснее.

— Как тебе там, в коммуне? На голубятне? Или уже перебралась пониже?..— Лукьян улыбнулся из-за очков.

— Куда же это ниже?

— К Климу Синице... Куда ж еще? Он один, ты одна... Одна же?

— Нет, Лукьяша, не одна я.

— Брось, Мальва... Бессмертны только боги, и то потому, что их не было... А мы смертны все, и поэты тоже.

— Смертны, Лукьяша. Только души у них устроены не так, как наши. Мы ведь не плачем с тобой от радости, когда слушаем утром петушков. А Володя плакал. Сама видела. Его доброты хватило бы на всех людей, если б они не были так злы, так алчны, как иные здесь.

— Добрый, добрый, а Данька моего едва не зарубил шашкой,— усмехнулся Лукьян.

— После мы долго смеялись... Но кто выстрелил тогда? Я ведь так и не сказала Македонскому про тот выстрел внизу. Данько?

— Нет. Соседушка наш...— Лукьян показал на окно.

— Явтушок?

— Данька хотел убить, нечестивец.

— За Присю, что ли?

— Да кто его знает, за что. В хилое тело легко злому духу войти. Явтушок пойдет и на родного брата, только подтолкни его.

— Крестничек мамин. Приходил ведь вместе с ними меня из Вавилона выдворять... Упираются изо всей мочи. Думают, обойдет их жизнь стороной здесь, в

Вавилоне. Ой, нет! Грозный вал докатится и сюда. Все очистит, все смоет. Володя любил читать мне вот это:

Шлет волна
гул со дна —
валом чистым, серебристым,
зла, сильна,
на увядшие растенья,
на горючие каменья
в брызгах радужных метнется
и вернется
в бледном гаснущем уборе
в море...
. . . . . .
Быть волне
вновь на дне?
. . . . . .
и слугою
станет жить она, смиряясь,
не решаясь на другое?
Иль могуче
вместе с сестрами-волнами
вдаль валами
устремится, расплеснется,
новой силы наберется,
из-под кручи
зашумит,
загремит,
в берега победно грянет
и воспрянет? [1]

«Нет, в этой Мальве что-то есть,— подумал Лукьян.— Не зря в нее влюбился поэт». Юхим громко покашливал за окном, напоминая о себе. Да и печь остывала.

Чокнулись. Как славно Мальва вписалась в его день, до нее такой серый, унылый. В ней самой было что-то от той волны, что пала на дно и вдруг снова поднялась, заиграла всеми красками; словно все счастье Вавилона доселе держалось на ней, на Мальве, а вот не станет ее, и жизнь посереет, прогоркнет, опреснеет, словно тесто без закваски, без дрожжей. Она призналась Лукьяну, что ездила к матери прощаться. Собралась далеко, за Москву, на те самые курсы, которые закончил когда-то Володя Яворский. Едет одна изо всей коммуны, а может, и со всей Украины. Вот какая ей честь!

[1] Фрагмент из стихотворения Леси Украинки «Волна» *(прим. переводчика)*.

И уже у ворот попросила:

— Не говори Даньку, что я была у вас. А богов пусть оставит в покое... Будь здоров, Лукьян! — И, не стесняясь Юхима, поцеловала Лукьяшу в чуб, в колючие усики.

Под искрился, когда Лукьян сгребал с него вишневый жар. Буханки выходили огромные, во всю лопату, такие, как Мальва бы испекла. Данько, вернувшись, не поверил, что Лукьян мог сам сотворить такое. Румяные шишки торчали из буханок во все стороны, в такие шишки славно втирать чеснок и сало, для Данька это был лучший ужин, и к тому же вполне заслуженный — сегодня он взобрался на самую макушку Абиссинских бугров.

В тот же день Синица сам отвез Мальву на станцию, на узкоколейку. Поездишко из Глинска ходил маленький, почти игрушечный. Когда тронулся, Мальва заплакала, а Клим Синица стоял с кнутиком, улыбался, не знал, что едет Мальва не одна — под сердцем зашевелился ребенок от поэта...

«Я слышала еще от Володи, что Кострома далеко, что ехать туда на нескольких поездах, а зимы там белые, как костромские соборы. Так оно и есть, Клим Иванович,— напишет она ему в первом же письме.— И Соснин, тот самый, что основал нашу коммуну. Он не верит, что Володи нет, что я была его женою, так что вы напишите ему, Клим Иванович... Я не взяла полушубка, а тут достать трудно, зима такая, что плюнешь и слюна замерзает на лету...» И летят, летят письма из белой холодной Костромы, теплые, человеческие, наивные и чистые письма от Мальвы Кожушной.

После нее никто больше не селился в мансарде. Коммуна перестала вывозить в Глинск красные головки сыра, этот товар исчез из оборота. Клим Синица жалел об этом, хотя на душе у него стало как будто спокойнее. Еще несколько ночей появлялась в обнаженном саду порывистая фигура, шуршала в опавшей листве, но, убедившись, что мансарда пуста, привиде-

ние забыло сюда дорогу. Синица знал, это Данько Соколюк. Днем, объезжая верхом поля коммуны, видел его на Абиссинских буграх, тот распахивал их до красной глины, чтобы земля за зиму набралась от ветров силы.

Одинокий пахарь на буграх казался маленьким и упорным, похожим на вечного полевика. Его телега стояла под горой, нацелясь дышлом в мокрое небо, словно еще дожидаясь чего-то от небес. А как начинал моросить холодный и колючий об эту пору дождик, пахарь набрасывал на голову мешок уголком и тогда совсем сливался с рыжими бороздами, словно и не было никого за плугом, словно лошади сами пахали это неплодородное поле, одни, без никого...

Только перед обедом сюда шагал через чужие межи Лукьян с серым узелком, в тяжелых сапогах, облепленных грязью, сражаясь с ветром, как птица, нес пахарю горячее на обед. Пока Данько обедал под телегой, Лукьян надевал мешок уголком на себя, становился к плугу и пахал это черствое поле дальше. Так они и бились там до самого покрова. Припахали и Мальвину десятину на самом верху...

Занесло деникинский ров, убрало его заросли белой, торжественно печальною кисеей. Только дурман раскрыл свои лягушечьи коробочки, словно опечаленный тем, что не успел рассеять семена по полю. Покой и белизна, белизна. От нее слезятся глаза, и душа в ней растворяется... Вьется над лошадьми парок, легко скользят санки, уцелевшие еще от помещика, причудливое создание зимней фантазии. В такой воскресный день Клим Синица, исполненный какой-то неясной и чистой тревоги, ехал в Глинск. Мальва словно перебралась на другую, далекую и недосягаемую планету. Он вез на глинскую почту полушубок для Мальвы.

В Глинске пахло соломенным дымом.

Спешил на службу Пилип Македонский в длиннющей бекеше, подбитой одноцветным мехом. Поземка отвернула полу, мех из-под нее виднелся огненно-рыжий, глинские меховщики знают в этом толк, а песьего меха в Глинске хоть отбавляй, его в изобилии до-

бывают во время осенней течки, отбирая лучшие экземпляры из разношерстного собачьего царства, расплодившегося при нэпе. Лавчонки мелких торгашей, еще недавно такие бойкие, теперь стояли забитые наглухо, на некоторых железные жалюзи, спущенные уже, вероятно, навсегда. А на рыночной площади в эту ночь ветром сорвало крышу с коммунской палатки, в которой не скоро теперь появятся красные головки сыра. Коммунар завез на почту посылку, вручил ее самому почтмейстеру. Харитон Гапочка поинтересовался, что в посылке, поставил на ней штемпель глинской почты и между прочим заметил, что полушубок может в дороге пропасть, теперь, мол, не та почта, что была при царе. Колокола звонниц, стоящих на разных холмах и как бы пребывающих в вечном противоборстве, молчали, подернутые инеем, но, верно, готовы были в любую минуту напомнить о себе. Максим Тесля, принадлежащий к племени тех, кто рано встает, расчищал дорожку от крыльца к воротам райкома. Мельничное колесо вмерзло в лед и не лопотало, а без его шума в этом уголке Глинска было както непривычно. Буг тоже затянуло льдом, и теперь по нему свободно сновали маленькие проворные люди в черных и белых полушубках, как будто там перемешались мельники и трубочисты.

Тесля до последнего времени тоже ходил прямиком, по льду. Он отважился на это чуть ли не прежде всех, когда лед еще прогибался и трещал под ногами. Теперь лед окреп и стрелял в морозные ночи, будил Глинск от зимней спячки. Клим Синица въехал в самое облачко снега, поднятое метлой секретаря. Искорки еще долго не гасли. В Глинске начиналась лютая зима, а с нею и топливный голод. Райкомовский стог, стоявший на дворе, был уже раздерган до живого, по его белой шапке ночью пробежала ласочка.

Тесля расчистил дорожку и повел коммунара греться. В доме было натоплено и тихо, хоть мак сей. В коридоре совсем по-домашнему чувствовал себя гигантский фикус. Он не помещался у Снигуров, и Тесля этой осенью, еще до морозов, перевез его сюда. Пусть поживет до весны. Сам он тоже только теперь перебрался в райком, хоть мог бы сделать это и раньше.

Лошадки Клима Синицы, накрытые пестрыми дорожками-рябчаками, простояли во дворе райкома почти полдня, а их хозяин с Теслей, Рубаном и другими, время от времени разглядывая мир сквозь маленькую проталинку, продутую кем-то в белом узоре на стеклах, ломали себе головы, как создать новый Вавилон вместо старого. Когда проталинка затягивалась инеем, кто-нибудь снова подходил, дул, и так продолжалось до сумерек, пока Тесля не зажег медную лампу с пузатым стеклом.

— Мы не отступим ни за что, даже если придется положить на это всю жизнь,— твердо сказал Максим Тесля.

На дворе подымалась вьюга. Лошади сами укрылись от ветра. Тесля успокоил всех тем, что во дворе стожок и ничего страшного, если им придется на одну ночь внести соломы и заночевать в райкоме. Надо же представить себе будущий Вавилон, ведь это должен быть не миф, а живая реальность для обыкновенных людей, о которых летописец скажет потом, что они и впрямь дерзнули сотворить невероятное, покончив навсегда с межевой книгой.

часть вторая

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Вот мы, несколько забегая вперед, и побывали в зимнем продымленном Глинске, а теперь хотелось бы снова вернуть читателя в Вавилон осенней поры. Подобные смещения во времени позволяли себе и до нас. Поздняя вавилонская осень начинается с того, что Савка Чибис снимает качели на зиму. Вязы над обрывом в эти дни стоят уже холодные, как мертвецы, а у Соколюков день на день падает плотно, как отвалы на борозде, один на другой. Нет ни просвета, ни передышки, жизнь вокруг словно вне поля зрения, а озабоченный Вавилон как будто отошел в прошлое. В ту осень день и ночь тянулись на Журбов подводы, нагруженные сахарной свеклой, тянулись отчаянно и уныло, а за возами, жалея слабеньких коней, месили грязюку люди; походило на грандиозные похороны осени, но на этих похоронах никто не падал духом, ведь все это должно было обернуться деньгами, возмещением за каторжный труд. Соколюки не сажали свеклы, не было у них для нее женских рук, и далекие гудки сахарного завода только напоминали братьям об этом просчете. На что уж Явтух, начавший копать свеклу позже других, чтобы корни прибавили в весе, и тот ухитрился поставить на полок борта и вывезти в Журбов все до

последнего хвостика. Теперь посыплются ему грошики в горсть, как манна небесная. Недаром вавилоняне говорят, что в любую работу надо вложить кроме силы хоть каплю ума. Вот Данько и пахал Абиссинские бугры глубоко под свеклу, а о женских руках придется уж думать зимой, после крещения, когда засылают сватов к заранее избранным судьбою вавилонянкам. Пока у обоих не было на примете никого. Только Данько никак не мог привыкнуть к мысли, что Мальвы уже нет ни в коммуне, ни здесь, на горе.

Домой он возвращался поздно, усталый, весь в грязи, наскоро умывался и после ужина, не раздеваясь, падал посреди хаты на солому, которую Лукьян вносил на ночь из овина, чтобы на рассвете вытопить печь. «Хоть бы разулся!» — мысленно корил брата Лукьян. Он едва стаскивал с него, уже полусонного, сапоги, которые потом мыл, а утром еще и дегтем подмазывал, чтобы не пропускали воду. И все же не было случая, чтобы Данька это все хоть чуток растрогало, он принимал услуги как должное. «Ну, и натура у моего братца!» — всякий раз кривился Лукьян, берясь за сапоги. Каблуки на обоих были сбиты на одну сторону — влево, а носки вправо, это от ходьбы по Абиссинским буграм, от ходьбы в борозде в одном и том же направлении. Ну как же не присмотреть за сапогами такого человека, будь он хоть и не брат тебе?!

Лукьян и сам не бездельничал. В особенности в те дни, когда кроме всего прочего надо еще печь хлеб, то есть в конце каждой недели. Хлеба братья едят много, одному Даньку едва хватает буханки на день, да еще то Фабиан закусит, то Прися чуть не через день прибегает занять буханочку, а на отдачу она баба ненадежная...

Запах ужина наполнил всю хату, обрекая на тяжкие муки кота Тирана и Мушку, которая то и дело заглядывала из сеней в приотворенную дверь. Но о божьих тварях в этот вечер забыли, оба брата ни вместе, ни порознь не могли представить себе, чем кончится и как далеко может завести их решение касательно вавилонской пастушки, решение, возникшее едва ли не под воздействием отъезда Мальвы. И все же Лукьян больше склонялся к тому, что третий человек в доме не помешает, все равно кровать с двумя горами подушек стоит незанятая, а когда человеку есть где спать, то

ему, почитай, и жить есть где, да только девка она и может за которого-нибудь из них уцепиться, вот что Лукьяна волнует. «Ну так разве ж мы, братец, не мужчины либо уж настолько с собой не совладаем, что позволим себе встрять в какую-нибудь чепуховину?» Данько смотрел на все с большей предусмотрительностью, как и положено старшему, он заявил, что не потерпит и намека на приставанье к Даринке ни у себя, ни у Лукьяна, оба они должны смотреть на нее только как на батрачку, и не приведи бог глянуть иначе. Так они предостерегали и натаскивали друг друга, а когда легли спать, обоим — Лукьяну на лежанке, а Даньку на соломе — стало чудно: неужто на следующую ночь у них будет собеседница на кровати, а подушки забелеют не там, где сейчас, а на сундуке, потому что Даринке хватит и одной подушечки?

Утром Лукьян выгнал в стадо Козу-дерезу, их маленькую коровку, еще год назад смирную телушку, а ныне забияку, баламутящую все стадо, и не дал Даринке ни свистнуть по-мальчишески, ни сказать что-нибудь обидное по их адресу, а поклонился ей и молвил как можно учтивей:

— Даринка, ты знаешь, что нас нынче двое, как два пальца на одной руке, и нет у нас никого роднее тебя.

Даринка засмеялась, она и смеялась раскатисто, как мальчишка.

— Да уж мы с вами родня — нашему тыну двоюродный плетень. Если хотите знать, то нет для вас никого роднее Приси. У ней и деток половина ваших, говорят.

— Пустое, Явтушкины выдумки. Прися не может стать нам ближе, чем есть. А ты можешь. Данько просит, и я прошу.

— Это как же?

— А так, перебраться к нам и жить. Ну, как бы тебе сказать...

— Батрачкой? — Даринка нахмурилась.— Не дождетесь.

— Нет, просто Даринкой.

— Для кого? Для тебя или для Данька? Тебя я не полюблю, Данька боюсь. А оба вы мне на что? На вас свет клином не сошелся, выберу себе, кого захочу, как придет пора.

— Вон ты какая, Даринка?

Она сверкнула глазами и ушла, а Лукьян запер ворота, оторопев от ее уничижительного взгляда.

Данька уже не было, тот всегда уходил на зорьке. Лукьян оделся потеплее (к Даринке он вышел в одной рубашке) и отправился через луг на Татарский вал к Фабиану за советом. Лачужка Фабиана летом утопала в зарослях терна, шиповника и таких дремучих лопухов, каких Лукьян сроду не видел. Но сейчас листва облетела, все поникло, поредело, обнажив дряхлость жилища. Клочок огорода весь был занят подсолнухами, и тоже гигантскими, но семечки из них выклевали воробьи, которые тучами летали над Вавилоном во все эпохи, пустые головы подсолнухов убедительно свидетельствовали о благосклонности Фабиана к крылатому населению Вавилона. Из окна хатки хорошо было видно: вдалеке как на ладони лежало Прицкое, а за ним и другие малоизвестные Лукьяну села.

— О боже, как высоко забрались!

— В старину здесь стояла крепость, а когда кармелиты сожгли ее, мой предок сложил себе эту лачугу. Ей уже лет двести, а то и все триста. Стоит!..

Зная склонность Фабиана к преувеличениям, Лукьян не возражал, к тому же философ был занят очень серьезным делом — вырезал распятие для церкви в Прицком, пострадавшей этим летом от пожара. Он редко брался за такие заказы, но этот обещал выполнить до престольного праздника, взял уже небольшой задаток, и теперь опаздывать было нельзя. Он как раз прорезал сыну божию уста, которые после казни, как известно, ничего уже более не сказали человечеству.

— А сам ты веруешь?

— Возможно, и был такой человек. Между прочим, чем-то он близок и нашему брату, холера его возьми. Это потом апостолы изуродовали его образ. Вообще, Лукьян, нет ничего страшнее апостолов. Они все раздувают и перевирают. Больше остерегайся апостолов, чем самих богов. Однако без апостолов он не стал бы богом, а я не получил бы на него заказ через почти две тыщи лет,— засмеялся Фабиан.— Ты ничего не захватил с собой? А то как мне лень спускаться вниз к бренному человечеству.

Лукьян поставил на верстак бутылку, вынул кусок сала и славную краюшку хлеба вчерашней выпечки. Фабиан немедленно оставил боготворение, достал из старого шкапчика чарки, и недоделанный сын божий мог только позавидовать их завтраку, за которым среди бесчисленных мировых проблем нашлось место и для разговора о Даринке. Фабиан согласился взять девку на себя — знал, что оказывает почти мистическое влияние на всех обиженных и неустроенных.

В тот же вечер Фабиан поднялся к ветрякам. Там уже стоял его козел, мечтательно и задумчиво поджидая стадо, в осенней дымке походившее издали на войско — очень уж дружными порядками шли овцы.

— Где тебя носит, бездельник? — спросил Фабиан и, разумеется, ответа не услышал, в глазах козла стояла шаловливо-заискивающая мольба не мешать ему выполнить свою обязанность: возглавить стадо и повести его в село тем торжественно-величественным шагом, на который способен изо всей этой вавилонской рати один он.

Так что, когда стадо поравнялось с ветряками, козел оставил своего хозяина и возглавил шествие, а Фабиан подождал Даринку, которая возвращалась с подпасками в отдалении от скотины. Она вела на веревке чьего-то теленка, должно быть, из тех, что норовят отбиться от остальных и заночевать в поле. В стаде всегда есть несколько таких выродков, которым еще все нипочем.

— Приходил ко мне Лукьян, просил переговорить с тобой, вот я и говорю: иди к этим люциферам, не иначе, один из них понравится тебе, не вечно же быть вавилонской пастушкой, тем паче что как раз это и мешает парням взглянуть на тебя другими глазами. Но постепенненько все уладится. Мальва Кожушная осталась только у меня на ясеневой доске, загляни когда-нибудь, полюбуйся, а Присины грехи Явтух выдумывает, так что ты остаешься единственной претенденткой на этих бобылей, уж послушайся бывалого человека, а он, чего доброго, еще погуляет на твоей свадьбе, если позовешь...

Фабиан мог бы и не говорить об этом так много и с такой горячностью. Даринке и без того сегодня после разговора с Лукьяном весь день представлялось, как она убирается в хате Соколюков, шинкует капусту,

квасит яблоки и арбузы, доит строптивую Козу-дерезу, стирает, топит печь, подставляя щеки радостному душистому пламени, поливает цветы, словом, наконец чувствует себя хозяйкой не хуже самых именитых хозяек в Вавилоне и даже в воскресный день, нарядившись во все праздничное, садится на коврик вместе с братьями, во всяком случае, с одним из них, и едет на ярмарку в Глинск, а то и в церковь вознесения. Тут Даринка вспомнила, что не умеет молиться. Ну да это не такая уж беда, попросит Отченашку, чтоб выучила ее читать «Отче наш», и все будет как надо. Светлое, до сих пор неведомое чувство охватило ее и не оставляло весь день...

Однако по мере приближения стада к хате Соколюков в девушке все же с каждым шагом росла к ним какая-то враждебность.

— Когда же пойдешь к ним, Даринка? — спросил Фабиан.

— Может, и никогда! — ответила пастушка.

Но вскоре осень и невзгоды все-таки загнали ее к Соколюкам. Она пришла к ним в день престольного праздника в разбитых лапотках, с ципками на голых коленках, положила в уголке свои пожитки, которые все вмещались в пастушьей котомочке, и виновато сказала своим мальчишеским голосом:

— С праздником! Я пришла... Как вы, не передумали?

Братья приняли девушку как полагается. Вспомнили лягушонка, которого она, хозяйничая, принесла ненароком с водой, он еще долго жил в дежке и невесть куда подевался...

Батрачество Даринки началось с того, что Данько, чтобы показать свою власть, сразу же задал ей много работы, а сам тем временем стал наряжаться к престолу, который, по обычаю, пышно справляли здесь возле церкви. Отпер сундук, достал из него новенькие, всего раз надеванные желтые хромовые сапоги, верхнее платье и безо всякого стыда стал прямо перед ней переодеваться. Этим он напоминал Даринке, что она батрачка, а не девушка, которую надлежит стесняться. Лукьян как раз начищал до глянца свои старые яловые сапоги и сгорал со стыда, глядя, как брат своевольничает. Он взял свежую рубашку и вызывающе, демонстративно вышел переодеваться в чулан. Данько

засмеялся и нарочно спустил исподнее, не пряча грешного тела.

— Тьфу! — сплюнула Даринка и опрометью выскочила во двор.

Лукьян вернулся из чулана, не застал девушки и гневно обрушился на брата, который все еще стоял посреди комнаты в исподнем, но уже в чистом, а старое лежало под ногами.

— Эх, и скотина ты, Данько! А еще к престолу собираешься.

— Ты меня учить хочешь? — Данько возмущенно стукнул себя по волосатой груди.— Ах ты слепота курчавая! — и он дал Лукьяну добрую затрещину.

Тот не уступил, двинул брата по стриженой шее, и начался короткий, но неистовый бой, после которого Данько очутился вниз головой в сундуке, а Лукьян выскочил в сени без очков. Все это произошло так молниеносно, что братья расхохотались, не затаив один на другого никакой злобы.

Но Даринка думала, что это они над ней хохочут, и еще горше заплакала в хлеву, уткнувшись в столб для упряжи. Шлеи пахли конским потом и еще чем-то неприятным, скорей всего, лошадиными кровавыми мозолями, и Даринке почему-то вспомнился ее Гнедко, вспомнилось детство, ласковой сказкой пронеслись перед глазами зори, проведенные в ночном; Данько был тогда к ней едва ли не самым добрым изо всех вихрастых задавак парней, он один не смеялся над нею. А теперь его не узнать, с чего же это с ним? Она утерла слезы и, исполненная гнева, решительно пошла в хату. Мигом собрала все свои манатки в котомку и сказала им:

— Чтоб я вам служила? Да будьте прокляты!

Лукьян бросился к ней, молил, держал за руки — он один знает, как осточертела ему эта хата,— а Данько еще поколебался, похмурив брови, но, слыша мольбы брата, и сам подошел к девушке. Подошел и остолбенел. Он никогда еще не смотрел на нее вот так, в упор. В глазах так и пылало синее пламя, каждая веснушка на красивом, чуть задранном носике, казалось, трепетала, придавая всему лицу удивительную привлекательность, упругая верхняя губа с пушком подергивалась от гнева.

— Прости меня, Даринка,— искренне сказал Данько.— Ей-богу, я совсем забыл, что ты в хате. Я привык, что мы одни...

Лукьян уверенно отобрал у Даринки котомку, а Данько как можно учтивее взял бунтарку за руку и усадил на лавку. Девушка невзначай подняла глаза на маленький портрет Шевченко, обрамленный выцветшим рушником, и где-то в душе у нее отозвалось: «Батрачка»[1]... Нет, не батрачкой чувствовала она себя в эту минуту. Ей показалось, что она покорила братьев своим гневом и отныне либо будет в этом доме хозяйкой, либо уйдет прочь, мыкаться меж хороших и плохих людей. Она рывком выдернула свою руку из руки Данька, поднялась с лавки и с минуту стояла, гордая, исполненная достоинства, ощущая всю меру своей власти над ними. Братья отвернулись, чтобы скрыть от нее и друг от друга свое смятение, если не свою покорность. Они разом вышли с неясным чувством не то тревоги, не то стыда.

Выбравшись на улицу, Соколюки шагали молча, каждый по-своему раздумывал о Даринке. Их сосед Явтух стоял, как всегда, за плетнем в вышитой рубашке, в черной жилетке, той самой, недоношенной когда-то паном Родзинским, а поверх накинув еще кожушок, и сдержанно кланялся, чуть приминая ворот:

— Доброго здоровьичка, Соколючки!

Они ответили ему, улыбнувшись. Вот так Явтух стоит за плетнем каждый праздник, каждое воскресенье, показывает людям вышитую рубаху и черный касторовый жилет, но когда-нибудь дойдет и до штанов (за деньги, полученные от Бубелы на штаны, Явтух купил Присе гуню [2]), и до сапог дойдет, и до двухцветного пояса, до всего — таков уж он, Явтух. Хотя, кстати сказать, отсутствие всего этого и сейчас не мешает Явтуху считать себя настоящим хозяином. Правда, он никому ничего не одалживает, но и сам не знает, что такое долги, у него все свое: плуг-пятерик, ручная мельничка, телега и все другое, необходимое дозарезу в самом малом хозяйстве. Явтуху досталось порядочно земли — на деток,— и теперь он уже не дождется, чтобы они подросли и можно было загнать их в бо-

---

[1] «Батрачка» — поэма Т. Шевченко *(прим. переводчика)*.

[2] Женская одежда, род теплой куртки.

розду. Как только это свершится, Явтух опередит многих, и те, несчастные, будут ему земно кланяться. Нынче, когда Вавилон празднует михайлов день, обжирается и пьянствует, напрочь позабыв и про святость дня и про звонницу-известянку, стоящую возле погоста, на северных отрогах горы, Явтух дольше обычного выстаивает за плетнем и мечтает о тех временах, когда он поставит у себя во дворе грозные машины, которые сотрут в порошок надутый Вавилон и все покорят ему, Явтуху, только бы поскорей подрастали дети — для земли.

От его недреманного ока ничто не могло ускользнуть в усадьбе Соколюков, он и обедать-то садился у окна, из которого их двор хорошо виден. Недаром у братьев вошло в привычку говорить: «И не повылазят у него зенки, у аспида!» Явтух знал все их достатки, до кур и петухов. А нынче утром неожиданно обнаружил там Даринку. «Как? Почему? — возмутился он.— Эксплуатация чужого труда?» Что же он-то, мать его за ногу, не додумался до этого раньше, не взял Даринку к себе? Когда Соколюки миновали его двор, Явтух, как ни хотелось ему не показывать всего себя в такой день, тихонько отодвинул штакетину в заборе и, оглянувшись, нет ли кого поблизости, крадучись, воровато шмыгнул к соседям. Отворил наружную и сенную двери и появился на пороге так внезапно, что Даринка вздрогнула от страха.

— Это вы?

— Я, милая, я. А ты что тут делаешь? Нанялась? К этим жеребцам, к этим скрягам, что себя морят голодом и тебя сгонят на тот свет?! Иди лучше ко мне, не батрачкой, а так... Детей нянчить...

— На что мне ваши дети? Когда-нибудь свои будут...

— Без венца, без свадьбы?

— Ну, а что, если я тут уже хозяйка? — Даринка жеманно прошлась по комнате.

Он посмотрел на ее крепкие, ухватистые руки. О, сколько они могли бы сделать для него, догадайся он присвоить их раньше! Сколько свеклы вырастили бы для Журбова! А ведь это деньги, чистый капитал...

И он пошел домой советоваться с Присей, которую не отпустил к престолу. На душе у него было скверно, и он ни с того ни с сего побил Присю, словно та была

виновата, что Даринка у Соколюков, а не у них, Голых... Прися выбежала из дому босиком, полураздетая — в чем стояла у печи — и, спасаясь от мужа, метнулась к Соколюкам. И, что самое ценное, не заплакала, а только смеялась и бранила своего муженька, остерегая Даринку от такой доли, как у ней, Приси. Ноги у нее от холода побагровели, груди едва умещались в кофточке, лицо расслабло и от этого все лучилось добротой — она снова была не то на четвертом, не то на пятом месяце. У Соколюков тепло, уютно, не хотелось уже и уходить, но почти следом пришел Явтух, принес сапоги, платок, гуню, попросил прощения, обул ее, одел и повел домой, тоже кляня судьбу:

— Не дай бог никому такую жену, как моя. Один раз проедешься с ней на возу — и уже с прибылью...— и он сплюнул под ноги.

Зато он вел ее с таким вавилонским шиком, словно они вместе были тут в гостях. А вавилоняне, празднуя, пели...

— Прися, а помнишь песенку, что ты пела мне, когда мы пасли овец у Тысевича, будь они прокляты?

Голосок у Приси есть, ну, она и запела ему потихоньку у ворот ту песню:

Пасла коров за рекою на раздолье
Да набрала красных маков в чистом поле.
Облетают с моих маков лепесточки,
Нагоняют меня парни на мосточке.
А я беру себе в пару не каждого —
Красивого, разбитного, отважного...

— И что она тут найдет?

— Кто?

— Даринка! Ты что, вечно об одном себе думаешь?..

— Вот тебе и будь здоров!

— А ты не будькай у меня, не будькай! Вон уже и дети побились.

В хате что-то грохнуло, зазвенело, разлетелось вдребезги.

— Кувшин! — крикнула Прися и метнулась к дверям. А Явтушок укоризненно кинул вслед:

— Что старые поют, то и молодые чирикают. Хе-хе-хе!

Пузатенький горшок с фасолью стоял на полке под самым потолком, а они, озорники, дрались подушками, ну и задели. Фасоль раскатилась по комнате, и те-

перь все восьмеро вместе с матерью собирали ее. И так всегда: только она к Соколюкам — дома несчастье либо на поле беда. Помните, в тот день, когда она купала тех антихристов, Явтушок дважды опрокинулся со снопами ни с того ни с сего, на ровном месте...

В это время возле только что освященной звонницы весь Вавилон уже гомонил о Соколюках. Шутники расспрашивали братьев, кого из них поздравлять: старшего, младшего или обоих вместе? С основания Вавилона никто еще не видел, чтоб у двух братьев была одна примачка в хате. А между тем девок в селе хоть пруд пруди, богатых, правда, мало, зато бедные, как маки, цветут. Нет, нет, не иначе, этот клятый Лукьян перенял что-то от штунды, сходили с ума набожные тетушки, проклиная всех богов, кроме Иисуса, и жалея, что в Вавилоне нет своего прихода, некому призывать на грешников кару перед алтарем.

На Данька и Лукьяна обрушилось столько коварных вопросов, недоброжелательных взглядов, что братьям престол стал не в престол и они, не отведав как следует праздничного хмеля, примчались домой избавляться от Даринки. Условились извиниться перед нею и выпроводить навсегда, чтобы сразу же прекратить всякие пересуды. Но стоило им только открыть дверь и войти, как весь этот вавилонский дурман разом слетел с них.

В хате словно посветлело, все темные углы исчезли, пол подмазан и посыпан увядшей травой, которую Даринка нашла в овине, не стало паутины, с образов и портретов стерта пыль, а сама виновница этого мыла в корыте волосы, продушив всю комнату любистком. Братья переглянулись и не посмели сказать ей ни слова. А она потом еще долго стояла перед осколком зеркала, вмазанным в стену, и расчесывала мягкую косу с чудесной позолотой, которую оставило на ее голове пастушье лето.

Неспокойная ночь настала для всех, когда в уголке умолк сверчок, услыхав тревожное человеческое дыхание. Данько, как всегда, постелил себе на земляном полу, принеся для этого из овина большой холодный сноп соломы, Лукьян разостлал себе дерюжку на протопленной печи, а Даринку, как уговорились накану-

не, упросили лечь на кровать, переложив на сундук целую гору подушек, небезупречно белых, слишком больших и потому совсем непригодных в изголовье — каждая подушка годилась разве что для чудища с львиной головою из старой детской сказки,— и все пользовались думками, маленькими, заношенными, но очень удобными для сна. После утреннего происшествия ни один из братьев не решился раздеться до исподнего при свете. Даринка же не стала раздеваться и после того, как Лукьян погасил плошку — у ней не было хорошей сорочки,— и тихо прилегла на постель в верхней одежде, которой прикрывала свою ветхую рубаху. И тут Лукьян вспомнил, что в сундуке осталось много белья, которое, верно, придется впору Даринке. Мать наготовила белья, так не истлевать же ему напрасно в укладке. Он выждал, пока Даринка уснула, потом тихонько слез с лежанки и подошел к брату посоветоваться, Данько ведь мог быть и против.

— Так что, с богом или как? — шепотом спросил старший, когда Лукьян прилег рядом на соломе.

— Ну чем она нам мешает?

— А людям? — буркнул Данько.

Долго еще шептались они. Лукьян, так и не сказав ничего определенного, а лишь разбудив сомнения, ушел на лежанку. Там он снял очки, положил на карниз и больше не мог уснуть. Синие манящие огоньки Даринкиных глаз всю ночь вспыхивали перед ним, как далекие звездочки, проникая лучами в самое сердце.

После этой ночи Лукьяну нравилось в Даринке все — ее веснушки, милый пушок над верхней губой и даже ее басовитый, но по-своему мягкий голос. Ни у одной девушки Лукьян не слышал такого дивного голоса.

На следующую ночь, когда брат внизу захрапел, Лукьян зашептал ей:

— Даринка, ты спишь?

— Не спится,— тихо ответила Даринка.

— Я там положил тебе на подушку свежую сорочку.

— Я надела...

— В сундуке еще есть сорочки, носи. Нам на что?

Даринка прихорашивалась сама, а больше прихорашивала хату, в которой и в самом деле незаметно становилась хозяйкой. Обмазала заново печь, покраси-

ла ее в оранжевый цвет, а чело расписала такими павлинами, что у братьев и дух занялся от восторга. Даринка не скрывала, что видела такую красоту неподалеку — у Мальвы Кожушной. Мальва все это умела сама, но Соколюкам не верилось, ни один из них не побывал ведь у Мальвы дома. Зингеры неохотно показывали свое жилище чужим, и Данько тут только впервые подумал, что Мальва и в нем видела чужого.

Теперь в этой части Вавилона раньше всех просыпается не Явтушок, как бывало, а Даринка, привыкшая рано вставать, еще когда пастушила. Братья спят, а она встала, подошла на цыпочках к окну и замерла блаженно. Зима! В этот раз девушка почему-то ждала ее нетерпеливее, чем когда-либо прежде. Уж не казалось ли ей, что со сменою времени года изменится и ее судьба? Вот только Явтушок испортил Даринке всю радость открытия. Пораженный, должно быть, не столь приходом зимы, сколько тем, как рано встает новоявленная хозяйка ненавистного ему дома, он приветствовал первый снег, высоко подняв белую меховую рукавицу, хотя та была еще ни к чему — настоящая зима в этих местах начинается только перед крещением и снег лежит в Вавилоне совсем недолго.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Сегодня в Вавилон примчался на своих бегунках Клим Синица. Возле ветряков лошади провалились в сугроб, едва вылезли. Отченашка — она теперь за мельничного сторожа,— выкатившись из ветряка в овчине, сказала, что такой лютой зимы, как эта, не помнит. К хате Зингеров проехать было еще труднее. Занесло улочку, поросшую деревеем, засыпало и двор по самые окошки, вела туда лишь тропочка, пробитая неведомо кем. Однако не забывают Кожушную, подумал Синица. Ему надо было передать матери письмо от Мальвы, пришедшее в коммуну. Мальва жаловалась, что здесь, в Вавилоне, Бонифаций читает чужие письма. Чудачка! В Глинске это с успехом делал сам начальник почты, бывший почтмейстер Харитон Гапочка. У того врожденное пристрастие к чужим письмам. Старую привычку Гапочки осудил райком партии, но тот, наверно, не может иначе, хотя делает это теперь осторожнее, тоньше.

Лошадей и санки коммунар оставил у сельсовета, а сам побрел по первопутку к Кожушным. Савка прикрыл лошадей попонами, подцепил к дышлу торбу с овсом, уселся в санки, не на козлы, а на заднее сиденье и рассмеялся, представив себя бог знает каким барином. Вышел и Бонифаций, придирчиво осмотрел бегунки, пощупал, кое-какие детали вымерял пядью, докапываясь до тайны забытой ныне модели, в которой легко лошадям и удобно, уютно людям.

— Вот бы тебе, Савка, такие собственные!

Савка ведь никогда и не знал никаких саней, кроме грушевых санок своего детства. Но что может сравниться с ними, когда вытащишь их на самую высокую гору и бешено мчишься на белое вавилонское дно? Савка помнил и Бонифация на этих детских гулянках. Тот тоже появлялся с санками, держал их за поводок, а потом сходил с ними вниз пешком, боялся разбиться. Вообще Бонифаций для Савки долго еще оставался загадкой, и только после памятной битвы в Глинске Чибис понял, что их секретарь не трусливого десятка, может при случае и за правду постоять.

Секретарь сельсовета чмокнул, щелкнул языком — да так лихо, что пошло эхо,— сообразил, верно, как сделать такие сани, и пошел на обед. В этом он точнее, чем сельсоветские ходики. Но Савка остановил его, снял с лошадей попонки, торбы, сел на облучок и подал секретарю сани. Все это длилось одно мгновение. Бонифаций не успел и опомниться, отказаться, как сел на заднее сиденье и Савка повез его через Вавилон, опутанный нынче своим непостижимым зимним лабиринтом: тропки, тропки, тропки, и свежие, и уже утоптанные; многие из них первым прокладывает Савка, потом по ним бегут школьники, за ними семенят старухи, спеша на оденки — целодневные посиделки, где ждет их тоскливая работа: сучить тончайшую и бесконечную нить для вавилонского полотна. И только уже за этими тщедушными бабусями шагают вразвалочку парни к девчатам, родичи к родичам и все другие жители, а заодно козел Фабиан в поисках опять запропастившегося философа.

«Черт те что... Пробивают путь слабейшие, хотя, казалось бы, все должно быть наоборот»,— размышлял Савка, сидя на облучке.

Кто видел Бонифация в бегунках, ни за что бы не поверил, что это Бонифаций. Это было само достоинство и величие. Он ни разу не повернул голову, даже когда с ним здоровались, а смотрел только перед собой на худощавую Савкину спину с торчащими лопатками. Савка тоже держался горделиво, не разрешал себе оглядываться на Бонифация как на нечто случайное и недостойное, только когда подъезжали ко двору, спросил:

— Ну, как тебе там?

— Свет переменился, Савка... Когда я буду править Вавилоном, непременно заведу себе такие бегунки. С козлами и пружинным сиденьем.

— А кого ж на козлы?

— Тебя, Савка, только тебя. Кого ж еще...

— Ну, давай, правь. А я уж, так и быть, послужу тебе. Хоть исполнителем, хоть кучером...— хохотал Савка.

У ворот Бонифаций слез, велел Савке подождать его и пошел домой, как барин.

Там он в тепле обедает, а тут, на облучке, насквозь пронизывает ветер, фыркают заиндевевшие лошади. Савка снова укрыл их рябчаками и все поглядывал на хату Кожушных, не выйдет ли часом Клим. Не выходит, должно быть, старуха Кожушная угощает его за письмо от дочки добрыми яствами — гречишными пызами[1] с салом или еще чем. И до сей поры славится ее кухня, которую Орфей Кожушный, странствуя по свету, всякий раз пополнял какими-нибудь небывалыми в здешних местах блюдами. Он и сам готовил такую собачатину по-маньчжурски, что запах разносился по всему подгорью, только, кроме самого повара, никто к этому отвратительному яству все равно не мог притронуться. А вот Бонифаций не терпит никаких выдумок, он считает, что человек привыкает к кушаньям, как к дням, но, несомненно, сейчас он ел отличный борщ с бараньими ребрышками, а на второе вареники с капустой. Это он сообщил Савке еще с утра: «Сегодня заказал Зосе вареники с капустой». Савка как раз пек на завтрак картошку в печке, тоже недурная вещь. Только хоть бы не каждый день, через раз.

---

[1] Вид галушек *(прим. переводчика)*.

На горе стоят вязы, затаились в белой тишине, а сами качели отдыхают на сельсоветском чердаке. У Савки ключи и от качелей, и от звонницы, и секретарю следовало бы это учесть.

Кармелит не появлялся. Савка подготовил выезд, сел на облучок и вдруг страшно разозлился на Бонифация. Мигом перебрался на заднее сиденье, вставил кнутовище в паз на облучке и стал ждать.

И тут показались в дверях Бонифаций и Зося. Она в фартучке, маленькая, на сносях. Уже который год они ждут ребенка. Зося все винила мужа, у них то и дело вспыхивали страшные ссоры, дошло до того, что Бонифаций заказал себе гроб у Фабиана, и вот наконец...

— Здравствуй, Савка!

— Здорово, хозяюшка.

Бонифаций ждал, чтобы Савка освободил ему место.

— На козлы! — показал тот, откинувшись на сиденье.

— Не дури, Савка.

— Еще одно слово, и пойдешь пешком. А я поеду следом, понаблюдаю, чтоб не сбежал.

Бонифаций еще поколебался, потом поднялся на облучок, вытащил кнут, расправил вожжи. Зося одобрительно улыбнулась, она ведь хотела позвать Савку обедать, да Кармелит не дал.

— Любопытно мне посмотреть, как ты будешь править Вавилоном...— Савка расхохотался, развалясь на теплом сиденье.

Бонифаций заскрежетал зубами, однако кланялся всем, кто видел эту чудасию — высоченного дядьку на высоком облучке. А Савка восседал по-барски, хоть и голодный, как бывает голоден подчас только козел Фабиан, и подмигивал встречным — мол, видите, во что я превратил Кармелита?

Клим засиделся у Кожушных, там, вероятно, тоже хороший обед, и Савка решил отправиться туда.

— Сходи! — сказал он Бонифацию, когда тот довез его до сельсовета, пересел сам на козлы и поехал на занесенную снегом улочку. Очутившись в тепле, усаженный Зингерихой за стол, на котором исходили паром в миске те самые знаменитые пызы — гречаники с салом, Савка подумал, что, в общем-то, мир устроен не так уж плохо и не все в нем, слава богу, кармелиты, есть люди и понятливее. По тому, как Савка набросил-

ся на гречаники, коммунар понял, что исполнитель здорово проголодался, и стал бедняге подкладывать, чем до крайности обеспокоил хозяйку. Чтобы как-то сдержать это расточительство, Зингериха увивалась вокруг Клима:

— Ешьте, Клим, пейте! Совсем растрогали вы меня этим письмом. Подумать только, подалась в такую даль! В Орфея она у меня, в Орфея. Тот всю жизнь мотался по свету. Она и родилась без него... Ешьте на здоровьище. За Савкой и не угонишься. Вечно голодный.

— Сегодня мы с Савкой наступаем на сытых,— сказал Клим, подбадривая исполнителя.

Хозяйка, лишенная возможности спасти хоть остатки гречаников для себя, высыпала Савке из горшка последние. Зато он, встав из-за стола, поцеловал ей руку, чего не догадался сделать и сам коммунар. Вот оно, вавилонское воспитание...

Ночью к Соколюкам пришел Савка Чибис, постучался в окно напротив печи; когда ему открыли и он вошел, весь в снегу, то первым делом засмеялся (он любил смеяться невпопад), а потом сказал, что обоих братьев вызывает в сельсовет уполномоченный, срочно, сию же минуту чтоб собрались и шли с ним.

Зажгли светец, Савка увидал в постели Даринку и снова расхохотался.

— Чтой-то они ночью, дня им уже мало?

Исполнитель сидел на лавке, грыз семечки; ему запрещено давать какие бы то ни было разъяснения, сами должны догадываться, зачем их вызывают, кто не ел чеснока, от того не воняет. Савка уклонялся как мог, и Соколюки так ничего у него и не выведали, хотя частенько подкармливали его и считали вполне своим человеком.

Собирались неохотно, постанывая, вздыхая. У Данька свело руки от страха, и он долго не мог обуться, голенища выскальзывали из одеревеневших пальцев. Просил ведь сапожника пришить ушки, не пришил, а деньги содрал немалые.

Когда Даринка заперла за ними наружную дверь и все трое вышли на улицу, Савка сказал, что теперь ему надо забрать еще и Явтуха.

Через несколько минут исполнитель вывел перепуганного соседа, который никак не мог застегнуть кожух на деревянные пуговицы. Явтух спросил Соколюков:

— Что случилось? Снова кого-нибудь убили?

Соколюки промолчали, расценив это как злостный намек. Взобрались на Вавилонскую гору и подошли к дому, где некоторое время помещалась волость, а теперь был сельсовет.

Здесь застали всех вавилонских богачей: Матвия Гусака, Северина Буга, обоих Раденьких, Федота и Хому, Петра Джуру, владельца трактора. Эти живут в самом Вавилоне и пришли сюда пешком, хуторяне же приехали на санях, за ними посылали милиционеров, прибывших из Глинска.

Высокий, исхудавший в тюрьме и гибкий, как само несчастье, ходил между вызванными Киндрат Бубела, только что обложенный «твердым заданием» в две тысячи рублей.

— Люди добрые, да за весь хутор не дадут таких денег, хоть продай все до последнего лоскутка!

Он учил других стоять крепко, не подавать деньги на лопате, а кто поспешит выложить первый куш, тех обложат вторым, а там и третьим, этим глинским властям верить нельзя.

— Во-во, вытянут из нас все жилы, пустят по миру, и не станет на земле еще одного Вавилона, пойдет он прахом без вавилонских хозяев,— подпевал ему Матвий Гусак.

На крыльцо вышел Павлюк-отец, из хуторских, он держал лучшую в округе кузницу, перехватил ее еще в имении Родзинского, когда делили господское добро, надорвался, грузя исполинскую наковальню с колодой, и с тех пор так и жил с грыжей, то и дело запихивал ее вовнутрь, а она все более угрожающе вываливалась. Вот и сейчас он разволновался вконец, придерживал грыжу левой рукой и долго кренился на одну сторону, потом сокрушенно надел на голову серую шапку.

К нему разом подбежали все три сына — Онисим, Махтей и Роман, каторжане кузницы.

— Сколько?

— Полторы тысячи как одна копейка,— махнул Павлюк свободной рукой и стал протискиваться сквозь

притихших односельчан к саням, чтобы там утишить боль.

Он лежал в санях, а хуторяне обступили его: ну, ну, Сазон, расскажи, как это все там. Павлюк повернулся на бок, смотрел на замерзшее, хрупкое, как первый лед, небо и все шептал:

— Полторы тысячи, полторы тысячи... Шутка сказать!.. Да что, я их кую в своей кузнице?!

В сельсовет позвали обоих Раденьких — Федота и Хому. Они пошли, как на плаху, согнувшись, еще на крыльце поснимали шапки, поклонились милиционеру в дверях, словно от него что-нибудь зависело. Когда-то это были бедняки, владели гончарным кругом и слепым конем, на котором возили свои изделия в Глинск, после землеустройства бросили гончарное дело, поставили сперва один ветряк, потом взялись за другой. Мастера они были на все руки, открыли шорную, колесную, замахнулись уже было на трактор, а там и на молотилку, сами налепили кирпичей и сложили хату на две половины, почти такую, как дом Тысевича, в котором сельсовет. Жить бы да жить, как вдруг нынче ночью Савка в окне...

Раденьких держали дольше остальных. Старший, Федот, несколько раз падал на колени, просил представителей власти сжалиться над детьми, которых у него было много. Грозил, что приведет их сюда, а с собой покончит. У младшего Раденького детей не было, но он тоже расплакался, не столько за себя, сколько за брата.

Уполномоченным райкома был Клим Синица, он знал Раденьких по козовским и глинским ярмаркам (глину продавали в том же ряду, где и горшки), но никогда бы не подумал, что это те же самые Раденькие, еще недавно вавилонские бедняки, владельцы одной-единственной слепой лошади, о которой говорили тогда: она такая слепая, что не может отличить козовскую ярмарку от глинской. В сельсовете было натоплено, а Клим Синица ходил по комнате в кожанке внакидку. Раденькие, конечно, помнили его. Но продавец красной глины был добрый, хороший парень, а этот, непоколебимый и неумолимый товарищ уполномоченный райкома, знал их доходы лучше их самих (он не уступал ни одного рубля из названной суммы: пять тысяч со двора или с каждого половину).

— Чем же мы хуже Бубелы, Матвия Гусака и других? — стал было хвататься за последнее Федот, но младший брат успокоил его и едва живого вывел на крыльцо.

Когда они назвали сумму, Матвий Гусак засмеялся, а Павлюк на своих санях забыл про грыжу и перестал стонать.

После них пошел за «экспертом»[1] Петро Джура. С этим тоже разговор был жесткий. «Хоть бы вспомнил о Рузе, черт однорукий, когда-то любил ведь»,— подумал Джура. Ноль внимания и на то, что его трактор нанимала сама коммуна, когда выходил из строя локомобиль.

— Трактор еще жив?

— Жив.

— Не продал?

— А зачем? Он у меня есть не просит.

— И долго еще будешь держать его?

— Пока не сдохну. Он что, мешает вам?

— Может, вступишь в коммуну? С трактором.

— Нет, Клим, хочу жить вольно.

— Запишите ему пятьсот.

— А не мало?— спросил фининспектор из Глинска, о котором твердосдатчики говорили, что он превзошел в бессердечии самого Синицу и спуска не дает никому.

— Будет с него для начала,— возразил Клим.

— Это на сколько же лет? — спросил Джура, дробно постукивая о пол подошвой.

— Лет?! Не внесешь до Нового года, экспроприируем твой трактор. Амба! Иди, Джура, и думай, что тебе лучше. Либо с нами, либо с ними...— он показал на дверь. С тем Джура и вышел, будто ему все равно...

Потом позвали Явтуха. Тот вошел радостно взволнованный, оживленный, внешне почти счастливый. Это насторожило Клима Синицу. Он окинул Явтуха взглядом, оценивая: все те же легендарные штаны, что с него возьмешь?..

— Вы писали заявление на Соколюков?

С Явтуха слиняла вся романтичность, он боязливо взглянул на дядю Соколюков Панька Кочубея, который сидел тут же по левую руку (ее, впрочем, на самом деле не было) от Клима Синицы.

---

[1] Так крестьяне называли обложение налогом *(прим. автора)*.

— Писал старший мой сын Иваськo под мою диктовку. Я сам писать не умею. Умей я писать...— Явтушок схватился за голову, вообразив на миг, что бы он мог написать о Вавилоне.

— Вы уверены, что это у них батрачка?

— Да, чистейшей воды батрачка. Панько Гарехтович могут подтвердить, даром что доводятся им дядей.

— Троюродным,— уточнил Кочубей.

— А я разве сказал, родным?

— Можете идти, товарищ Голый. Мы учтем ваше заявление.

— Как это — идти? — обиделся Явтух. — А это самое, обложение? Я что, у бога теленка съел?

— Вас облагать не будем.

— Как не будете? Ах ты! Ну, хоть для пристойности что-нибудь.

— Человек вы среднего состояния, детей много...

— Это я среднего состояния?.. Какой же я человек среднего состояния? Я высшего состояния, самого что ни на есть высшего... Среди среднего...

Тут, задетый наглой ложью, встал Кочубей.

— Ты? Да я же у тебя ни одного боровка не заколол! Какой же ты богатей без сала?

— А свинья? Вот-вот опоросится! Это же хвакт! Я прошу учесть, товарищ райуполномоченный, что Панько Гарехтович наговаривает. А потом я масло бью два раза в году. Какое же в пост сало, когда есть для приварка конопляное маслице первый сорт?!

— Середняков не облагаем, товарищ Голый. Идите. Облагаем только крепких середняков. И то не всех.

— А меня обложите! Ну пожалуйста!

— На сколько? — Фининспектор улыбнулся.

— Ну хоть на два рубля. Один у меня сейчас при себе.

— Не можем мы идти против закона.

— Я разрешаю. Слышите, разрешаю.

— Ну, будет! — Клим Синица порывистым, внезапным движением лопатки подбил на левом плече сползшую кожанку.— Идите!

Явтух чуть не плача побрел на крыльцо. Когда он вышел, к нему приблизилось несколько лиц. Одно принадлежало хуторянину Сазону Лободе. На кончике уса лежал иней.

— Сколько? — спросили все разом.

Явтух разогнул на поднятой правой руке большой палец.

— Одна?!

— С такого голодранца? — ужаснулся Лобода.

— Где же правда? И на детей не глядят?!

Явтух, пряча глаза, пошел прочь в полном отчаянии. Это было отчаяние человека, ничего не достигшего, несмотря на почти сверхчеловеческие усилия. Тесно и неловко Явтуху в середняках, другие вон разом перешагнули через это мерзкое «сословие», и хоть их беда не коснулась Явтушка, все же шел он домой опечаленный.

Соколюкам Клим Синица улыбнулся (или это им только показалось?). Дядя Панько не проявил к ним никаких родственных чувств, даже не предложил сесть, хотя всем другим, может быть, за исключением Явтуха, не отказывал в этой любезности. Когда вызывали Бубелу, Кочубей не знал, где его и посадить, а перед Раденькими сам был рад постоять, лишь бы они сели. Еще бы, платили они ему за боровков щедро, а в особенности когда он возвращался к этим боровкам вторично, уже колоть. Тут нелишне напомнить, что и коммуна пользовалась услугами Панька Кочубея, его приглашали туда два или три раза в год, и уж там он достигал вершины. Коммуна платила ему за боровков сыром, всякий раз он привозил две-три головки. Теперь будет платить деньгами. То, что Клим Синица так пристально рассматривал братьев Соколюков, заставило Кочубея вздрогнуть, по спине председателя скатилась холодная капелька. Еще несколько таких капелек, и Паньку станет дурно.

— Это, Клим Иванович,— сказал он Синице,— те самые Соколюки, мои соломенные родичи, будь они неладны. Еще малышами сожгли Вавилон, а теперь дядю на тот свет отправят. Один конокрад, а другого зовут святеньким. Такое редкостное сочетание. А то еще откололи — взяли в дом девку, ту, про которую Явтух писал. Даринка вам кто, жена или батрачка?

Клим Синица последний раз видел братьев на Абиссинских буграх, когда они бились там до первого снега, и, что бы ни думал о них троюродный дядя, у Синицы они вызывали сочувствие и даже восхищение. Сейчас они стояли перед ним невинные, беспомощно

наивные, как тогда в райкоме, когда он привел их к товарищу Тесле, и Клим Синица не держал на них никакого зла — ни классового, ни человеческого. Он только спросил не без иронии:

— Так который же из вас конокрад, а который святенький?

Дядюшка смерил их таким придирчивым взглядом, что дольше молчать не было возможности.

— Дядя Панько что-то не то говорит. А вообще-то я конокрад, а он святенький. Так, дядя?

Данько давно уже не держал за уздечку краденую лошадь, а Лукьян забыл, как и дверь в церковь отворяется. Раньше, при отце Сошке, пел в хоре, только и всего.

Клим Синица посмотрел, каков их имущественный ценз: пять десятин поля на двоих, лошади свои, не краденые, плуг-пятерик, телега, коровка, два подсвинка, куры, голуби, самогонный аппарат, ручная мельница, ступа — пшено толочь, трепалка для конопли и батрачка. Твердый план хлебозаготовок выполнили, но в соз, который еще осенью тут пытались основать, вступить отказались, хозяйствуют сами, политически неблагонадежны. Этим летом побывали в глинской тюрьме. Такая характеристика наверняка произвела бы впечатление на любого уполномоченного, составлял ее Бонифаций наперекор председателю с намерением скомпрометировать посредством родственников самого Панька Кочубея и когда-нибудь занять-таки председательский пост. Панько Гарехтович заерзал на лавке, когда Клим Синица читал об имуществе его родичей: он почуял коварную руку хитрого Кармелита. А самого Клима Синицу такая придирчивость Бонифация просто возмутила.

— Он забыл вписать сюда разве что мышей,— сказал уполномоченный райкома и ткнул список под нос Кочубею.

То, что Панько там увидел, заставило его схватиться за голову. Последним в списке на обложение «экспертом» значился — кто бы вы думали? — Сам Панько Кочубей. Председатель! Это уже и впрямь была ирония судьбы. Однако, к величайшему изумлению Кочубея, список был подписан им и переправлен в Глинск.

Панько прочитал написанное о себе, то есть приписанное Бонифацием уже после того, как он поставил здесь свою славную фамилию: Кочубей! Ничто так не ласкало его душу, как собственная подпись! Но выше нее стояло: «Зарабатывает на боровках, скопил огромные деньги, но не тратит их до поры, ждет лучших времен. К богачам относится благожелательно, обхаживает их, а они его, потому как он есть председатель и всему голова в нашем Вавилоне, как в былые времена». Больше текста до подписи не вместилось, но и этого хватало, чтобы Кочубей побледнел, как смерть. Он поискал глазами Савку, хотя тот сидел совсем рядом, в углу, на бадейке для воды, и шепнул ему:

— Мигом Бонифация! Мигом эту бестию сюда!

— Как же его сюда, когда у него в хате роды. Зося переходила две недели.

— А ты откуда знаешь, что переходила?

— Бонифаций сказал. Сына ждут...

— Все равно зови его, каналью.

Савка выбежал.

Клим Синица заставил братьев написать заявление, в котором они оба обязывались отныне считать Даринку равноправным членом семьи и владелицей третьей части имущества, так скрупулезно описанного Бонифацием. Синица радовался этому своему решению и велел председателю довести его до сведения Даринки, но Кочубей сейчас думал о себе — как же тут не думать, когда все накалено, а рядом такая бестия, как Бонифаций.

Дверь приотворилась, в ней показались рога, а потом и голова с жидкой бородкой. Вошел козел. Он наведался перед тем в чью-то торбу с овсом, несколько зернышек прилипло к его влажной ноздре, и теперь он пытался слизнуть их.

— Это еще что за субъект? — спросил Синица, не узнав его (Фабиан сменил на зиму масть).

— Тоже одна из жертв Бонифация,— глубокомысленно проговорил Панько Гарехтович.— Движимое имущество Левка Хороброго. Странно, что и о нем не написано... здесь. Ну, да что писать, износилась скотина в лоск, стар уже, никуда не годен. Никаких до-

ходов у Левка Хороброго от него нет. Был конь, да изъездился...

Гость подошел к бадейке, которая летом стояла в прохладных сенях, а зимой здесь, отсунул мордой деревянную крышку, служившую Савке сиденьем, и, вволю напившись после овса, зашагал в самый теплый угол, возле печки, где любил лежать во время собраний, медленно опустился на передние колени, улегся и тут же погрузился в дремучий сон.

А между тем дело дошло и до самого Бонифация. Его имущественный ценз, злонамеренно преувеличенный, как и надлежало, Паньком Гарехтовичем, давал основание приписать секретарю сельсовета соответствующую цензу немалую сумму. Но тут вбежал запыхавшийся Савка и, захлебываясь от собственного смеха, сообщил, что у Зоси только что родился мальчик. В честь отца его уже назвали Бонифацием. Это сразу меняло положение, и даже фининспектор из Глинска не настаивал, чтобы Бонифация Лясоту обложили «экспертом». Не настаивал и Панько Гарехтович, смекнув, что после секретаря очередь дойдет и до председателя. А ведь его заработки хорошо известны фининспектору, не говоря уже о Климе Синице, у которого были о них еще более конкретные представления.

Потом подошел и сам Бонифаций, торжественный, взволнованный, даже несколько смущенный появлением на свет еще одного Бонифация. Клим Синица поздравил его, пожал ему руку и фининспектор, но не за сына, разумеется, а за ценные сведения о вавилонянах. И только Кочубей при появлении Бонифация так отпрянул, что чуть не отломил спинку кресла, на котором сидел. Потом смерил своего секретаря едким взглядом и обратился к Синице:

— Если мы когда-нибудь останемся без сала, то из-за него. Отныне обещаю вам, мой нож не коснется ни одного боровка. Пускай Вавилон плодит кабанов. Пускай.

— Успокойтесь, я еще не все о вас написал... Не все, Панько Гарехтович.

— Нет, вы видите, с кем я должен служить?

— С кем? — спросил Бонифаций.

— С Кармелитом! — выпалил Кочубей.

Бонифаций хлопнул дверью.

Однако на крыльце его встретили со всех сторон таким шипеньем, что пришлось отступить в сени. Со двора закричали:

— Вот кто нас продает!

— Выходи, Кармелит! Не прячься! Все равно не спрячешься!

— Шкура вавилонская!

— Антихрист!

— Граждане! — напомнил о себе милиционер в полушубке.— Тихо! Здесь вам не сход!

Еще Савка привел Скоромных, отца с двумя сыновьями. Они держались кучкой, ни с кем не заводили разговоров, им понадобилась бы не одна ночь, чтобы вжиться в эту тревожную, непривычную атмосферу, и, когда их позвали в сельсовет, они бежали так кучно, словно это был один человек. Такого единения душ вавилонская природа еще не создавала, это был, пожалуй, первый случай. А когда они вернулись на крыльцо и кто-то из толпы спросил:

— Сколько? — все трое замахали руками и сразу же заторопились домой. Под ними даже снег пищал, как под одним человеком.

Потом Бескаравайные, Пирнякозы, Валахи, Журавские, Буги, Чапличи — Савка водил их до самого рассвета. Бонифаций ничего не пропустил в их доходах, вписал все движимое и недвижимое, подсчитал их достаток лучше, чем они сами сделали бы это, и теперь должен был стоять в сенях, за дверью, долговязый, одинокий, но справедливый равно к родичам и неродичам, к православным и католикам, к богатым и бедным. Лишь когда двор опустел, он вышел из своего убежища и потащился домой, чтобы присутствовать при первом купании. А Паньку Кочубею и вовсе туго пришлось, он чувствовал, что в эту ночь власть над Вавилоном выскальзывает из его рук, как боровок-переросток, с которым одному не управиться.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Бубела полагал, что он стал жить на свете не с рождения, а с тех пор, как приобрел хуторок, затерянный в степи между Прицким и Вавилоном. Добился он этого благодаря двум людям: Текле, богатой девке из Козова, с которой пригнал в Вавилон неболь-

шую, но достаточно мохнатую отару овец, как раз созревших для стрижки, неошинованную телегу и впряженного в нее коня, однолетка Текли — конь вот-вот должен был помереть в Козове от долголетия и тесть дал его сверх уговора, только для того, чтобы сам Киндрат не впрягался в воз и не пер его самосильно в спесивый Вавилон,— и царскому министру Столыпину, при котором хозяйство Бубелы и вовсе пошло на лад. Полученный в приданое конь пережил Теклю, она умерла от первых родов. А Столыпина убили в Киеве, Бубела ездил на похороны министра от Вавилонской волости, по Текле так не плакал, как по нему. После панихиды он пошел в Лавру помолиться богу за свой хутор, там высмотрел монашку Парфену, хорошенькую, стыдливую, а душой нежную, как утренний ветерок над хутором, уговорил девушку, что его хутор — посреди поля, посреди неба, посреди света — станет ей, если она захочет, и домом, и монастырем. Парфена согласилась, девушке опротивел Покровский монастырь, куда родичи спровадили ее силой. Наняли на Евбазе возчика, тот оказался родом из Глинска, и за три дня Бубела привез Парфену на хутор, привез ночью, и с тех пор редко кто в Вавилоне видел новую жену Бубелы. До революции он прятал ее от пана Тысевича, в революцию от офицеров и сотников, позднее скрывался с нею от всего Вавилона, полагая, что там теперь народ пошел без царя, легкомысленный и ненадежный. А Парфена — уж не за то ли, что оставила монастырь? — была наказана бесплодием. Бубела смирился с этим, а когда совсем постарел, ощутил неуемную нужду в наследнике, заставлял Парфусю, как он ее звал, пить разные зелья, привозил к ней из Каменца знаменитого знахаря, который намекнул разными притчами, что дело в самом Бубеле, пусть, мол, попробует дать жене волю, тогда все образуется, ежели, конечно, монахи не убили в ней плоть какими-либо снадобьями. Тогда и сам бог Саваоф, именем которого все это творилось, не поможет.

Овцы плодились как заведенные. Бубела не знал, куда девать шерсть и сало. Парфуся не старилась ни на один день, штамбовые тополя росли вокруг хутора, как из воды, с каждым годом все надежнее скрывая от мира его маленькое царство, в садках выводились караси, в хлевах грызлись свиньи; Бубела тайно

держал несколько девчонок-работниц из Прицкого, они ночевали в овине на соломе, и к ним все лето ходили на вечерницы вавилонские парни, заодно норовя выманить монашку, но Бубела не выпускал ее из крепких объятий даже во сне, боясь, что она родит ему от тех парней что-нибудь легкомысленное и труд многих лет, его «царство» падет от руки слабодушного наследника. Пусть уж лучше все достанется Парфусе, когда он умрет, а умрет он скоро, его доконает удушье, трубку свою он уже почти всегда сосет пустую, изредка только курнет табачку. А тут вдруг еще одна нежданная напасть. Подрос на хуторе бычок, красавец писаный, из Вавилона, из Прицкого, все водят и водят к нему коров, текут денежки чистые и даровые, как водица. Перед тем как вывести быка, Бубела затворяет в хате ставни. Потом отдает Парфусе выручку и всякий раз смеется сдавленным грудным смешком.

Для хутора солнце всходило в Прицком, а заходило в Вавилоне. На востоке был Федор Майгула, котовец, к нему Бубела подбирался исподволь (то барана завезет, готовенького, освежеванного, то к празднику сбросит с телеги связанную индейку), а на западе хранил его от беды сам Кабанник — Панько Кочубей, которого он, в сущности, и поставил над Вавилоном, селом «скверным и непослушным», подлым своей извечной бедностью, своими хатками, которые жались одна к другой, своими извилистыми улочками, которые сверху казались еще уже, чем были. С тех улочек немногие выбились в люди. После последнего пожара Вавилону удалось отсудить у Тысевича несколько клочков земли, кое-что скинул на погорельцев и капитан Серошапка, только и всего богачей, что на этих клочках, а прочее все мелюзга, гольтепа, вечные рабы погони за куском хлеба.

Бубела шептал молитвы, которым когда-то обучила его Парфуся, сама переставшая молиться и, пожалуй, потерявшая веру в отца и сына и духа святого. Всем этим стал для нее Бубела, его она называла «отец», он был здесь и богом, и игуменом, и палачом, хотя за все годы ни разу не поднял руки на жену, не сказал ей поганого слова, даром, что ей хотелось, чтоб муж хоть раз побил ее или обругал. Когда он костил быка или прицковских сезонниц, Парфуся слушала с зави-

стью. Его утонченная старческая нежность терзала ее больше, чем смех парней в овине возле прицковских баламуток.

Две тысячи обложения Бубела искал на хуторе так, словно их могли спрятать там еще арендаторы Серошапки — это когда-то была капитанская земля. Вскакивая ночью, одевался и пропадал до самого рассвета, а когда возвращался, сокрушенно говорил: «Нету, Парфуся, двух тысяч. Придется продавать хутор либо брать взаймы веревку у Пелехатого. Всякий раз, как зайду в ветряк, так и тянет меня туда же...» Была еще кое-какая надежда на Майгулу, но и ее вскоре не стало. Майгула отказался от посредничества, он назвал Синицу Робеспьером. Такой же, мол, неподкупный фанатик. Услыхав это имя, Парфена сказала, что у них в Покрове такого святого не знали, это, наверно, католик, а она знала только православных великомучеников, в которые лез и Бубела, это она поняла, еще когда старик вернулся после следствия из Глинска. Он тогда сказал: «Я уже стар, мне терять нечего, буду с ними биться. Если погибну, то, где бы меня ни схоронили, найми людей, выкради мой прах и перехорони здесь, на хуторе. Камень на меня не клади, пускай прорасту травой и буду шептать тебе вечерами. Хе-хе, моя ягодка, я еще сильный, меня немец не зарубил и эти не зарубят... У меня два Георгия от царя и чин сотника от гетмана Скоропадского. Об этом ни гугу. Когда гетмана скинули, а нас разбили под Житомиром, я возвращался оттуда еще с одним, был такой в Прицком Тихон Дорош, тоже сотник, так я его, прости господи, на ночлеге...— Бубелу передернуло.— Тихонько, чтоб свидетелей не было... Та вон Настя, сероглазая, что приходит к нам на подработки,— его дочка, отчим у нее никудышный, лодырь, комбедовец, спрашиваю ее как-то, что об отце слыхать, говорит: ждем. А я думаю: во, во, ждите, дождетесь... Мы переколошматили друг дружку ради этой земли, которую теперь хотят у нас отнять... А что мы без нее?..»

На следующую ночь он снарядил крылатки — легкие санки с дугой — и поехал в Вавилон. Парфуся перекрестила его на дорогу, догадывалась, что поездка могла быть для него важная: либо он вернется Бубелой сильным, как до сих пор, либо сойдет на нет, и тогда от него можно ждать чего угодно. В отчаянии

он может поджечь хутор и пойти по миру. Бубела из тех, кто ни перед чем не остановится.

Когда Бубела тайком пошел в гетманцы, а хутор оставил на нее, Парфена знала, как действовать. Она наняла вавилонского парня, и притом совсем недорого, по червонцу в месяц на ее харчах. Этим парнем был Данько Соколюк. Ему тогда чуть перевалило за двадцать, он еще не знал ни конокрадства, ни женщин; на первых порах стеснялся глянуть на хозяйку, ночевать ездил домой, но, когда началась жатва и они стали с ним на полосу — Данько косил, а она подбирала,— с парня как-то разом сошла вся добродетель, он не выходил с хутора по неделе и по две, а вскоре и совсем забросил свой дом, только мать приходила забирать у Парфены заработанные сыном деньги. Осталось разве что обвенчаться, но вернулся Бубела, и с документами чоновца, которые хранит по сей день. Он прогнал Данька, не заплатив ему за последний месяц. Парфуся ходила печальная, она еще долго любила этого парня, до тех самых пор, пока не прикачала его себе на качелях Мальва Кожушная. Парфуся никогда не видела Мальву, но слышала о ней от самого Бубелы, он говорил, что Мальва — чудо, для нее Данько Соколюк только игрушка, изо всех вавилонских мужиков один он, Киндрат Бубела, мог бы держать такую в покорности и чести, достанься она ему смолоду.

Бубела был когда-то красив и силен, но хутор высосал из него силу. Парфусе уже за сорок, а Бубела разменял седьмой десяток. Когда-то эта разница в годах была незаметна, а теперь приносила обоим много горечи и разочарований. Парфуся еще порывалась жить, а он уже жил только для хутора, держал жену все строже, даже перестал брать ее с собой в Глинск на ярмарку, где прежде вавилоняне могли видеть монашку. Чем меньше было свободы, тем настойчивее Парфена думала о ней. Но с годами хутор становился для нее тем же, чем он был для Бубелы, а свобода, не отгороженная от мира стройными тополями, утратила свой прежний смысл.

Почудилось Бонифацию или и впрямь кто-то всю ночь бродил вокруг хаты? Зося с вечера поставила те-

сто, а Бонифаций вставал рано, может, раньше всех в Вавилоне, ну и пошел в овин за соломой, чтобы вытопить печь. Зося прислушивалась, она всегда открывала мужу дверь, когда он возвращался с громадной вязанкой, но на этот раз так и не дождалась. Надела шлепанцы, выбежала во двор, который еще спал в белых сумерках, окликнула:

— Бонифаций!

Только ветер скрипнул приотворенными дверьми.

В овине было темно, и Зося распахнула их в тревожном предчувствии, отворила обе половины и увидела посреди овина Бонифация с околотом. На него, очевидно, напали, когда он уже взваливал вязанку на плечи, и задушили нашильником.

Панько Кочубей и весь Вавилон стояли на том, что в Кармелите заговорила совесть и он удавился сам. Никому не хотелось снова отправляться в Глинск на следствие. Но Зося, выбежав из овина, собственными глазами видела сани, петлявшие по верхнему Вавилону. Это бежали убийцы Бонифация... Потом кто-то сказал, что Фабиан уже давно снял с него мерку. Это могло пойти и от Бубелы — он один знал о зарубке для Бонифация в лачуге гробовщика. А еще вспомнилось кое-кому, как тогда, в Глинске, Кармелит поднял руку на Бубелу. «А это не прощается!» — шептались на похоронах. Закопали Бонифация на пустыре, где хоронят самоубийц. На этом настояли вавилонские богатеи. Бушевала страшная метель, дороги замело, нельзя было добраться ни в Глинск, ни оттуда, чтобы заступиться за мертвого. А в Вавилоне заступников не нашлось. Кажется, никто, кроме Зоси, и не всплакнул по усопшему, потому что хоть он и был честный человек, а добра никому не сделал ни на маковое зернышко. Его скупость превышала все известное до сих пор, он даже дома, для себя самого все отмеривал и взвешивал на безмене. Копеечки не пропил ни один, ни в компании, а чужое добро и чужие деньги привык считать, как и свои собственные. И если он вез осенью в Журбов свеклу, а кто-нибудь застревал или опрокидывался на дороге, Бонифаций объезжал потерпевшего, следя лишь за своим возом. Зато все, что другие теряли, подбирал и клал к себе на телегу. Зося потом прикидывала, что, если бы ему самому пришлось распрощаться со всем приобретенным и пойти в колхоз,

то он бы скорее повесился. А помимо всего этого он был еще и жесток. Зося боялась уже одного его взгляда. Но — земля ему пухом — погиб он все равно безвинно и преждевременно, да еще и страшной смертью, а ведь втайне мечтал править Вавилоном, поверяя свои мечты лишь Савке да Зосе. Савка смеялся, ему-то что — правь! — а на Зосю эти притязания нагоняли страх.

Клима Синицу слушали на райкоме по заявлению Бонифация, теперь уже посмертному... Тот упрекал уполномоченного в мягкости, проявленной к жителям. По решению райкома в Вавилон прибыл сам заворг Рубан, о котором говорили, что он человек решительный, горячий, но справедливый. Рубан признал все действия Клима Синицы как уполномоченного райкома законными и оставил их в силе, только вот в отношении Петра Джуры Синица был, пожалуй, излишне суров, но Рубан и тут мог понять коммунара.

Вавилонские богатеи были в отчаянии, боялись, что смерть Бонифация падет на них, днем на людях не показывались, вечером засиживались то у Раденьких, то у Павлюков, то еще где-нибудь, рассылали своих людей по другим селам — в Прицкое, в Козов и в самый Глинск. Всюду одно и то же, только налоги еще больше, еще непосильнее, беда надвигается на хозяев со всех сторон.

Квартировал Рубан у матери Мальвы Кожушной. Сам небольшого роста, смуглый, в Глинске у него старушка мать и больше никого. Поэтому Вавилон сразу же принялся искать ему пару, стремясь заиметь в Глинске хоть одно влиятельное лицо. Однако Антоша (так здесь начали звать его с легкой руки старухи Кожушной) не за этим приехал в непокорный Вавилон. Властью уполномоченного он сместил Панька Кочубея, как кулацкого прихвостня, продавшегося за боровков, о чем писал Бонифаций, и до выборов принял обязанности председателя на себя.

В первый сочельник, когда весь и католический и православный Вавилон сидит дома и хлебает кутью, кто на сахаре, а кто на меду — а у нас еще и орехи клали в это божье яство, и пахло оно тогда несравненно, такой кутьи, верно, и сам Христос не пробовал,— прибежал Савка Чибис, весь в снегу, чем-то

встревоженный, отказался сесть к столу, за которым собрались все Валахи, только несколько блинчиков выхватил со сковороды, постудил на красных от мороза руках, проглотил, почти не жуя, и сказал отцу:

— Председатель вернулся из Глинска, у него срочное дело, чтоб вы были тотчас в сельсовете! — Предупредил: — Никому об этом вызове ни гугу. Тайная вечеря.— Засмеялся и побежал от нас к Лукьяну Соколюку.

Отец одно время был в продотряде, имел неосторожность сказать об этом Рубану, тот пристыдил его, заявив, что ему никак не пристало прятаться в «мерзейших» середняках. Тогда отец написал заявление в соз, который должен был показать себя с наступлением весны, отдал Рубану заявление, а вместе с ним и свою середняцкую судьбу, вызвав нарекания соседей, а прежде всего Явтушка, который боялся соза пуще чумы.

— А, будь он неладен, уже и в сочельник дергает христианские души,— сказала мать, подавая отцу горшочек в белом узелке и половину грушевых ложек из припасенных для кутьи, совсем новеньких.— Пускай твои антихристы кутьи господней отведают, чтобы Вавилон хоть в этот вечер не проклинал вас.

Отец колебался, брать ли кутью, но взял и ее, и ложки рассовал по карманам, потом пошептался о чем-то с матерью в сенях и ушел.

Рубан уже был в сельсовете, чистил закопченное стекло от лампы и, кажется, нисколько не удивился горшочку с кутьей, поставленному отцом на стол.

Но когда отец стал выкладывать ложки, Рубан окончательно сообразил, что кутья взята не для маскировки—дескать, идет человек на ужин к родичам,— а на полном серьезе, чтобы здесь, в сельсовете, под портретами революционеров, сочельник справлять.

Отец взял горшочек обеими руками, поднес Рубану к самому носу.

— А ты понюхай. На меду, с орехами...

Рубан понюхал, чудесный аромат ударил ему в ноздри. Но он все же сказал:

— Ешь сам. Мы, коммунисты, на божественное не падки.

Отец завернул горшочек в платок и поставил в углу на пол, должно быть собираясь захватить потом обратно домой.

Пришел Петро Джура, весь пропахший своим трактором, полушубок в масле, руки тоже не отмытые, поздоровался, снял шапку, занял место на лавке, чтобы не стоять, когда соберутся все созовцы.

— Сегодня польский сочельник,— сказал Джура, глянув ненароком на горшочек в углу.— В Вавилоне пахнет кутьей, блинами и рыбой, а у меня уже третью ночь трактор не заводится. Как я сказал ему, что теперь он созовский, он сразу и на дыбы,— и Джура засмеялся.

— А зачем было говорить наперед? — отозвался Рубан.

Он протер стекло, поставил его на пузатую жестяную лампу, подтянул фитиль, в сельсовете сразу стало светлее. Посветлело и на душе у Джуры, а то в темноте ему все мерещилась Рузя, с которой снова неладно — каждую ночь она приходит на его половину, подолгу рассказывает кошмарные сны. У безумной, известно, и сны безумные.

— Позавчера, да, кажись, позавчера,— сказал Рубан,— приезжает сюда этот матерый волк Бубела и давай доказывать, что его хутор лежит ближе к Прицкому, чем к Вавилону...

— Брешет! Хутор ближе к нам!..

— Хутор-то ближе к нам, это я и сам знаю, да вот Федор Майгула, верно, хуторянину ближе, чем мы.

— А ведь котовец!

— Ну, что ж, видать, и котовцы не все котовцами остались. Оброс Майгула родичами, кумовьями, слушали мы его недавно в райкоме.

— А куда денешься,— сказал Джура.— Жизнь!

— Вот этот кум и пришел сюда, чтоб отписали его к Прицкому сельсовету...

— И вы отписали?

— Пожалуйста, говорю ему, только без хутора...

Джура так расхохотался, что Лукьян, как раз в эту минуту взошедший на крыльцо, невольно остановился

за дверью. Ему казалось чудно, что Джура так быстро сдался, подал заявление в соз и даже подружился с Рубаном. Конечно, в созе нужны такие, как он, человек на тракторе! Но раскрывать свою душу перед ним Лукьян побаивался, вот только не знал, как остеречь от этого Рубана, у которого со всеми душа нараспашку. Лукьян вошел, едва удержался, чтоб не сказать «с праздником», но только поклонился и поставил на стол горшок в узелке, чуть побольше того, что уже стоял в углу.

— Кутья от Даринки,— сказал он Рубану и принялся выгаскивать из карманов ложки — новенькие, грушевые, точь-в-точь как у Валахов, с одной ярмарки, а может, и с одной груши.

Рубан рассмеялся, но, видя, как смутился Лукьян, сказал примирительно:

— Давай, давай, выкладывай!..

А ведь не все еще будущие созовцы собрались, Савка еще метался по Вавилону...

Каждую субботу Рубан ездит советоваться к Климу Синице, иногда ночует там и возвращается поутру. Синица всякий раз перечитывает ему письмо от Мальвы Кожушной, верно, влюблен в нее, а Рубану чудно и непонятно, как можно любить женщину, которая, в сущности, сбежала от тебя бог знает куда?

Странный человек Клим Синица, всю зиму его коммунары отсиживаются без дела, только присматривают за скотиной и чистят зерно, а вот он, Рубан, заставил бы их шить, прясть, драть перья, варить сыр, ладить лодки на продажу — есть из чего и есть кому, довольно сидеть на шее у коммуны. С тех пор как он повадился туда, там стало вроде беспокойнее. Пригласили сыровара, правда частника, но бес с ним, пусть варит сыр, пока Мальва вернется с курсов. На сыре не написано, что его частник варил. Пустили лесопилку на локомобиле, пошли первые доски, к весне задумано открыть кирпичный завод, дворец не вмещает всех коммунаров, надо выстроить рядом что-нибудь пристойное, чтобы не стыдно было показать окружающим: вот вам коммуна.

Клим Синица, может быть, в меньшей степени, чем Тесля, но все же смотрел на коммуну, как на далеко

идущий эксперимент с точки зрения мировой революции, а Рубан своим практическим умом видел в ней нечто вполне сегодняшнее, необходимое для данного момента. Он тайком мечтал уже и о вавилонской коммуне, представлял ее лучше, чем где бы то ни было, именно здесь, на Татарских валах; ему хотелось чего-то грандиозного, всеобъемлющего, с миллионом десятин поля и тысячами коммунаров. Выстроить бы город на месте, где теперь Вавилон! И страшно было подумать, что этот грандиозный план придется начать почти с ничего, с какого-то десятка единомышленников, собравшихся здесь.

И он размечтался перед ними в сочельник, пока Савка Чибис, пристроившись в уголке, уминал кутью, принесенную на всю честную компанию.

Отец вернулся тогда поздно, выложил ложки из карманов и, раздевшись, один принялся за господне яство.

— Созовец несчастный! — бросила мать с печи.— Последний горшок готов вынести из дому. Где ж посуда?

— Принесу.

Он не стал креститься после кутьи, как, бывало, раньше, в другие сочельники.

Левко Хоробрый, которого зима застала разутым, вот уже целую неделю шил себе сапоги у окошка и несколько раз наблюдал незнакомого человека на Татарских валах. До сих пор ему не в чем было выйти к посетителю, в соломенных чунях не хотелось выбегать, а тут он как раз стачал сапоги, снял с колодок, скоренько обулся, накинул суконную зеленую чумарку, подаренную Зосей за гроб для Бонифация, и вышел.

— Куда это вы все смотрите? Я вас уже не раз тут видел. Дай, думаю, выйду к человеку, позову в хату.

— А вы кто? — Рубан (это он был для Левка незнакомцем) подозрительно глянул на чумарку и новые сапоги, от которых еще пахло дратвой. Кажется, он уже где-то видел этого человека, правда, без чумарки. Не в Глинске ли?

Владелец чумарки усмехнулся.

— Известно, вавилонянин. Фабиан по-здешнему.

— А какой Фабиан ходит пить воду в сельсовет?

— Мой козел. Его тоже зовут Фабианом.

— Прекрасное животное.

— Козел как козел. Просто я привык к нему. Ночью плохо вижу, так он иногда провожает меня домой. В этом он незаменимый товарищ. А вы уж не Рубан ли?

— Он самый.

— А я думаю, что это вы все смотрите на Прицкое? А вы и есть тот самый Рубан, что был когда-то в Прицком. Ну, как вам тут, в Вавилоне?

— Вавилон не Прицкое.

— Был я у них на престольном празднике, познакомился с председателем. Большой человек Майгула.

— В каком смысле?

— Никакого притеснения в селе, полная свобода.

— Для кого?

— Для всех.

— Тогда это просто анархия.

— А вам хочется диктатуры, да? Здесь диктатура Бубел, Павлюков, Раденьких. Была и есть... У кого деньги, земля, тот и правил Вавилоном. Один я живу, как хочу. Поля у меня нет, семян у кулаков не занимаю, налоги не плачу, живу себе, как Сократ в Риме.

— Сократ жил в Афинах. При Перикле.

— Тьфу ты, все перепуталось.

— А почему нет поля?

— Отказался. Не хотел становиться рабом земли. Помните, что карфагенский ученый Магон сказал о земледелии?

— Знаю. Читал у Синицы. На стене...

— А я вот читаю теперь библию... Перечитываю...

— Зачем?

— Как занесет мою лачужку, читаю, пока не придут и не откопают меня. Боятся, чтоб я не замерз.

— Интересно живете, Фабиан. Можно глянуть на ваше жилище?

— Пойдемте. Я, правда, не один. Родственница у меня. Принесла кое-что, чтоб я не помер с голоду, я уже неделю не спускался вниз, так она, дай ей бог здоровья, выручает. Вдова Бонифация, Зося. Может, знаете...

— Того самого Бонифация?

— Ну да, того самого. Она наведывается к Бонифацию, а заодно заходит ко мне. Все думаем, как Бонифация перехоронить на кладбище. Чтоб душа его была поближе к людям.

— Разве это так важно?

— В Вавилоне? Ужасно жестокий народ... Все помнит, ничего не прощает...

Едва приоткрыли дверь, как Фабиан спросил:

— Зося, разве ты никогда не видела Рубана?

— Один раз. И то мельком...

Ее сапожки стояли на полу, а сама она грелась на лежанке, маленькая, смуглая, с аккуратно причесанными волосами. Лицо ласковое, милое, с глаз еще не сошла печаль. Бонифаций привез ее из Дахновки еще до землеустройства, здесь ему не нашлось пары, все привередничал.

Зося встала, обулась на босу ногу, подбросила в печь подсолнечную ботву, которую ломала на голом колене. Фабиану казалось, что она внесла в его пустое жилище уют, а может быть, это делал за нее огонь в печи, который она ухитрялась поддерживать, даже когда все трое сели за верстак, служивший здесь столом. Стружки с верстака не все были сметены, и Зося принялась прибирать их. Вдруг в руки к ней попала чуть ли не самая длинная, без начала, без конца, и она подумала, что это могла быть стружечка от гроба Бонифация, он ведь был высоченный, как и все кармелиты. По свидетельству Фабиана, в этот орден не принимали низкорослых, дескать, один коротышка может бросить тень на весь орден. А Рубан был низкого роста, но крепкий, жилистый, с чернющими глазами на чуть широковатом, скуластом лице и смеялся громко (Фабиан придавал большое значение тому, как человек смеется).

Освободив верстак от стружек, Зося выложила на него пироги с горохом, выставила четверть, заткнутую белым лоскутком, отыскала в посудном шкапчике три чарки. В одной была высохшая муха на дне, наверно, когда-то упилась вусмерть. Зося выбросила ее, сполоснула чарку водкой, которую потом выплеснула в огонь, так что в печи вспыхнуло синее зарево. Рубан пил наравне с остальными, пил не глотками, а единым духом, хвалил Зосины пироги с горохом и чесноком, захмелел, сгоряча пообещал Зосе перехоронить

Бонифация. Фабиан при этом заметил, что лучше перехоронить сейчас, пока земля над гробом не смерзлась. Зося расплакалась не то от расстройства, не то от водки, потом они запели вместе: «Гей, забелели снега, забелели белы...» На песню пришел козел, постучался рогами в дверь. Когда Зося открыла ему и он вошел, то первым делом обнюхал Рубана, а потом уставился на пироги. Ему предложили один, но козел не стал есть, он не терпел чесночного духа. Так и лег возле печи на полу и задремал под потрескивание огня, хотя и побаивался, как бы хозяин не оставил его одного в доме.

На Татарских валах вечерело, когда они, все четверо стали спускаться вниз. Рубан поддерживал Зосю под руку, за ним петлял Фабиан, а уже за Фабианом совсем трезвый козел. Эти послерождественские вечера тихи, хороши, весь вавилонский люд высыпал к плетням, Фабиан здоровался налево и направо, все узнавали на нем чумарку зеленого сукна с плеча Бонифация, тихонько бранили Зосю и Рубана.

— Тогда все, стало быть, падает на Вавилон! — возмущалась какая-то женщина с полными ведрами на коромысле. Это была Палазя, злющая и крикливая баба, родная сестра Матвия Гусака. Ее мужа Харитона убили в семнадцатом на империалистической войне, она жила одна, вторично выйти замуж не сумела или не захотела, хотя имела добрую отару овец, лошадь, корову, жила бездетной.

Она поставила ведра на дороге, козел хотел хлебнуть из одного, но был наказан коромыслом. Прогнав козла, Палазя схватила ведра и стремглав понеслась домой. Верно, что-то надумала, сообразил козел, решив выместить нанесенную ему только что обиду на ее овцах, если даст бог дождаться лета. Он догнал Фабиана и подставил ему рога, чтобы тот тверже шагал и не обращал внимания на ничтожных вавилонян.

Фабиан с козлом и каждый из них в отдельности частенько бывали у Бонифация в хате и раньше, а Рубан зашел впервые. Маленького Бонифация укачивала какая-то старушка, одна из тех бездомных старух, которыми кишел Вавилон. У них ничего не было, и они за всю жизнь ничего не приобрели, нанимались присматривать за чужими детьми, драть перо, прясть, если пальцы могли еще вертеть веретено, а то и просто

просились погреться день-другой. Бабуся пела Бонифацию колыбельную, и когда захмелевшая компания ввалилась в хату, напустив страха и холода, старушка, увидав козла у самой люльки, перекрестилась.

Зося усадила гостей, велела бабке подавать ужин, а сама взяла из люльки Бонифация и присела с ним на стул.

— Не плакал?

— Нет, нет! — крикнула старушка, готовя запасной светец, чтобы идти в чулан.

Зося накормила младенца, положила в люльку, подвешенную на веревочках, попросила Рубана укачать малыша, взяла миску и в одной кофточке побежала в погреб. Принесла антоновок в капусте, сказала:

— Никто не умел так солить, как Бонифаций, все уполномоченные из района ели его соленья, а вам, товарищ Рубан, придется попробовать сейчас его антоновку, в погребе есть еще непочатая бочка, и вообще Боник любил наготовить всего на зиму и на весну.

Бабка на это согласно закивала закутанной в белое головой: а как же, так, так, она только что видела в чулане два мешка крупчатки, бочонок сала, несколько десятков венков чеснока и лука на колышках, громадные пачки турецкого табаку, а ведь еще есть каменный погреб, овин, дровяник, хлев. Сколько еще там добра! Бонифаций любил запасать, глядел на большие достатки завидущими глазами и сам мечтал разбогатеть.

Старуха упилась первой же чаркой и ушла на полати спать. Козла (ему перепало несколько антоновок) спровадили в сени. На счастье, в сенях лежала опрокинутая соломенная корзина из-под муки или зерна, Фабиан забился туда, угрелся и заснул. Философ облюбовал себе лавку (он сам эти лавки делал и частенько сам на них спал). Гостю Зося уступила кровать. Она помогла ему снять сапоги и, кажется, поцеловала в лоб — Рубан точно не помнил,— а сама, убаюкав маленького Бонифация в люльке, улеглась на печи. Фабиан храпел на лавке. Рубан спал тихо, только Зося все просыпалась к ребенку. Могла бы зажечь светец, но боялась: окна не завешены, со двора все видно, под окнами кто-то бродил, уж не сам ли Бонифаций? Рубан красивый, лохматый, очень приятно смеется, ноги у него не пахнут потом, портянки белые, как пла-

точек у Бонифация, ишь, как ухаживает за Рубаном старуха Кожушная. И зовут славно — Антон, по-домашнему — Антоша... Ему за тридцать, а Зосе до тридцати еще далеко. Через месяц-другой, если захочет, пусть переходит сюда хоть квартирантом, а хоть и просто так. Зачем платить Кожушной, когда тут все готовое... Так размышляла Зося на печи, а под окнами все кто-то топал и топал. Зося с детства боялась умерших и сейчас не могла уснуть, все вслушивалась в эти шаги. Когда укладывала Рубана, он что-то спрятал под подушку, может, разбудить его, пусть пойдет проверит. Старики говорят, что Бонифаций будет приходить, пока не перенесут его с пустыря на кладбище, к отцу и матери. Утихло, третьи петухи прогнали несчастную душу. Зося дотронулась кончиками пальцев до спеленатого ребенка — он был тепленький — и, вернувшись на печь, уснула настороженно, как всякая мать.

Разбудил ее голос, раздавшийся не то на выгоне, не то во дворе. Позабыв о своих ночевщиках, она метнулась с печи, подбежала к окну, до половины заложенному завалинкою. Вскочила и старушка, зашептав молитву от напасти.

Странно, что бы тут делать Раденьким, Матвию Гусаку с двумя дочками-перестарками, Сазону Лободе с хутора? Тут были и старые и малые, все сбились в кучу. Явтух с благочестивой тихой Присей. Несколько неизвестных на санях, не то из Прицкого, не то из Козова, раньше Зося никогда их не видала.

Заметив ее в окне, какой-то парнишка в заячьей шапке заорал, точно ему наступили на мозоль:

— Зося, Зося в окне!

Там поднялся хохот, шум, а Зося все еще не могла сообразить, что бы это могло значить. Раденькие в одинаковых рыжих полушубках и шапках решетиловских смушек, а девки Гусака, нарядные, будто на праздник — в шелковых платках, сапожки сафьяновые, а кожушки белые, как снег.

Сыновья Павлюка растворили ворота, и толпа поползла во двор. И тут Зося поняла, что происходит нечто весьма для нее неприятное. Она разбудила Рубана, потом почти силой стащила с лавки Фабиана, который не привык вставать в эту пору.

Рубан поспешно оделся, обулся и только потом подошел к окну.

— Выходи к людям! — крикнули ему передние.

Это походило на бунт, Рубан вынул из-под подушки наган, спрятал в карман. Те, во дворе, были без оружия, но по их вызывающим позам, по глазам, зыркающим из-под надвинутых шапок, по всей заворошке нетрудно было определить, что они сбежались сюда не с добрыми намерениями.

«Неужели захватили сельсовет?» — прежде всего подумал Рубан.

Он поискал в толпе Савку Чибиса. Исполнителя не было, верно, убили Савку и пришли сюда по его, Рубану, душу.

— Как вы думаете, что им здесь надо, Фабиан?

— Сейчас,— сказал Фабиан и сунулся к окну.

— Эй, где вы там? Выходите! Покажитесь людям и господу богу. Пусть увидят, кто правит теперь Вавилоном! — это был хорошо поставленный голос чуть ли не самого Панька Кочубея.

Они уже подошли вплотную к окнам, чего доброго, полезут внутрь.

Зося взяла из люльки маленького Бонифация, металась с ним по комнате босиком, в одной сорочке.

— Ой, господи, да что ж им от нас надо?..

Фабиан потерял очки, а без них он ничего не стоил.

А там орали:

— Выходите, вершители! Мы знаем, что вы здесь!

— Вот кто сжил со свету Бонифация! Они!

Наконец Фабиан нашел очки, вышел в сени, вытряхнул козла из корзины и, рывком открыв дверь, вытолкнул его впереди себя на крыльцо. Толпу всколыхнул хохот, козел с неприкрытым презрением смотрел на тех, из-за кого ему пришлось лишиться теплого места. За козлом вышел и Фабиан, довольно-таки помятый, но все же не лишенный философского пренебрежения к толпе. Почтительно поклонился.

— К вашим услугам! Это я.

— На черта ты нам сдался! Мы тебя знаем как облупленного.

— Рубана сюда!

Фабиан повернул голову в сторону сеней и, сохраняя спокойствие в голосе, сказал:

— Антон Иванович, просят вас.

Рубан вышел, заметно смущенный, растерянный. Толпа грозно загудела.

— Вот кто тащит нас силой в соз! С родного поля хочет согнать!

— В соз никто силой не тащит. Это организация добровольная.

— А коли добровольная, так пошел вон отсюда! Мы и сами управимся! Сами!..

— А нет, так вывезем из Вавилона на тачке, как когда-то пана Тысевича. Один черт! — выступил вперед старший Раденький, подзадоренный кем-то похитрее.

— Верните Панька!

— Панька в председатели!

— Панька Кабанника! Не надо нам второго Бонифация! Да еще чужого.

— Зосю сюда! Зовите Зосю! Пусть убирается ко всем чертям вместе с Рубаном!

Сыновья Павлюка бросились было к крыльцу за Зосей, но Рубан вынул наган и преградил им путь.

— Постреляю, гады, не посмеете поднять руку на Зосю. Довольно с вас Бонифация!

Павлюки попятились, а толпа притихла, подалась к воротам.

— Пойдемте,— повернулся Рубан к Фабиану.

Сошел с крыльца и двинулся сквозь толпу. За ним шагал Фабиан, который так или иначе послужил всему причиной: не выйди он на Татарские валы в новых сапогах, может, Рубан так никогда и не оказался бы у Зоси. Козел только теперь окончательно проснулся и шествовал гордо — он любил процессии и вообще старался не пропускать крупных исторических событий. А уж за ним потянулись конные, пешие и на санях преследователи, еще не представляя себе, куда они, собственно, идут.

— Что будем делать, товарищ Рубан? От них можно ожидать чего угодно. У Вавилона, если его разбередить, кровь горячая. Это не та Украина, что в иных местах. Тут уж если сволочь, так в самом страшном обличье. Глаза выколет и не поморщится. Бонифация убрали в один миг. Только за то, что описал их имущество до последнего гвоздика.

— Меня послали сюда не заигрывать с ними, а бороться, товарищ Хоробрый.

— В том и штука, что бороться. Но бедноты почти нет. Те бездельники небось греются на печи, а за нами топает страшный Вавилон.

Проходили мимо хаты Петра Джуры. Рузя отдернула холстинку на окне, улыбнулась на приветствие Рубана и скрылась, видно, побежала будить Джуру. Трактор он держит в хате, прорубил для него отдельную дверь в стене, спит возле него, ну прямо не хата стала, а мастерская. А когда Петро заводит машину, стены дрожат и Рузе хочется, чтобы они рухнули.

— Есть у меня один гениальный план, Антон Иванович. Если Джура согласится...

— Какой план? Бежать?

— Ну не то чтобы... а незаметно скрыться, да и...

— А-а. Возьмите у кого-нибудь коня и махните в коммуну. Дайте знать Климу Синице. Там отряд самообороны. Пусть бросает сюда. Биться так биться.

Но козел опередил хозяина. Животные чуют беду прежде, чем люди. В голове козла, всегда переполненной бесчисленным количеством самых разительных авантюр, молниеносно созрел план бегства: пойдет себе, словно бы до ветру, все ведь знают, что он никогда не делает этого на людях, а выбирает местечко поглуше и поуютнее. Он мигом обогнал Фабиана, заметив при этом, что от философа осталась одна тень, потом обогнал Рубана, который шагал с фатальным спокойствием — так идут разве что на смерть,— и уже хотел было шмыгнуть в боковую улочку, ведшую к Соколюкам, где козел, собственно, и собирался пересидеть этот исторический момент, но Фабиан догадался о намерениях хитрой бестии, несколькими прыжками догнал изменника, схватил его за бороду, которая за зиму стала заметно гуще, и повел прямехонько в сельсовет: Фабиан считал, что присутствие козла подействует на толпу сдерживающе, уже в самой его поступи есть нечто облагораживающее.

— А вы напрасно его задерживаете,— тихо заметил Рубан.

И в самом деле это был наиболее безопасный способ оторваться от преследователей. Фабиан цыкнул по-своему на козла — агысь! — так он прогонял его от стола, когда тот забывался и норовил стащить кусок, предназначенный хозяину. Козел свернул в глинище, место неприветное и зимой всеми забытое. Фабиан и

сам засеменил за ним, а уже оттуда оба они махнули куда следовало. В толпе, тянувшейся мимо глинища под гору, злорадствовали:

— Глядите, кум, уже и Фабианы его бросили. Теперь он один, как палец.

— Однако как они скоро с ним побратались. Одним миром мазаны. Обоих надо наладить из Вавилона.

— А козел— их прихвостень...

— Еще и неведомо, что он за козел,— вмешалась в разговор старая Лободиха.— Может, в нем сам черт сидит. Вы заметили, сват, что без него нигде вода не святится? На празднике он, на сходке он, пойдите на качели — и там он. Вездесущий. А потому, сват, что козел давно уж во всем с ними заодно. Святой крест!

— Это уж, сватья, такой характер. Просто скотина, да и все.

— Да ведь какая скотина! Мало того, что противный, женщинам на сносях снится, так еще и опасен. Вот поверьте сват, мы еще из-за него хлебнем горюшка.

— Наши все беды будут вон из-за кого, если не избавимся...

Это уже о Рубане, который по мере приближения к сельсовету прибавлял шагу, все настойчивее взбираясь на занесенный снегом косогор.

На крыльцо выбежал заспанный, перепуганный Савка и даже не успел засмеяться.

— Бунт?!! — и тут расхохотался, совсем обезоружив этим передних.

Рубан подождал, пока толпа остановилась и успокоилась. Еще подъехал Бубела на одноконных санках, стал в стороне, выжидал, вроде бы и не встревал в происходящее; из боковой улочки появились Данько с Лукьяном, младший Соколюк приподнял шапку, поздоровался издали с Рубаном; тихие Скоромные бежали сюда, запыхавшись, должно быть, думали, что опоздали к чему-то очень важному. Рубан обвел внимательным взглядом толпу. Савка уставился на Панька Кочубея, полагая, что все это затея бывшего председателя. Панько не выдержал его взгляда, сплюнул и укрылся за чью-то спину.

— Кто хочет говорить, прошу сюда, на крыльцо,— тихо сказал Рубан.

Принялись искать, кто бы мог выйти на крыльцо, пробовали вытолкнуть из своих рядов то того, то другого, но все уклонялись. Когда же дошло до Панька Кочубея, он раздраженно буркнул Раденьким:

— А-а, какие с ним разговоры! Не признаем его над собой, и все!

— Что с ним цацкаться?! — крикнул с лошади козовский мужик. — Вяжите его, кладите в сани да за Вавилон!

— Что же вы стоите? Вяжите! — сказал Рубан, выбросив вперед руки.— Только весь Вавилон вам не связать. Посмотрите, сколько вас тут. Горстка. А Вавилон большой. Вавилон пойдет за нами. Иначе какого черта было делать революцию? Чтобы расплодить

ненасытное племя мироедов? Нет, братцы, вы свое отжили, и не связать вам рук всему народу. А мне одному — пожалуйста...

В Рубана полетело старое погнутое ведро, лежавшее только что в снегу. Снова кто-то заорал, кажется, тот, козовский, спрыгнул с коня.

— Черта тебе лысого, а не Вавилон! Вот мы его сейчас...

Толпа заколыхалась, забурлила. Самые горячие протискивались к крыльцу...

Савка силой затолкал Рубана в сени.

— Это Вавилон, Антон Иванович. Ежели что, стреляйте! А я возьму на себя окна. Хотел бы я знать, что тут надо дохлым мухам?

— Каким дохлым мухам? — Рубан не знал, о ком речь.

— Да вон тем, чужакам. Из Козова. Чего им тут? И из Прицкого есть. Слетелись черные вороны...

Савка горячо взялся за дело: забаррикадировал окна лавками, стульями, всем, что попалось под руку, взял топор, которым колол дрова для печки. Рубан постоял в сенях, потом вошел в комнату, снял крышку с бадейки, напился воды. В дверь били сапогами, кулаками, пытались выломать ее.

Но вскоре со двора донесся какой-то гул. Рубан припал к окну, продул глазок и, к величайшему изумлению, увидел Петра Джуру на «Фордзоне». «С кем же этот? — подумал Рубан.— Неужто предаст?..»

Джура гнал трактор во весь дух. Окутанный дымом, беспощадный и бескомпромиссный, он походил на фантастического пришельца с другой планеты. Было и впрямь нечто жестокое и неумолимое в этом вращении громадных колес, в дыме, вырывающемся изо всех щелок трактора, и в безумном хохоте самого тракториста. За трактором рысцой бежал Фабиан со своим козлом и кричал:

— Спасайся, спасайся!..

Подъехав к самому сельсовету, Джура направил своего одноглазого черта на бунтовщиков. Только теперь Рубан сообразил, что могло произойти дальше, засмеялся про себя и, подозвав к окну Савку, пустил его к проталинке. А там толпа еще мгновение стояла как вкопанная, застыв перед этой неодолимой силой,

послушной лишь одному богу на свете — самому Джуре; особенно пугали задние колеса, в них было что-то драконовское, они докапывались зубьями до самой земли, словно ища жертву. Кто-то из мужиков закричал дурным голосом, завопили женщины, бросаясь врассыпную, лошади Павлюков шарахнулись от трактора и пошли носить старика по огородам. А Джура совсем обезумел. Он пустил свое чудовище на Раденьких, на Матвия Гусака, на старого Бубелу, который еле успел прыгнуть в санки и умчался на хутор без шапки. Дочки Гусака завизжали и попадали головами в снег, Данько Соколюк сорвался в какую-то яму, может быть, уберегши этим тракториста, который мог очутиться там вместе с машиной. Но едва ли не самое большое удовольствие доставило Джуре преследование Явтушка. Тот оказался смелее и ловчее многих, легко увиливал от трактора, даже насмехался над этим созданием человеческого разума, пока Джура не догадался поразить его еще одной, непостижимой для Явтушка особенностью машины: он бросился на него задним ходом и одолел-таки смельчака. Тот пустился к пруду, надеясь, что Джура не отважится заехать на лед.

Фабиан смеялся до слез, ему все еще виделись искаженные страхом лица бунтовщиков. Такую расправу мог придумать только он, великий мыслитель и великий борец за справедливость. Козел в тот же миг, как улица опустела, накинулся на трофейный овес, потерянный Павлюками. Давно он не лакомился таким отличным теплым зерном, как тот, на котором посидел старый Павлюк.

Джура возвращался из своего последнего рейда задним ходом, чтобы видеть пятки врагов, и шел на хорошей скорости, словно желая продемонстрировать неисчерпаемые возможности своей машины.

— Стой! Стой! — закричал ему Фабиан.

Джура едва не наехал на козла. Еще мгновение, и победители могли бы потерять бесценного друга, сыгравшего не последнюю роль в этой баталии.

Серую шапку Бубелы отдали на сохранение Савке — для будущего председателя колхоза. Сельсовет разбаррикадировали, заперли, на двери оставили записку для Клима Синицы на случай, если тот прибудет в Вавилон: «Клим Иванович, мы у Бонифация.

Приезжайте туда». Потом все четверо забрались на трактор и вместе поехали к Зосе завтракать. У распятья к ним подсел Лукьян Соколюк. На вопрос, где Данько, он развел руками.

На малых оборотах тракторок бежал потихоньку, не подымая рева, от его недавней демоничности не осталось и следа. За трактором плелся козел, ему ужасно хотелось пить, он мог бы напиться под запрудой, там есть родничок, не замерзающий до самого крещения, но боялся отстать от компании.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Ночью Бонифация перехоронили. Положили его в католическом уголке кладбища, где несколько столетий назад погребены были первые босые кармелиты. Тут, на бывшем татарском могильнике, находился и еврейский уголок, густо заставленный стоячими каменными плитами. Поражала их одинаковость, посмертное равенство, в жизни-то, наверно, все было иначе. Еврейское кладбище было отделено от других неглубоким рвом, через который души умерших, размышлял Фабиан, легко могли ходить в гости одни к другим, на свои тайные сходки, гулянки, пирушки, торги, как это велось когда-то в вымершем Вавилоне. Но больше всего места отвоевали себе православные. Над ними стояли высокие деревянные кресты, повязанные рушниками. Над матерью Соколюков тоже светился рушник с черными цветами, хотя Лукьян хорошо помнил, что раньше там были красные петушки.

Гроб с Бонифацием был не столько тяжел, сколько длинен, Фабиан забыл о росте Бонифация, и теперь гроб не помещался в свежую яму, пришлось потратить еще час. Спрятанный в кустах трактор простывал, и Джура побаивался, что он не заведется.

Зося в последний раз поплакала о Бонифации. Обронил слезу и Лукьян, вспомнив о матери, так долго болевшей, прежде чем умереть. Козел, наевшись кислых яблок с обеденного стола, дивился прекрасной работе своего желудка; за всю свою долгую жизнь он впервые присутствовал на таких малолюдных похоронах. Петро Джура с Фабианом опустили Бонифация в вечное пристанище, потом засыпали его

старую яму и поклялись, что до времени никто, кроме присутствующих, не будет знать о перехоронении. Боялись, чтобы кулаки не надругались над могилой.

Тракторок, слава богу, завелся. Лукьян подсел на крыло, они спустились вниз, Фабиан с козлом остались дома, а Рубан и Зося, как и полагается после погребения, отправились домой пешком. Месяц завалился за ветряки. Вавилон померк и, казалось, стал меньше. Решили заодно зайти к старухе Кожушной, взять вещи Рубана, чтобы не делать этого днем, не колоть людям глаза. Двинулись через пруд по льду, который фатально потрескивал, а в иных местах невесть отчего пел. Зося останавливалась, словно боялась упасть, протягивала руку, охваченная добрым предчувствием. Рубан был точно мальчишка. Зосе вспомнилось детство в Дахновке, вспомнилось пение первых льдинок на первом прозрачном, как воздух, ледке, потом любовь к молоденькому чоновцу, квартировавшему у них, потом ухаживания хитрого Бонифация, когда в Вавилоне еще была волость. Все миновало, прошло... Она задержала руку Рубана в своей, притянула его к себе, на льду трудно, почти невозможно сопротивляться...

И вот Зося стояла под вязами, где когда-то мужал на качелях Бонифаций, он все норовил к небу, к небу, потому и вымахал такой высоченный, однако никого себе на качелях не добыл, спасибо, что хоть привез ее сюда, а то она никогда не встретила бы Рубана. Качелей не было, а ей хотелось стать на доску. Словно от одной ее мысли об этом, с вязов посыпался иней, и ее на миг овеяло каким-то добрым счастьем: в Рубане было что-то для нее — в походке его, в речи, в глазах, в волосах, черных как смоль...

Старуха Кожушная собрала Рубану вещи в парусиновый мешочек — ей самой хотелось бы такого зятя, как Антоша,— перекрестила, заперла за ним на щеколду сенную дверь. Зося отобрала у него мешочек, и они пошли по старым вавилонским улицам, ощетинившимся вековечными зарослями деревьев, шиповника и всяких других колючек.

— Вы ничего не видите? — время от времени останавливаясь, спрашивала Зося.

— А что? — настораживался Рубан.

— Не то Бонифаций, не то показалось мне...— она льнула к Рубану.

— Оставьте, Зося. Какой там Бонифаций? Человека один раз похоронят, и то его нет уже, а тут дважды похоронили.

Однако Рубан на всякий случай нащупал наган, теперь и он видел: улочка была истоптана сапогами, а следы исчезали в зарослях.

Когда они вошли в комнату, маленький Бонифаций спал в люльке. Старуха, сидя на стульчике, пела колыбельную для себя сквозь сон. Она вынянчила на своем веку уйму детей, а вот своих не завела.

Зося положила мешочек на лавку, в парусине что-то звякнуло, загремело, верно, патроны. Старуха перекрестилась, подумала про себя, что все возвращается на круги своя. Потом Зося разобрала постель, взбила две громадные подушки — она никогда не спала на них с Бонифацием. Горевала, что на рассвете снова придут те, запрудят двор, заорут, полезут к окнам, требуя расправы.

Но они не пришли... Только в дымоходе всю ночь рыдал Бонифаций.

Рубан еще спал, когда Зося встала, надела сапожки на босу ногу, накинула на плечи его кожанку и побежала в овин за соломой. (Бонифаций собирался на следующую осень перешить кровлю, три года подряд откладывал в овине околот, который теперь Зося пустила на топку.) Она отворила ворота в овин и отшатнулась в ужасе — на балке висела веревка, ее раскачивало ветерком. Зося бросилась обратно и крикнула на печь еще не продравшей глаза старухе:

— Бабушка, принесите соломы!

«Эге,— подумала старуха,— теперь и солому таскай!»

Но кое-как поднялась, надела шлепанцы, пошла в овин, никакой веревки не увидала, околот лежал стеною. Бонифаций вязал колоссальные снопы, как кули. Старуха билась, билась с ними, вымоталась до изнеможения и, плача, вернулась в хату ни с чем. Зося засмеялась над ее бессилием и этим смехом разбудила Рубана.

— Что там?

— Послала старую за соломой, а снопы тяжелые, не может поднять.

Рубан надел галифе, сапоги, пошел в овин в одной сорочке. Веревка качалась на ветру. Рубан остолбенел. Это напоминали о себе кулаки...

Когда он внес солому, Зося плакала, опершись локтями на подоконник и обхватив руками голову, а старуха лукаво трогала пальцами губы, верно, готовилась сказать что-то.

— Бабушка, вы чего ее доводите?

— Я ничего, я ничего, я только говорю, что сперва бы надо к венцу, а там уж и чужие снопы, сказать бы, полегчают...

— А они мне и без того, как перышко.— Он взялся за свясло и метнул здоровенный сноп под самую матицу.

— О боже, какая сила! — старуха зажмурилась, а Зося засмеялась сквозь слезы.

— Чудная вы, бабушка. Да будь Бонифаций жив, я бы все равно был с нею. Отбил бы ее у Бонифация. Правда, Зося?

— Да уж, наверно...— сказала Зося, взяла нож в шкапчике, разрезала свясло и затопила печь, прогнала душу из дымохода, из этого последнего ночного пристанища умерших мужей...

Рубан снял сорочку, пошел под старую грушу, обтерся до пояса снегом, пришел — весь горит, так и пышет жаром. Зося вынула ему из сундука полотенчико, которым Бонифаций еще не пользовался (чтобы его хандра не перешла на Рубана), а потом, когда Антон пошел на работу, долго стояла у окна и смотрела ему вслед. Как хорошо, что не явилась Мальва и не углядела, какое чудо Рубан. Потом Зося побежала к соседу занять косу (Бонифаций свою косу на зиму разбирал).

— На черта тебе коса, когда вокруг снег? — удивился старый Журавский.

— Надо, надо,— не стала рассказывать Зося.

Она пошла в овин, наложила на пол несколько снопов и только тогда достала косой до балки. Веревка упала, ударила Зосю мерзлым концом по лицу. Зося отнесла ее в хату и швырнула в печь, чтобы ничто не отпугивало Рубана от ее дома.

Когда Рубан ехал сюда, в Вавилон, Македонский сказал ему, чтобы он не спускал глаз с Бубелы. «Прямых доказательств нет,— признался он,— обыск на хуторе тоже ничего не дал, но уверен, что без него не обошлось. Отпустили, чтобы лучше разглядеть и его, и тех, кто с ним. Так что остерегайтесь, Антон, Бубелы, не больно полагайтесь на тополиную тишь его хутора». Рубан хотел было отослать старику шапку, ему показалось, что такой жест мог бы повернуть дело к лучшему, но исполнитель отсоветовал: «Хе-хе, плохо вы знаете Киндрата Бубелу, он когда-то у самого Тысевича выиграл процесс в мировом суде».

В сельсоветском сундуке хранились метрики, акты на землю, межевая книга, свидетельства о смерти, свернутые в трубочку, тайные записи Бонифация об имущественном цензе самых зажиточных граждан Вавилона, а весь испод крышки был заклеен описанием истории Вавилона с древнейших времен до наших дней. Ни один ученый не сделал бы этого с таким тщанием, как Бонифаций, и Рубан проникался все большим уважением к этому человеку, а стало быть, и к Зосе, его вдове.

Рубан приказал Савке запереть сельсовет изнутри и принялся изучать «царство вавилонское», где жил и правил. Савка раскладывал бумаги на подоконниках, на столах, на скамьях, в таком порядке, в каком их извлекал Рубан. К концу дня пришлось занять и пол, но так и не обнаружилось никаких следов брака Бонифация с Зосей, наверное, они венчались в глинской церкви. Интересно, у спаса или у вознесения, думал Рубан, словно это могло иметь для него хоть малейшее значение. Собственно, Зосин брак был лишь одним из побочных, так сказать, частных пунктов. Рубана интересовала история Вавилона современного, сегодняшнего, того самого, который так жестоко и неумолимо преследовал Рубана, заставил Савку забарикадировать сельсовет.

— Выходит, Савка, что всех этих павлюков, гусаков, раденьких, явтухов, бугов, северинов, кочубеев... породил уже теперешний Вавилон. Раньше их не было, всех этих хозяев. И Кочубея твоего не было. Был бедняк Кочубей.

Савка рассмеялся, услышав имя своего вчерашнего повелителя.

— Это какое-то немыслимое недоразумение, они стали врагами власти, которая дала им землю, дала крылья для ветряков, мехи для кузницы, отворила перед ними дверь в грядущее. А Джура, Петро Джура! Как ты думаешь, Савка, что он собой представляет?

— Не верьте, товарищ Рубан, человеку, у которого есть собственный трактор. Это уж так, разрази его гром, как говорит Фабиан,— засмеялся Савка.

Это Савкино открытие вполне совпадало с тем, что говорил о Джуре Клим Синица: «Бестия, хоть и записался в соз. Записался, чтоб сохранить трактор». На вопрос Рубана, почему Петро не вступил в коммуну, туда ведь с трактором в самый раз, Джура ответил, что побоялся коммуны только потому, что в ней трактор станет общим, а он, Джура, еще не натешился им, еще хочет подержать его в хате, чтобы им пахло. А потом, сознался этот фанатик, у трактора есть еще одно преимущество: он пугает сумасшедшую Рузю. Последнее поразило и возмутило Рубана, он запретил Джуре пугать Рузю, пригрозил конфисковать машину.

Они допоздна складывали сельсоветский архив, заперли его на два замка, как это делал Бонифаций, а после всего председатель сказал исполнителю, что отныне и до конца его, Рубана, дней Савка будет ужинать у него, то есть у Зоси, потому что ужин для ихнего брата — это все, это основа основ. Без хорошего ужина медленнее проходят зимы, дольше тянутся ночи, дети рождаются слабые, а об эффективности работы в сельсовете и говорить не приходится.

— Так-то оно так, но что скажет Бонифаций? — спросил Савка Чибис председателя.— У него же никто никогда воды не напился.

— Пойдем, пойдем, о мертвых плохо не говорят.

Когда они вошли в хату, Рубан сказал:

— Зося, Савка теперь будет всегда ужинать с нами.

Савка Чибис много ел и смеялся за ужином по всякому пустяку. А когда исполнитель возвращался по-

сле ужина, на запруде его встретил Кармелит, забрался на него верхом и ехал до самого крыльца сельсовета. «Ты что ж думал, Савочка, даром ужинать у нас дома? У меня так не пойдет»,— это была его любимая фраза еще при жизни.

В самый сельсовет Кармелит боялся заезжать на Савке, верно, опасался, что его там запрут, и Савка, избавившись от страшного всадника, всякий раз входил к себе мокрый, как мышь. Но Рубану он не мог сказать об этом, и не только потому, что тот партийный и ни за что не поверит, а потому, что Савку и так держат за чудака. Он ходил ужинать и хотя возвращался в холодном поту, но ходил, чтобы не обидеть, не оттолкнуть от себя нового председателя.

Как-то его встретил Панько Кочубей навеселе — где-то разделывал боровка, нес инструмент и свою долю за работу. От него пахло салом, паленой щетиной.

— Как тебе, Чибис, без меня живется? — спросил Савку.

Тот уже нес на себе Кармелита, не мог его сбросить, до сельсоветского крыльца было еще далеко.

— А разве вам не видно? — ответил он, захохотал и пошел своим путем, которого не выдержал бы никто на свете, кроме терпеливого и чудашливого Савки Чибиса. Кабаннику и не снилось, какого человека он не ставил ни во что.

Только Зосе Савка признался:

— Мучает меня твой Кармелит — ужас! — И рассказал, как бывает.

Она побледнела, развела руками, а потом тихо посоветовала:

— А ты возьми у Антоши наган.

Женщины не умеют хранить тайну. С тех пор Рубан после каждого ужина ходил провожать Савку до запруды, а иногда забывался и вел его до самого сельсовета. Для Зоси это были мучительные минуты. Даже маленький Бонька, как она его теперь называла, раздражал ее своей прожорливостью и пронзительно спокойными глазенками. Она ловила себя на том, что отворачивалась от них, да, да, именно так — боялась самых дорогих глаз на свете.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Бубела верил в приметы. Мужику потерять шапку все равно что царю — корону. Больше всего ему не хотелось, чтобы эта шапка очутилась в Глинске. Его тревожило, что теперь глинские «эксперты» вынюхают все его мысли о них самих, о новой власти, обо всем, что про себя и вслух думал о ней Бубела с некоторых пор, а именно с тех самых пор, когда Соснин собрал по соседству первую коммуну и вывез в Глинск на ярмарку первый сыр — чудо, какого в Глинске сроду не видывали. Когда Соснин уехал и больше не вернулся, Бубела в душе отпраздновал победу, весь день ходил по хутору, забирался в степь, ложился там в траву и часами смотрел издалека на хутор, потом катался от радости по траве, как конь. Но коммуна выстояла, не разбежалась, на место одного фанатика пришел другой — Клим Синица, и над хутором нависла еще большая угроза. Бубела подговаривал козовских богачей, а потом Павлюка и еще кое-кого, ясное дело, с известными предосторожностями, избавиться от Клима Синицы. Но того спутали с сыроваром, и покушение на вожака коммуны сорвалось.

А теперь вот Бубела вернулся без шапки, с глазами, полными злых, неизбытых слез, и приказал Парфусе:

— На всякий случай насуши сухарей и приготовь чистых рубашек на дорогу.

Несколько ночей он не ночевал дома, отправился к родичам в Козов (родственники по Текле), прислал оттуда своего лазутчика и вернулся, только когда узнал, что здесь все спокойно, что Рубан живет у Зоси, что Вавилон готовится к первой зимней ярмарке в Глинске. За эти несколько дней Бубела постарел, но набрался там, в кратковременном убежище, еще большей ненависти к своим врагам, а за шапкой все же решил поехать, боялся, чтобы она не оказалась в Глинске, у Македонского.

Председателя он не застал и выпытал у Савки, что шапка еще тут, лежит в сундуке под двумя замками, но он, Савка, не знает, что Рубан собирается с нею делать. Может, и сам будет носить, а может, отдаст ему, Савке. Как знать? Исполнитель при этом засмеялся, а Бубела подошел к кованому сундуку, ему не вери-

лось, что шапка еще тут, а не в Глинске. Стало быть, там еще не прочитали его мыслей.

— Тебе ли, Савка, носить мою шапку? Да мы в молодости были с твоим отцом товарищами, потом вместе служили у пана, твоего отца господские лошади понесли и убили, сорвались с ним вместе в обрыв, а я вот, видишь, потерял шапку, в которой хотел бы и помереть.

Чибис совсем растрогался, он не помнил отца, и память о нем была для Савки всего дороже.

— Она здесь,— показал он на сундук,— но ключи не у меня. Когда-то были у Бонифация, а теперь их носит сам Рубан.

Бубела еще мгновение поколебался и вышел. Через каких-нибудь полчаса он вернулся в сельсовет с Рубаном, тот отпер сундук, вынул шапку и отдал ее оторопевшему, поникшему Бубеле.

— Не теряйте больше, а то так можно и голову потерять.

Бубела пробормотал что-то невнятное, сдернул картуз с наушниками, нахлобучил на седую голову шапку. (Если б не Зося, Рубан, может, и не отдал бы шапку, но она закричала, увидав, как всемогущий Бубела упал на колени у нее в хате.) Старик поклонился Рубану, поклонился Савке и уехал, снова почувствовав себя Бубелой. Он уже представлял себе, какая радость вспыхнет в глазах у Парфуси, когда она увидит чудо-шапку у него на голове. Выехав за Вавилон, старик снял ее, понюхал донце. Шапка еще пахла им, Киндратом Бубелой, и еще малость пыреем — Парфуся мыла ему голову с пыреем, чтоб не лысел.

В степи не было ни одной живой души, только месяц шнырял в тучах. Хуторские псы выли на месяц. Эн, как жалобно, к чему бы это?.. Надо позвать трубочиста Наума Лаврика, на хуторе давно уже не чистили труб, а топят все годы соломой, от нее больше сажи, чем от дров, завтра надо послать за Лавриком, чтобы не сжечь хутор прежде времени. А может, тут поблизости ходит волчья стая? Бубела закурил трубку, с огоньком как-то безопасней. Если все будет хорошо, он этой зимой забьет несколько волков, ни у кого на это нет такой сноровки, как у него. Когда в коммуне еще был Соснин, отчаянный коммунист и еще более отчаянный охотник, они частенько встречались с ним

в бурьяне в ничейной степи. Тот охотился на волков с коня, а Бубела как раз купил эти легонькие санки и охотился с них, причем конь всегда чуял волков раньше охотника. Бубела прикидывался замерзшим, даже зажмуривал глаза, волки делали круг, другой. На третьем круге он уже слышал хруст снега, конь начинал дрожать, как в лихорадке, и только тогда Бубела оживал и делал тот единственный выстрел, трофеи от которого потом весь день не давали покоя Соснину, частенько возвращавшемуся в коммуну с пустыми руками. Собственно, здесь, на охоте, они и познакомились. Бубела хотел было зазвать Соснина на хутор, но, дознавшись, что тот живет в коммуне один, без семьи (семья его оставалась в Москве), не сделал этого только из-за Парфуси.

Собаки воют все отчаяннее. Один из псов, главный сторож Дидон, давно уже на хуторе, он бегает на цепи вдоль амбаров и сараев, этот исполин огненной масти с вечно красными от злости глазами, признает только Бубелу, даже Парфуся его остерегается. Две другие собаки — охотничьи. Принц и Пальма, он — на зайца, она — на куропатку, неравный брак, на который каждую осень покушаются безродные вавилонские дворняги, легко отбивающие Пальму у Принца. Потомство от этих незаконных связей Бубела сбрасывает со скалы в Чебрец еще слепым. Парфуся обливается слезами, оплакивая загубленные души, но Бубела испытывает от этого даже некоторое удовлетворение — таким способом он избавляет хутор от засилья нечистых. Обрети он право распространить это на весь Вавилон, он очень быстро очистил бы его от дурных примесей, создал бы нечто неприкосновенное и высокое.

Бубела дернул за вожжи. Лошадка умела ходить под дугой и помчала его на хутор быстрее теней, отбрасываемых облаками, бесшумно перебегавшими куда-то в ночи. А когда впереди обозначились белые грациозные тополя, Бубела почти физически ощутил, есть у него кое-что на этом свете, стоило упасть на колени перед ненавистным Рубаном в хате Бонифация, где он сроду не бывал, стоило пойти на любое унижение, чтобы только хоть одну ночь переспать с Парфусей в этом неповторимо сказочном царстве, где все вокруг твое, даже иней на тополях.

Когда санки остановились во дворе, у Бубелы кольнуло под сердцем. Собаки бросились к хозяину, заговорили наперебой. Дидон положил ему на грудь огромные лапы, тявкнул на Пальму, которая ластилась к ногам хозяина. Ставни почему-то до сей поры не закрыты, а в доме темно. Это поразило Бубелу — Парфуся больше всего на свете боялась темноты. Когда кончался керосин, Парфуся днем лепила сальные свечи,

а вечерами жгла их в медном канделябре. По комнате разливался неприятный запах, Бубела чуял его сквозь сон, хотя возраст или природа заткнули его ноздри защитными волосами, которые не седели, и, быть может, потому Бубела их не трогал.

Не выпрягая лошадь, он опрометью бросился в хату с наихудшими предчувствиями, ощупью нашел канделябр с огарком, зажег и заметался с этим светильни-

ком по комнатам, а их было целых пять — однажды летом на него что-то нашло, он все пристраивал и пристраивал, хотя они с Парфусей по-прежнему жили в двух. Он заглянул в чулан, покосился на гигантские соломенные корзины для муки с такой осторожностью, словно она могла сидеть в одной из них. Корзины были сплетены туго, надежно, и Бубела только сейчас заметил, что они обе почти пусты, муки в них осталось на несколько дней, недаром Парфуся напоминала ему про помол еще с покрова, но он так и не выбрался на знаменитую зборовскую мельницу на Южном Буге, куда ездил раз в год, осенью, в пору спокойной большой воды. На своем ветряке такой белой муки не получишь. Уже в одном том, что он не собрался на мельницу, он, думавший всегда вперед на годы, было что-то дурное, несвойственное такому хозяину. Он накрыл корзины крышками, чтобы туда не забирались мыши, вышел в сени и полез на чердак. Только стал на лесенку, как ему привиделся удавленник.

«Этого еще недоставало»,— подумал Бубела.

Он боялся удавленников. Осторожно приподнял люк, ожидая, что вот-вот увидит то самое, что померещилось ему, пока лез по ступенькам. Невольно вспомнился мельничный сторож. Когда в селе появляется один самоубийца, жди вскоре еще одного. В Вавилоне целое кладбище этих самоубийц, но Бубела даже и мысли не допускал, что его Парфуся может там очутиться. Однако на балках, слава богу, висели только мешочки с салом, торбы с семенами, да еще к дымоходу прилип пораженный и ослепленный свечой нетопырь. Бубела не без страха закрыл над собою люк и спустился вниз.

Там он выбежал во двор и закричал:

— Парфу-уся, Парфу-уся!

Ветер загасил свечу, собаки заметались по двору, осиротело, не по-хорошему заскулили.

«Одни они знают, куда подевалась Парфуся»,— подумал он, вскочил в сани, крикнул «ату!», как, бывало, на охоте, и помчался за ними с хутора в степь.

Собаки словно бы радовались тому, что хозяин им доверился, они напали на след хозяйки и наперегонки помчались в сторону Прицкого.

Неужто махнула к Федору Майгуле, котовцу, который не раз пировал на хуторе и посматривал на Пар-

фусю, прислуживавшую им на этих попойках? Но ведь у него в Прицком жена и дети. Это было едва ли не единственное утешение для Бубелы во время погони. Он не допускал, что Парфуся сама могла уйти навсегда, оставить его в такой беде, изменить хутору, которому отдала столько лет, не говоря уже об измене ему самому, о чем он не хотел и думать.

Собаки неслись, гнали все виртуознее, чуя приближение жертвы. Принц, стремясь присвоить все заслуги себе, останавливался и лаял в сторону беглянки, ее он еще не видел, но уже учуял запах ее новеньких подметок, пахнущих лаком. Вот хозяйка споткнулась и упала. Пальма нашла там потерянную шерстяную рукавичку, подождала саней и на бегу отдала ее хозяину, затмив все старания Принца.

Рукавичка показалась Бубеле еще теплой, он приложил ее к губам, улыбнулся и спрятал в карман. Главное, чтобы Парфуся не успела добраться до Прицкого, в селе его собаки бессильны.

На белом фоне показалась черная точка. Бубела не сводил с нее слезящихся от ветра глаз. Принц узнал хозяйку, виновато заскулил, он любил ее, любил смотреть ей в глаза, какие-то не такие, как снисходительно равнодушные глаза Пальмы, а строгие и вместе с тем добрые глаза человека, к которому собака привыкала годами.

Парфуся тяжело дышала, не ждала погони. Перед ней лежала котомка, брошенная в отчаянии на снег. Бубела сошел с саней, достал рукавичку из кармана и отстегал ею беглянку по глазам, по лицу, потом без единого слова повел за руку к санкам. Уже повернули на хутор, когда Парфуся вспомнила о котомке. Бубела приказал Пальме принести ее, словно это была убитая утка. Котомка оказалась великовата для собаки, но воля хозяина была для Пальмы превыше всего, ее старательность привела Бубелу в восхищение. Он взвесил котомку на руке, удивился, что Парфуся взяла с собой только мелочи, и брезгливо швырнул пожитки себе под ноги, отчего котомка развязалась. Из нее вывалились вышитые сорочки с белым зубчатым кружевцем, синее шерстяное платье с парчовой плахтой, несколько кофточек, красные сапожки, только однажды надетые к исповеди, и стопка батистовых платков, которые Пар-

фуся повязывала узелком вперед, что очень нравилось Бубеле.

Сама она была в грубошерстном платке, из тех, что делают женщин глухими, в дубленом полушубке. Руки спрятала в рукава, боялась посмотреть в сторону мужа, видела только его тень в высокой шапке, эта тень бежала по снегу величаво и гордо.

Бубела, мягкий, хитрый и лукавый, размышлял вслух: а зачем, собственно, он возвращает ее на хутор, к чему такое благодеяние? Когда в женщине поселяется вместо бога черт, так она уже не женщина, а черт в юбке, она может отравить, зарезать, убить, это не та Парфуся, которую он вез много лет назад в фаэтоне, за ту Парфусю он готов сегодня же, как только они приедут, зарядить дробовик и застрелиться, а эта, рядом, не стоит доброго слова.

Потом он остановил санки и сказал ей, что она вольна идти, куда шла, он постарается забыть ее лицо, ее глаза, ее голос.

— Я уже слишком стар, чтобы мне изменяли так жестоко, забирай свои пожитки и ступай с богом, я прикажу собакам проводить тебя, чтоб твое тело не досталось волкам.

Парфуся вынула руку из рукава, дернула за вожжи, санки тронулись, тень в высокой шапке поплыла по снегу. Бубела покосился на нее и сказал:

— А еще мыла мне голову пыреем, чтоб не лысел. Ха-ха-ха!

Бубела смеялся хорошо, искренне, еще там, в Лавре, он покорил ее прежде всего смехом. Она сняла шапку с его головы, понюхала донце — нет, как бы там ни было, а в этой шапке Бубела снова стал для нее Бубелой, а надолго ли, это знает один бог.

— Сама не знаю, что со мной стряслось. Прости, Киндрат. Ведь никого роднее тебя у меня нету.

Приехав на хутор, они еще долго не слезали с саней.

— Тут, Парфуся, наши нерожденные дети, тут наша любовь, тут все до крошечки наше — мое и твое. И как это можно — оставлять живое и бежать к мертвому, к мощам в монастырь?.. Выпрягай лошадь, а я принесу соломы, натопим в хате.

Он пошел к стогу, острогой выдергивал пучки из огромной серой громады, на которой брал Парфусю не далее, как нынешним летом прямо под открытым небом. Довершил стог, и захотелось ему посидеть там, передохнуть, посмотреть с этой высоты на хутор. Попросил Парфусю, чтобы принесла ему трубку, которую теперь имел слабость забывать, потому что обращался к ней все реже и реже. Сейчас ему вспомнилось, как она подымалась с трубкой по лестнице, глаза у нее были манящие, черные, как перестоявшиеся вишни, а когда ступеньки кончились и он подал ей руку, Парфуся вся встрепенулась, почувствовала, что ему не так нужна трубка, как она сама, сказала — не упусти, а взобравшись на самый верх, засмеялась. Хутор показался ей маленьким, игрушечным, где-то далеко шло с поля вавилонское стадо, ревели недоенные коровы на хуторе, овцы заснули в кошаре, а они до поздней ночи оставались на стогу. Тогда же она призналась Бубеле про грешки с Даньком Соколюком, она была чуть ли не первой женщиной, которая совратила этого, в ту пору еще набожного парня, во всем призналась, потому что Бубела пригрозил сбросить ее со стога, если станет запираться. Бубела и до сих пор ненавидел Данька, хотя тот и потрудился на совесть в самое трудное лето, может, сохранил для него хутор. И еще одним поблагодарил за Парфусю: у всех хуторян крали лошадей, а у Бубелы и жеребеночка не пропало, потому что наводчиком для захожих конокрадов был он, Данько. Одно что-нибудь потеряешь, зато другое на этом приобретешь.

Он все неистовее работал острогой, стог содрогался, стонал. Парфуся уже отвела лошадь в стойло, отнесла свои пожитки в сундук и вышла с дерюжкою за соломой. Потом натопили в хате, и счастливей ночи, кажется, и не бывало у них...

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Соколюки собирались на первую зимнюю ярмарку. Заранее советовались, что продать, что купить. Большой работы дома не было, и поехали все трое. С вечера увязали мешки с зерном, Даринка спутала несколько кур для глинских любителей домашней птицы, выбирала самых тяжелых, самых показных, а Лукьян выма-

нил прямо с неба пару турманов. У каждого настоящего парня должно быть немного потайных денег на собственные неподотчетные нужды.

Спать легли рано — не одни Соколюки повезут на ярмарку свои излишки, чуть не весь зажиточный Вавилон завтра кинется в Глинск. Зимняя ярмарка всегда перерастает в праздник, и потому не посещают ее только бедняки, которым нечего показать на этом празднике, либо те, кто расторговался уже на последних осенних базарах в Козове или еще где-нибудь — в Былиловке, а то даже в самой Борщаговке. Что до Глинска, то он осенью окружен таким океаном слякоти, что преодолеть ее, да еще с грузом, неслыханно трудно, верно, потому там и не бывает об эту пору никаких крупных торгов. А зима делает его доступным, и тогда туда съезжается на ярмарку полсвета, так что важно не проспать, выехать раным-рано, пока другие не успеют еще и глаз продрать, чтобы захватить первого покупателя и засветло вернуться домой.

Но за ночь Данько раздумал ехать, дошел своим крестьянским умом до той неопровержимой истины, что продавать на этой ярмарке невыгодно, а чтобы купить керосину, соли и мыла, надо ли ехать всем троим? Запряг для Лукьяна лошадей, вымостил гречишной соломой дровни с тяжелыми грушевыми полозьями, ретиво задравшими желтые носы, отворил ворота.

— Гляди там, Лукьяша, долгов не делай, ничего лишнего у Лейбы не бери. А паче не заглядывай к Чечевичному, тот всегда спихнет что-нибудь ненужное в долг.

В последнюю минуту, когда лошади уже гарцевали и пускали из ноздрей пар, прогревая свои внутренности, из хаты выбежала Даринка, вся сияющая и озаренная, в глазах у нее было столько неприкрытой радости, столько сердечной благодарности людям за свое счастье, что Лукьян не выдержал этого взгляда, отвернулся, а Данько невольно улыбнулся в бороду. Хороша она была в это утро, их Даринка; хороши были ее сверкающие глазенки, милые веснушки на носу, все ее дьявольское женское естество, умеющее долго скрывать себя от мужчин, но умеющее и являться внезапно, негаданно, чтоб очаровать самых неприступных. Даринка надела зеленые шевровые сапожки, недавно справленные

ей с любезного согласия обоих братьев, и платок тончайшей работы, тот самый, который она прежде и надевать боялась, чтобы не выглядеть барыней, на ходу накинула кожушок и уже шагнула одной ногой в сани. Это хорошо, что Данько не едет, сейчас она усядется рядом с Лукьяном на рябчаке, и полетят они по занесенному снегом полю навстречу гулякам-ветрам, и она прильнет к Лукьяну и расскажет ему, как бы ей хотелось жить на свете. Раньше у нее этого не было, сколько раз она видала, как богачи выезжали в город на праздник, а то и просто на ярмарку, и никогда не глядела с завистью ни на их возы, ни на добрых широкозадых коней, ни на дорогие заморские ковры и шерстяные домотканые рябчаки в зеленую, черную и красную полоску, такие свеженькие, словно прямо со станка; даже упряжь в золоте и серебре, даже медные колокольчики не вызывали у нее зависти, только от езды богачей захватывало дух, худо ей становилось при мысли, что сама она никогда не изведает этого счастья — лихой молодецкой езды, так и помрет, ни разу не обув как следует своих ног, которые часто ныли у нее от ветра и сырости. И вот сейчас она будет сидеть на коврике и любоваться своими ладными сапожками, которым не придется стирать каблучки, пока она в санях, будет слушать посвист ветра и грушевое пенье полозьев, а там, в Глинске, покажет себя другим надутым хозяевам и хозяйкам, чтоб знали, что дочка Нестора Журавки, полегшего в битвах за Вавилон, не батрачка бесправная, а вольно и полноправно живет в чести и почтении и недаром теперь носит черный крестик на шее. Она уже и села в сани.

— Едем, Лукьян!

Но Данько загородил ворота.

— Он сам знает дорогу,— словно нехотя бросил он, взял ее за руку и стащил с саней.— Но-о!

Мышастые понимают его с полуслова, с полувзмаха, они вынесли сани со двора прежде, чем Лукьян надумал вступиться за Даринку, больше того, ему пришлось сдерживать их, чтобы не запалили сгоряча застоявшиеся сердца. Один турманок развязался, взлетел Лукьяну на плечо, тот покосился на него, улыбнулся. Это была голубка, она могла лететь, но не могла бросить в беде свою пару и крепко вцепилась в плечо хозяина.

Выехали на тракт. Старые вербы, одетые в иней, походили на старух, торопящихся по этой дороге к заутрене. Коршун бился с ветром. Заметив его, голубка еще крепче впилась в плечо. А гривы лошадей развевались, как черные знамена.

...Стук, звон, гам повисли над Глинском, это так непривычно после тишины, что Лукьяну слышится в этом шуме не то тревога, не то отчаяние.

— Пане Соколюк, пане Соколюк! — зазывает его в свою лавку, где пахнет конфетами и дегтем, бывший вавилонский арендатор, а ныне глинский богатей Моня Чечевичный.

Этой осенью Чечевичного обложили колоссальным налогом, и он теперь распродается, чтобы как-нибудь уплатить налог и живым выбраться из Глинска. В отличие от других крупных нэпманов, которые, почуяв беду, сразу распродались и сбежали в большие города, он до последнего держался за дедовское наследство — паровую мельницу, маслобойню и эту лавку в Глинске. Ну и влип: мельницу и маслобойню у него отобрали еще в прошлом году, а теперь обложили лавку такой суммой, что продай Моня Чечевичный вместе с нею и себя, и то ему, в лучшем случае, не миновать выселения из Глинска. Так что берите, пане Соколюк, что вам нравится — ленты, сережки, бусы для невесты. Маленькие красные бусы украсят шейку любой красавице! Чего только нет в этой лавке! Иконы всемогущих и всемилостивейших христианских богов и святителей здесь всегда стоили копейки по сравнению с тем, что за них запрашивают на ярмарке. Иконы Моне привозят из Бердичева, самая дорогая — два-три рубля, и уж это всем иконам икона: в серебряном окладе, в золоченой раме, и лик на ней с тем видом неизбывной набожности, которого достигают только иконописцы-грешники, надеясь усердием своим заслужить прощение у богов, подозрительно похожих на владельца лавки. Святотатство иконописцев, да и самого Мони Чечевичного, который не имел никакого морального права торговать своими портретами, а тем более христианскими богами, прощали ему за дешевизну этого обесцененного товара, запасы которого были почти неисчерпаемы. Наряду с иконами здесь продавалось все, что может понадобиться человеку: деготь в бочонках, железные конские путы, украшенные серебром уздечки, ремни для веялок,

шестеренки для соломорезок, одним словом, все, что не портится, что может лежать сотни лет. Посреди всего этого стоит Моня Чечевичный, почесывает козлиную бородку, которая стала седеть от забот, и дивится тому, что у Лукьяна так долго не подымается рука купить бусы. У Мони привычка улыбаться покупателям, искренне, преданно улыбаться и просить, умолять, так умолять, как он сегодня умоляет Лукьяна:

— Не обижайте мою лавку, есть деньги, купите, нет, возьмите в долг, я поверю вам, пане Соколюк, еще ваша мать и ваш отец покупали у меня, а ваш дед всегда все брал в лавке моего деда.

Ну что ж, учитывая столь давние отношения, Лукьян вынимает из кошелки пару турманов (голубка не связана, и он тут же связывает ее), и в результате гешефта ошеломленные связанные турманы в один миг оказываются под прилавком, а самое дорогое ожерелье холодочком стекает за пазуху, под рубаху. Оттуда оно не выскользнет, там оно будет постоянно напоминать о себе. Прощаясь, Лукьян советует Чечевичному:

— Берегите турманов, прекрасная пара!

Моня улыбается. Пока у него была мельница, он увлекался голубями, а этих купил разве что на жаркое. И теперь, даже при таких непомерных налогах он любит хорошо поесть.

Довольный тем, что впервые в жизни провел Моню Чечевичного и тем воздал ему и за родителей, и за деда, Лукьян отправился на самую ярмарку — надо же было еще купить керосин, мыло и соль, и купить как можно дешевле, выцыганить копейку. И тут Лукьян заметил то же, что и в лавке Чечевичного: чего только не свезено сюда! Тысячи спутанных овец в санях, черных и белых боровов, поросят в мешочках, бочки с медом, длиннющий ряд кулей с зерном, волы, коровы, несколько быков с кольцами в носу — все это как будто никому не нужно, все хотят продать и никто ничего не покупает.

Максим Тесля и еще какой-то незнакомец в кожанке, должно быть, из губкома, ходили по всей ярмарке, Тесля приценивался, улыбался, что-то объяснял спутнику. Вот они оба остановились перед быками. Один бык, серый красавец, принадлежал Бубеле, тот играл с ним, показывал, какой он покорный и смирный, и

уже назвал цену — сорок рублей, в хорошие времена это было бы просто задаром.

— Жаль, нет Клима Синицы. Хорошая вещь для коммуны,— сказал Тесля и повел своего товарища к рядам с кормами и мукой.

Лукьян дальше не пошел за ними, не мог оторваться от бубелинского быка, к которому не раз водил свою корову, эта обязанность лежала на нем.

Другие вавилонские богачи собирались уже с ярмарки, так и не распродавшись. Когда Лукьян вернулся к заезду, где поставил лошадей, он уже не нашел там многих соседей: уехали Павлюки, увезя домой громадного черного борова, проклинал свои бочки с медом Матвий Гусак, возвращались и другие — об тын хвостом, да и все на том. Но что за чертовщина? Лукьян не может найти своих саней, остались только место с просыпанной гречишной соломой и след полозьев, теряющийся во множестве остальных уже через несколько шагов.

— Эй, где мои лошади?—отчаянно закричал Лукьян и забегал меж чужих саней и чужого, незнакомого люда, который тоже не распродался, но не торопился по домам — это все были жители из ближних селений.

Лукьяну сказали, что пришла какая-то женщина в белом расшитом тулупе и, кажется, в валенках, да-да, в валенках, уселась в сани, как в свои собственные, и поехала прочь.

Лукьян чуть не заплакал в отчаянии. Он знал от Данька, что конокрады часто пользовались услугами женщин, и если уж коня крадет женщина, то дело твое пропащее, так и знай, начинай сколачивать капитал на новую клячу. А тут пропало все сразу — пара лошадей, сани, да еще и упряжь, и не какая-нибудь, а парадная, на которую Данько еле-еле накопил. Кровь ударила Лукьяну в виски, он бросился прочь из этого пакостного места и вскоре очутился на одной из прирыночных улочек, где торговали запрещенными товарами: самогонными аппаратами, книгами из жизни императрицы Екатерины II, кораном, приворотным зельем и всякой другой чертовщиной, вплоть до николаевских золотых пятерок. Это был тот «черный рынок», который глинские власти вроде бы искореняли, но в то же время ста-

рались не замечать, здесь торг шел тихий, потайной, все из-под полы, и вдруг Лукьян со своими воплями:

— Баба в белом тулупе... Лошади мышастые, упряжь дорогая... Люди добрые, как же мне теперь домой?..

— Хо-хо, видно, добрый человек, раз у него баба пропала вместе с лошадьми! — смеялись над его криком.

И вдруг он обомлел — прямо перед ним сидит в его санях женщина, а лошадки спокойно жуют овес.

— Мальва! — воскликнул он, поправляя очки.

Она расхохоталась, довольная своей проделкой.

Первое желание было побить ее, но разве можно побить Мальву, да еще на людях, да еще после этого ее невинного смеха, а главное, когда все сразу нашлось: сани, лошади, упряжь, убранная медными бляшками. Лукьян и сам засмеялся от этого все еще невероятного счастья, после неслыханной беды. И все-таки самой большой неожиданностью для него была сама Мальва.

— Как ты тут очутилась?

— Ищу, с кем бы добраться до Вавилона, глядь, ваши лошади. Стою, жду, хозяина нет, дай, думаю, разыграю.

— А я чуть с ума не сошел — возвращаться в Вавилон без лошадей! Да это смерть. Сразу к Фабиану и заказывай гроб безо всяких. А ты откуда же?

— С узкоколейки, пропади она пропадом! Вагончики холодные, дорогу занесло, поезд всю ночь простоял в поле, ехала тысячу километров чин чином, а тут чуть не замерзла.

Лукьян внимательно посмотрел на нее через очки.

— Изменилась ты, Мальва, и не узнать.

— Это не оттого, Лукьян. Не от холода...

— А отчего?.. А да, да. Слыхал, знаю...

— А Глинск сегодня какой-то грустный-грустный. Или это мне так кажется после больших городов? Я ведь в Москве останавливалась. И в Киеве побыла день. Лавру видела, все видела... Станции забиты, люди снуют, едут, спешат, рвутся куда-то. А я все думаю про наш Вавилон. Как он там?

— Стоит... пусто без тебя... Ни тебе качелей, ни еще кое-чего...

— Сплетен про Мальву Кожушную... Да?

— Может, и так...

— Ну что, поехали?

— Сейчас. Дай очухаюсь...

— До того проняло? — улыбнулась Мальва.

— Ну что Соколюки без лошадей? Все равно что Фабиан без козла.

— Как он там?

— Живут. Фабиан гробы тешет, а козел шныряет по свету, покойничков вынюхивает.

— Вот без кого не быть Вавилону!

— Какой уж без них Вавилон...

— А вы как же? Так и бобылюете одни?

— Взяли на зиму Даринку... Все-таки помощь.

— Для Данька или для тебя?

— Так ведь известно, как. Данько, наверно, думает, что для меня, а я — что для Данька. Вот бусы ей везу,— и он вынул из-за пазухи полную пригоршню красных бус. Положил обратно, застегнул ворот вышитой рубашки.— Пару турманов отдал. Да каких!..

Мальва сверкнула глазами, окинула Лукьяна взглядом и спросила без малейшей зависти в голосе:

— Любишь?

— Да ведь как сказать, ты любишь, а тебя, может, и нет... А у меня еще и таланта нет такого, как у иных бывает, чтоб привязать. Я, Мальва, неудачливый. Тут лошадей потерял, там могу потерять Даринку... Ну, ладно, что это шутка, с лошадьми. А если и вправду? Пропащий я, Мальва, человек. Да другой бы не отдал таких турманов за паршивенькие бусы! А ты как думаешь, стоят эти бусы пары турманов?

— Хороший ты человек, Лукьяша. Я твою душу знаю...

— Мать знает, что ты едешь?

— Все стряслось так внезапно, что и написать не успела. Как мама?

— В порядке. Видал ее на днях. На престольном празднике. В церкви. Пели старухи славно. Говорят, последний престол... Ну, мышастые, с богом... Повезете Мальву Кожушную, а куда, не знаю. Куда, Мальва? В коммуну или домой?

— На печку. К маме. Душу обогреть... — засмеялась Мальва.

— А потом?

— Коммуну в Вавилоне осную. Пошел бы в мою коммуну?

— Но-о! — Лукьян подхлестнул лошадей.— Я вступил в соз.

— Клим Иванович бывает у мамы?

— А то как же. Дровец подкинет, еще чего-нибудь.

— А Тесля здесь? В Глинске?

— Где ж ему еще быть, Тесле? Где райком, там и Тесля. Разве в этой самой... в Костроме не так?

— В Костроме неспокойно. Там уже коллективизация идет полным ходом. Все партийные в деревнях. Банды, кулацкие восстания. Соснина нашего тяжело ранили. Лежит в Костроме. И нас всех разослали на места. С Украины много. Из Ксаверовской коммуны, из Ружинской. Тоже женщины. В одной комнате жили. Мария Чемера из Ружина. Храбрая женщина, коммунистка. Ты еще не знаешь, Лукьяша, какие бывают замечательные люди. Когда-нибудь поеду к ней. А то сидишь в этом Вавилоне и света божьего не видишь, а свет, Лукьяша, такой, что не описать и не вообразить.

Начиналась метель. Ярмарка опустела. Продал своего красавца старый Бубела или нет? И как теперь будет жить Вавилон без единственного быка?

В Глинске пахло соломенным дымом. У Мони Чечевичного уже были спущены жалюзи на окнах и на двери лавки. Из-за Мальвы Лукьян так и не успел расспросить, что делается в Глинске, не успел распить на санях бутылочку и закусить мороженым салом, которое везет в кошелке. И что ж это за ярмарка, на которой все хотят только продавать? Странное чувство охватило его, когда они выбрались из Глинска и догнали на дороге сани Бубелы, за которыми тащился на цепке бык. Они легко обогнали Бубелу — он показался Лукьяну одиноким и даже немного растерянным — и, оставив его, понеслись вперед.

За Глинском ветрам привольно, они стряхнули иней с верб, замели дороги, казалось, самый месяц прогнали с небес и заволокли их черными тучами, чернее конских грив. Подымался буран, и Лукьян невольно вспомнил о Бубеле — старику-то, пожалуй, придется повоевать с бурей и пострашнее этой.

А тут Лукьян и сам, кажись, сбился с дороги, ну да, конечно, сбился. Лошади сгоряча утонули в высоких

сугробах, пришлось стать и осмотреться в безликом поле. Ветер с самого начала дул в левый бок. А точно, что в левый? Ну, тогда пусть так же дует и дальше. Поехали и вскоре очутились в каких-то ярах и буераках. Начинали блуждать. А все из-за Мальвы. Попросила остановиться посреди поля. Сошла с саней, еще и смеется. В Костроме выучилась носить зимой штаны, экое неподобство, черт-те что для женщины! Лукьян и сам улыбнулся, а когда снова забралась в сани, спросил оробев:

— А теперь куда же?

— Прямо, Лукьяша, прямо...

Лишь на рассвете добрались в Вавилон. Спасли их та самая бутылочка да мороженое сало, недаром крестьяне всегда берут припас в дорогу. Данько был один, всю ночь тоже не спал, волновался за брата, за лошадей, бранил себя за вчерашнюю выходку. Но пуще всего он утешил брата тем, что гордая девка вчера сбежала к Отченашке. И тогда только блеснули в хате бусы, о которых Лукьян совсем было позабыл. А ведь двух турманов отдал за них...

Утром, когда утихло, лошади привели на хутор серого быка, привязанного к саням, а в санях Бубела. Он сидел, держа в руках вожжи, глаза закрыты. И когда Парфуся, выбежавшая из хаты, принялась трясти старика, он даже не повел бровью, так и остался сидеть, костляво-ледяной. Парфуся отвязала быка, выпрягла лошадей, отвела в хлев, а сама побежала в Вавилон. Она слышала, как на хуторе выли собаки, и ей становилось страшно от мысли, что они воют на своего хозяина, которого она одна не смогла внести в хату. Первым она разбудила Фабиана, ближайшего соседа. Он спал на верстаке, прикрывшись курткой, в то время как козел разлегся на лежанке. Печь была нетопленая, холодная, но у козла могло быть о ней другое представление.

Парфена боялась и умоляла Фабиана не оставлять ее одну хоть до девятого дня. Он спал в светлице на белых подушках, как барин, а Парфуся грелась на печи (она простудилась на похоронах). Козел спал в сенях вместе с собаками. Ему, должно быть, стало очень любопытно, о чем говорят Парфена и Фабиан, он насторо-

женно прислушивался к звукам, доносившимся из-за двери, но ничего существенного для себя не отметил. Козел не привык спать в сенях и после девяти дней собачьей жизни охотно шел с хозяином восвояси. А Парфуся нарядилась по-праздничному, запрягла жеребца в сани-одноконки и помчалась в Вавилон. Это был чуть ли не первый ее визит за все годы.

До сих пор Вавилон обходился без нее, а она без Вавилона, но вот приехала за Даньком, овеяла хату своими чарами, и Данько от них не оборонялся, достал из сундука хромовые сапоги, свежую рубашку, пошел в чулан переодеваться. Садясь в сани, сказал брату: «Я вернусь»,— и поехал с Парфусей на хутор. В тот же день он с плеткой, в меховых рукавицах вывел на моцион быка, прогнал его трижды вокруг хутора, точь-в-точь так же, как это делал старый Бубела, и только когда от быка на морозе пошел пар, загнал его в ясли и расчесал ему скребничкой белые кудри на голове — признак породы и неистовства плоти. Потом он расчистил от снега беговую дорожку во дворе и вывел на пробежку жеребца-четырехлетку, которого еще при Бубеле решил выкрасть не далее как будущим летом. В кругу стояла Парфена и пугала жеребца плетью, постреливая все громче и громче. То, что отличает жеребца от кобылы, очутилось на морозе, жеребец мог не чуять холода. Данько высказал свои опасения Парфене. Она засмеялась и огрела Данька плетью по спине. Этот след надолго остался на овчине. На теле он остался бы на всю жизнь...

На Данька еще шипели гусаки, еще собаки норовили на него броситься, если выскочит откуда-нибудь внезапно, но это не беда, все остальное уже привыкало. Скотина — лошади, овцы — узнавала его, даже петух перестал нападать, как было сперва, а если уж вас признает такой забияка, то считайте, что вы пришлись ко двору, что вы уже почти хозяин.

Поехал Данько осматривать ветряк, а там и Отченашка признала в нем хозяина. Показала на кулек с обметками.

— Это, сынок, так было, пусть так и останется: обметки — сторожу. Есть ветер, нет ли, идет плата, нет ли, а это мое.

Ветряк добротный, в два этажа (низ каменный, верх деревянный), летом прохладно, а зимой хоть собак

гоняй, старуха бегает ночевать домой, впрочем, не так боясь стужи, как Пелехатого...

Когда Данько осмотрел ветряк внутри и, завороженный, вышел полюбоваться крыльями — всего четыре, а какая сила! — Отченашка сказала:

— Теперь, Данько, эти крылья понесут тебя бог знает куда...

— А куда, бабушка?..

— В богатеи, куда еще... — совсем не зло засмеялась она.

— Может быть, может быть... А пока, бабушка, забирайте свои обметки, а ключ от ветряка — мне. Сам буду присматривать за ним из хутора, нечем платить вам. Так-то...

— А этого не хочешь?! — Отченашка показала ему кукиш из мохнатого рукава, чего никогда не посмела бы сделать Бубеле.— Меня тут поставил Бубела, он меня и уберет. До самой смерти поставил. А нет, так прахом пойдут и ваш хутор и вы с ним вместе, одно мое тихое словечко Македонскому... Я вам не Пелехатый, не тихий Тихон! Я на вас такое напущу, что все пойдете прахом... — она обвела всю округу рукой.

— Ключ! — Данько протянул руку в ее сторону, все еще разглядывая верхние крылья.

Ключ нырнул перед ним в снег.

Данько откопал его, обжигая пальцы. Потом вернулся на мельницу, выставил бабкин кулек с обметками и, заперев мельницу, сказал:

— Я вам, тетенька, не Бубела, а Данько Соколюк. Что он там вытворял, я не знаю. Я вашего Тихона не трогал. Это пусть на вашей душе. А платить вам всю жизнь за ветры — к черту! Что они, ваши?

— Мои! Мои! — завопила Отченашка.— Мои ветры! Другого-то у меня и нет ничего. Все тут!..

— Я же их у вас не отбираю,— проговорил Данько, усевшись в санки.— Берите их, ловите. Мне-то что до ваших ветров? — и поехал.

— Лю-удии!! — заревела Отченашка и побежала по снегу вниз к Вавилону, над которым уже стемнело.

Данько пожалел, что старая не дала ему полюбоваться ветряком, постоять, помечтать в нем наверху, где не замерзают окошки, потому что внутри тепла нет

и в помине, кроме разве того, которое он мог ощутить, уловить самой только душой.

Во дворе стояли чьи-то сани. Лошади буланые, не то из Дахновки, не то из Овечьего, когда-то он приметил их в Глинске. Так и есть, из Овечьего. Приехал на них тамошний богатей Осип Батюг. К Бубеле приехал. Парфена принимала его в светлице, угощала чаем с малиной, как дорогого гостя. Данька к чаю не позвала. Он выпряг лошадь, напоил в обмерзшем желобе, потом долго обихаживал на ночь скотину. Только проводив Батюга, Парфена вышла доить коров, и Данько светил ей «летучей мышью».

Приезжали еще какие-то люди — из Прицкого, из Журбова,— все к Бубеле, не знали, что уже нет его в живых. Один явился ночью, Данько слышал из своей каморки, где поселила его Парфена, как хозяйка выходила к этому гостю на крыльцо и шепталась с ним.

— И вы одни, Парфена? — поинтересовался гость.

— Нет. Батрак у меня есть...—ответила она тихонько, чтобы не разбудить его в каморке.

Напрасно. Данько встал со своей узенькой койки, оделся, вышел к ним на крыльцо.

— Кто тут такой?

Высокий человек в бурке вопросительно покосился на Парфену, потом смерил взглядом Данька, бородатого, растрепанного спросонок. Лошади стояли усталые, невыспавшиеся, на санях дремал парнишка в башлыке поверх шапки. Парфена плотнее завернулась в шубейку.

— Это к Киндрату Остаповичу. Не верят, Данько, что мы его схоронили.

— Почему ж не верят? — спросил Данько, подозрительно покосившись на незнакомца в бурке.

— Думают, что прячется. Не знаете вы Киндрата Остаповича. Вот почему...

— Сам Македонский был на его похоронах. Тоже не верил,— усмехнулся в бороду Данько.— Пойдите на погост. Там видно. Рядом с Бонифацием. Там они помирились...

— Так, может, пройдем в хату? Как? — обратился гость к Даньку, чувствуя по тону, что тот на хуторе больше, чем батрак.

Вознице отворили конюшню, Данько сказал ему, что он может погреться на сеновале. Парфена предупредила, чтоб не поджег. Сами пошли в светлицу. Говорили при тусклой лампе, за пустым столом.

— Я Макар Дорош из Прицкого. Брат того самого Дороша, который пошел в гетманцы и, знать, сложил там голову. Мне верить можно. У меня ветряк и еще кое-что. Тьфу-тьфу! Бубела назначил день, и мы все теперь ждем этого дня. Передайте своим, что на крещение. На православное. Передайте, что мы ничего не меняем, все останется так, как уговорились. Колокола в церквах и крещенские залпы... Это сигнал. Дай бог тихой погоды с морозцем. На прудах все покончим и идем на Глинск...

— Македонский не знает про этот день? — спросил Данько.

— Знал бы, так я не доехал бы сюда. Извините, Парфена, но это даже хорошо, что не стало Бубелы, прости, господи, на дурном слове. Это их успокоило... За хутором не следят?— это уже вопрос Даньку.

— Кажется, нет. А впрочем... Нет, по-моему. С тех пор как я здесь...

— Майгула сюда не ездит?

— Не было.

— Осторожно с ним. Майгула не тот, что был... Совсем переменился. Но и мы пощады никому! Решается, кто кого...

Дорош встал, лицо у него было иконописно благолепное. Парфене просто не верилось, что он способен убивать. Данько проводил гостя за тополя, потом долго не возвращался, верно, решал что-то для себя.

Чтобы с него не спал тот бубеловский дух, которым он только что проникся, Парфена переместила его в светлицу, где ковры и белые подушки, пожелала спокойной ночи и погасила лампу. И вот над ним висят ружья, вздымаются оленьи рога. С противоположной, едва освещенной месяцем стены скалятся во тьму волчьи головы, но больше всего поражают крылья, распростертые на белых стенах. Парфена греется на печи, справляет там свой траур, а Даньку кажется, что он не выдержит и полетит сейчас к ней на крыльях убитых птиц...

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Отовсюду до Рубана доходили слухи, что хозяева стакнулись, что ни ночь собирают «тайные вечери» у вавилонских богачей, приглашая на эти вроде бы невинные сборища и «мусор» вавилонский. Явтушок с Присей чуть ли не каждый вечер объявляются в тех хатах, где прежде ни разу не бывали. У Павлюков, у Гусаков, у Раденьких, у Лободы, пожаловали бы и к самому Бубеле, будь он жив. Даньку же Явтушок не намерен оказывать такой чести. Когда подавали на стол поросенка с хреном или жареную индейку весом с пуд, коли не больше, Явтушок наступал Присе на ногу под столом и шептал: «Вот как мне хочется жить».— «Ага, ага»,— отвечала Прися и, видя, как их ущемляют уже тем, что ставят на двоих одну миску, замечала хозяевам: «Мы с Явтушком любим есть из одной тарелки». Ели они до неприличия много, на словах Явтушок охотно поддерживал самые опасные лозунги богатеев — стоять до конца! — а едва выбирался из гостей, признавался жене: «Страшно мне с ними, Прися». Ему было все трудней скрывать свое замешательство, и он на каждой вечере дрожал от мысли, что кто-нибудь из них укажет на него перстом: «Вот он, Иуда, лучше его убить»,— и они больше не отпустят его на эту старую кровать, на которой плодились Голые.

На завтра они приглашены к Лободе на хутор, туда должен прибыть из Прицкого какой-то большой атаман не атаман, гетман не гетман, словом, один из тех, кого завербовал Киндрат Бубела в окрестных селах, чтобы в трудную минуту Вавилон не оказался в одиночестве. Телега у Явтушка есть, а саней нету, ну и надо, стало быть, занять у соседей сани на одну ночь, пешечком-то на хутор далековато, а Присе с пузом и вовсе трудно идти. Не эта бы незадача с Присей, так поехали бы к Лободе верхами — и славно, и удобно. Утром Явтушок прибежал к нам договориться насчет саней, отец сразу же согласился — летом Явтух не раз одалживал Валахам телегу, которую после каждого займа придирчиво осматривал, нет ли где какой поломки. Обстукает, бывало, каждую спицу, залезет под телегу да еще приговаривает, что телега — это вам не сани, это снасть сложная, красивая; и одалживать телегу это почти то же самое, что одалживать скрипку плохому скрипачу.

Явтушок был влюблен в саму музыку тележного скрипа, так и ехал, зачарованный, в Глинск на ярмарку или в гости к дяде в Зеленые Млыны. Едет, а телега поет под ним на все голоса, сея в душе то печаль, то нечто мажорное и веселое, в зависимости от того, с какой скоростью вертятся колеса. Все это так, но, с точки зрения отца, владельца саней, они не хуже телеги, а в особенности когда на дворе мороз, да ежели запрячь в них настоящих лошадей, а не таких мышат, как у Явтуха. А еще многое зависит от того, куда и зачем едешь...

Пока Явтушок выбрался, повечерело, Прися сидела в санях на холстинке. Явтушок так увлекся, что не заметил других саней, которые ехали за ним по пятам. Эти вторые сани выехали со двора Соколюков, потом остановились возле нас, на них подсел отец. Он не посвящал Валахов в свои тайны. Вернулся он поздно, перед рассветом. Промерз и теперь сухо кашлял. А когда утром Явтушок приволок сани тем же самым способом, каким одалживал, на себе, и, поблагодарив, хотел уже идти, отец остановил его:

— Погоди, Явтуша, поговорим-ка с глазу на глаз.

— Ну? — тот присел на сани и, сняв шапку, отер налипшие на лоб мокрые волосы.

— Никак я не уразумею, Явтуша, чего тебе якшаться с контрой? Что у тебя общего с ними?

— Это с кем же?

— А с теми, к кому ты ездил нынче ночью на моих санях... Ты видал, какие там сани, какие лошади, какие ковры? Такие ли, как эти розвальни?

— А ты откуда знаешь, где я был нынче ночью? — вскинулся Явтушок.

— А ты что ж думаешь, пока вы сговариваетесь, мы спим? Нет, брат, мы тоже себе на уме. Нам, верно, не спится еще больше, чем им. Да тебе-то что там делать?

— Признаться?

— Как хочешь. Твое дело...

— Страшно мне с ними. Так страшно, что душа в пятки уходит. Решительные они и жестокие. Насмерть будут стоять за свое. Поверь.

— Знаю...

— А я человек маленький, беззащитный. А вы хотите меня еще меньшим сделать. Отобрать телегу, лошадей, землю, мечту... Клочок неба над моим полем, где я даже звезды посчитал.

— И много их там?

— Триста девяносто две больших и сто восемь маленьких. Число, правда, не постоянное — одни гаснут, другие появляются, а только мои они, не чьи-нибудь. Потому точно над моим полем, по меже.

Отец рассмеялся. Наши поля рядом. Стало быть, и небá тоже. И Явтушок наши звезды давно себе засчитал, в этом отец не сомневался, такой и звезды присвоит.

— А ведь нам, Явтуша, как раз такие люди нужны, как ты.

— Какие такие?

— Влюбленные в землю.

— На что? — вскинулся Явтушок.— Чтоб потом глядеть на наши муки? На нашу боль, когда у нас землю отберут? И хлеб станут печь в одной пекарне, а борщ варить в одном котле? Такая ваша программа?

— О, как ты с ними далеко зашел. Уж не поздно ли и назад ворочаться? А вот ты приходи сегодня на нашу вечеринку. К Джуре. Я принесу сала с мороза. Трактор запустим. И поговорим...

— Там знают про ваши вечеринки. Рузя от них вовсе спятила.

— Напротив, выздоровела. Я играю на кларнете, а она пляшет с Джурой. Пляшет! Приходят Лукьян с Даринкой, Рубан с Зосей. Приходите и вы с Присей. И саней занимать не надо, и страху не будет за душой...

— О-о... Ну все!.. Подрались...

Это подрались петухи Явтушка и Соколюков. После каждой драки петух перестает петь, а Явтушок не терпит ночей без петушиного пенья, ну и побежал разнимать забияк.

Трактор Джуры стоит на помосте, начищенный, заправленный, в любую минуту готовый выкатиться из хаты на выгон, как танк или броневик, и нанести сокрушительный удар, посмей враг появиться здесь в каком угодно числе, с каким угодно оружием. Главное для Джуры — не дать застать себя врасплох, вовремя сесть на трактор и вывести его на оперативный простор. Поэтому, как только сходятся гости, Джура запускает свою машину с помощью заводной ручки, прогревает, убеждает в ее боевой готовности и говорит тоном человека, понимающего кое-что в классовой борьбе: «Все в порядке, товарищи». Из товарищей только козел не может

привыкнуть к этим увертюрам, и, когда Джура запускает «Фордзон», рогатый дрожит, как в лихорадке, а потом целый вечер рассматривает трактор со всем глубокомыслием, на какое способно это любознательное от природы существо. Ха-ха-ха, смеется Рузя, когда козел начинает дрожать, ей больше, чем кому-либо из присутствующих, знаком этот страх перед машиной, в свое время, когда «Фордзон» впервые появился в хате, Рузя на себе испытала затеи Джуры.

Потом она к ним привыкла, человек способен привыкнуть ко всему, даже к такому дьяволу, как Джура. Но козел не способен подняться даже до Рузи, которую все в Вавилоне почитают полоумной. Да и впрямь, ну какой же нормальный человек доверит свою судьбу Джуре? Этому стяжателю, честолюбцу, как расценивала его Рузя. Даже до ее больного разума дошло, что Вавилон кидается из одной крайности в другую, пытаясь соединить благородство и достоинство Фабиана (разумеется, Фабиана-философа) с жадностью и коварством ее Петра Джуры. Она удивлялась Рубану, принявшемуся соединять несоединимое. Ей все хотелось шепнуть мечтателю: «Антон, не верьте Джуре, этому Иуде вавилонскому, он предаст на ровном месте, покажи ему только хоть на гривенник барыша». Однако решила молчать, чтобы не угасить того источника света, который озарил ее темницу с появлением Рубана. Импонировало Рузе и то, что Рубан дружит с Климом Синицей, вот только побаивалась, что он когда-нибудь и того приведет к ней в дом.

С появлением Мальвы на этих вечеринках завелось что-то собственно ее, Мальвино, от чего Вавилон стал уже было отвыкать. Вместо водки, мороженого сала и чесноку (обо всем этом заботился мой отец, обирая Валахов) Мальва принесла сюда от Соснина костромские чаи, для чего был начищен самовар из Рузиного приданого, который раздували сапогом у окна и потом ставили на стол. Самовар из дома купцов Шамшуриных призван был теперь послужить классовой борьбе между двумя Вавилонами — тем, который собирается здесь, и тем, который шляется по хуторам. Но на хуторах не было кларнета моего отца. После застолья, за которым Мальва никак не могла приучить революционеров к чаю (они больше склонялись к традиционным вавилонским напиткам, перед которыми, по признанию самого

Рубана, меркли изделия глинских «винокурен»), отец доставал кларнет из старого, источенного древоточцем футлярчика и без нот импровизировал для собравшихся вальсы и краковяки. И снова всех покоряла Мальва. Будучи уже на последних месяцах беременности, она подхватывала Рубана или Лукьяна Соколюка, а то и самого Джуру и плясала так легко, азартно, что Зося однажды не вытерпела, приревновала ее к своему Антону и посреди танца отобрала его у Мальвы. Но тут случилось то, чего никто не ожидал, в особенности же не ожидал козел Фабиан: смущенную Мальву подхватил дядя Фабиан, до тех пор никогда не проявлявший способностей к танцам, подхватил и повел ее в таком благородном краковяке, что козел пришел в восторг от своего хозяина. Когда Мальва во время танца спросила у философа, почему он до сей поры скрывал свой талант, тот вспомнил, что до сей поры ни одна женщина не желала с ним танцевать, все почитали его за большого чудака, и ответил Мальве словами, в свое время прочитанными им среди афоризмов в комнате Соснина:

Одно — всегда одно и больше ничего.
Лишь двое создают начало одного [1].

— Вы имеете в виду одиночество вашего козла?

— Свое, Мальва, свое...

Мальва засмеялась. Не в пример другим вавилонянкам, она и беременная не враждовала с козлом. Тем более здесь. Ведь присутствие козла на этих вечеринках придавало им нечто библейское, необычное, так сказать, сугубо вавилонское, хотя речь на них шла порой о вещах жестоких.

Рубан знал, старый Вавилон не намерен сдаваться без боя, будет сопротивляться до конца, и стремился хоть немного ослабить силу врага, склонить на свою сторону побольше вавилонян. Ставка на середняка оправдывала себя не во всем, особенно если подумать о Явтушке и ему подобных. Эти метались, но душой все еще были в старом и алчном Вавилоне. Даже здесь, в жилище Джуры, он улавливал все признаки затаенной, но, в сущности, непримиримой ненависти. Фабиан своего козла небось готов обобществить хоть сегодня, а вот захочет ли Джура обобществить свой «Фордзон», если

[1] Из стихов Рабиндраната Тагора *(прим. переводчика)*.

поставить вопрос ребром? Когда Даринка, бывая здесь, тянулась к трактору, пыталась постичь хитрую машину, Джура деликатно бил ее по рукам: «Не лезь, не женское это дело!» Боялся, как бы она не овладела тайнами машины. Петро ревниво оберегал трактор и от других, только козлу позволял беспрепятственно присматриваться и принюхиваться к машине, даже был доволен этим, уверенный, что уж козел-то не овладеет техникой.

А Рубан хоть сейчас посадил бы Даринку на трактор. «Ничего,— тешил он себя,— мы у тебя, Джура, эту штуку отберем рано или поздно, на тебя-то полагаться не приходится!»

Чем угодливее и подобострастнее вел себя Джура, тем больше Рубан настораживался, хоть и не подавал виду. Возвращаясь с Зосей домой, он, бывало, все оглядывался. Как-то Зося спросила: «Что ты все озираешься, Антось? Наслушался Савки? Савка же тронутый».— «Нет, Зося, боюсь, как бы Джура не выстрелил в спину...» — «Так зачем же ходить туда?» Рубан не стал объяснять жене, почему он ходит к Джуре, почему вынужден кривить душой перед самим собою. Сказал только, что не хочет отдавать Джуру врагам, хотя из-за этого проклятого американского трактора вряд ли сумеет сделать его своим верным другом. «Вещи, Зося, имеют свойство формировать сознание людей». И Зосе не оставалось ничего другого, как посмеяться над этими премудростями, слишком сложными для ее ума. И все же она гордилась, что идет с революционером.

Мальву отводил домой мой отец, вел он ее по льду, так что боялся и за нее, и за кларнет, а больше всего боялся, чтобы об этих провожаньях не узнали Валахи. Когда Мальва еще не была женой Андриана, она нравилась отцу, потом он разжигал к ней ненависть наравне со всеми, а теперь симпатия к ней могла быть просто внушенной Рубаном классовой солидарностью.

Отправлялись домой и Фабианы, а Джура укладывался возле трактора. Если он и заходил на Рузину половину, то ненадолго, привык уже вдыхать во сне запах машины.

Однажды ночью, когда вот так все разошлись и он уже вернулся от Рузи в «мастерскую» (так Джура называл свое помещение), к нему пришли, постучались в окно. Сани стояли во дворе до самого рассвета, а те,

в хате, угрожали Джуре, припомнили ему Рузиных родителей, попрекали трактором, на котором скоро и его самого, Джуру, вывезут из Вавилона, как в свое время пана Тысевича на тачке. (И вывезут якобы именно они, те, что пришли к Джуре.) Джура молчал, Рузя не услышала ни одного его слова. Приезжал владелец молотилки из Козова, высокий, в долгополом тулупе, в серой шапке. Рузя узнала его, хотя до того видела всего два или три раза летом — Джура прошлый год на уборке «спрягался» с ним. Вышел он не один, с Павлюком и Матвием Гусаком. Джура проводил их за ограду, потом вернулся, прошел на Рузину половину, босой, в белых штанах и накинутом на плечи тулупе.

— Слыхала, Рузя?

— Слыхала...

— Никому ни слова. Поняла?

— Ложись спать, Джура. Мне все равно не поверят. Я же сумасшедшая. По вашей же милости,— и она засмеялась, а на подушке зашевелились черные змеи расплетенной на ночь косы. Джура никогда не заходил к ней об эту пору...

Прежде чем записать молодых, Рубан произнес речь. Даринка держала Лукьяна под руку, а в самом конце речи расплакалась, испортив этим весь ритуал. Свидетелями были Левко Хоробрый и Савка Чибис, которому перед тем Рубан категорически запретил смеяться при подобных обстоятельствах... Савка и сам не позволил бы себе этого. Он радовался за Даринку, как за себя, очень уж были схожи их судьбы, к обоим так долго немилостив был Вавилон...

На вечеринку пригласили Данька с Парфеной. Но им не на кого было оставить хутор, и Данько приехал один. Он никак не ожидал застать здесь Мальву Кожушную. Думал, она в коммуне, хотел даже невзначай заглянуть туда, ведь они соседи. Лицо у нее подурнело, голос звучал мягче, слабее, а смех стал ласковый, тихий, в нем не осталось ничего от того неудержимого заливистого смеха, который когда-то западал в душу. Обыкновенная Мальва...

— Как тебе там было? — спросил он.

— Тревожно там...

— И тут неспокойно... Лукьян сказал, что мы вспахали твою десятину?

— Могли бы и не пахать. Все равно весной придут трактора и все переделают по-своему. Чтобы мой конь, Данько, не прыгал к тебе в овес.

— Чьи еще трактора?

— Господи! Наши, Данько, чьи ж еще? Ну, хотя бы вон харьковские...

— На Абиссинии трактора? Да там конь в борозде устоять не может. Падает...

— А вы совсем переметнулись на хутор?— спросил Рубан.

— Как это совсем? Тут моя половина добра...

— Не половина, а треть,— уточнил Рубан.

— Конечно,— сказал Данько,— треть. Я и забыл.

Парфена оставаться одна боялась, так что он вскоре уехал, почувствовав себя на этой свадьбе лишним и отчужденным. Остановился возле ветряка, посмотрел на хутор посреди белого спокойствия. Кто бы знал, что сейчас творилось у него в душе... Днем на нижние крылья еще налетала тугая поземка, а теперь все вокруг стихло, оцепенело, лишь подчеркивая душевное смятение. Может, вернуться, напиться за счастье брата, не встревать во все то, что он принял на себя вместе с хутором?.. Но тут в ветряке Раденьких закашляла властительница ветров Отченашка... Не иметь ничего, кроме ветров, сравняться с Отченашкой?.. Нет, братцы! Это все не для Данька Соколюка. И он махнул на хутор, еще недавно призрачный и чуждый...

Парфена ждала его, выслала навстречу собак, те кинулись в сани, ластились, приветствовали его...

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Ночь под крещение выдалась скрипучая, звонкая и прозрачная, как девственный лед на пруду. Козел чуть не растянулся на нем, бедняга ведь был неподкованный. Фабиан поднялся на берег, облегченно вздохнул и со скрипом стал взбираться на гору, вслушиваясь в грациозную мелодию своих собственных шагов. Завтра

он не проспит, придет на праздник в числе первых, вместе со стрелками, которые оповестят Вавилон, что крещение началось. Он любил этот праздник не столько за самый ритуал водосвятия, сколько за игры и пиры, которые с давних пор устраивались каждое крещение прямо там, на льду, под открытым небом, возле исполинского креста. Его накануне вырубают изо льда и щедро поливают красным свекольным рассолом, который настаивают для борща.

В хатах пекли и варили, детей и взрослых переодели в чистые рубашки — здесь издавна любили и почитали этот праздник, передают, что в древности даже татары, захватив Вавилон, не мешали православным праздновать крещение, потому что и сами не прочь были полетать на вавилонских каруселях с молодыми вавилонянками. Не верить бы этим преданиям, да что поделаешь, если каждый завоеватель оставлял в Вавилоне свое семя, оно таилось до времени, как пырей в борозде, отзывалось в потомках через целые столетия. Еще и теперь, когда к кресту тянутся все лица, не обветренные суховеями, не выдубленные солнцем и степью, хорошо видно, откуда кто пришел сюда...

Самая большая беда всегда подстерегает тебя рядом. Мудрый козел едва ли не первым из вавилонян узрел ее, когда взобрался в канун крещения на свою гору и весь Вавилон открылся ему как на ладони. У ветряков, которые еле-еле шевелили крыльями, собралась толпа, чего никогда не бывало раньше в такие морозные, скрипучие ночи. Все живое, кроме разве самого козла (его хозяин гостил неведомо где), потянулось к теплу и домашнему уюту, один он бродил по Вавилону в поисках ужина, но все его попытки поживиться хоть чем-нибудь не имели успеха. Поэтому, услышав шорох крыльев, козел, не раздумывая ни минуты, помчался к ветрякам, где он всегда был желанным гостем, кроме, разумеется, тех случаев, когда среди помолок оказывались беременные женщины, те под хохот мужчин прогоняли его. Вообще же козла встречали охотно, называли его Фабианом и говорили с ним, как надлежало бы говорить с самим философом: «А-а, пане Фабиан, как живется на белом свете?» Козел усмехался в ответ на эту болтовню, притворяясь, что отлично все

понимает, покачивал бородкой и под одобрительный смешок присутствующих пристраивался к чьему-нибудь мешочку с ячменем, подсушенным на печке.

Козел легко обогнул Татарские валы и очутился на восточном склоне, всегда открытом всем ветрам. Там он пошарил в одних, других, третьих, десятых санях, обнюхал одноконные санки самого Бубелы, на которых теперь ездил Данько Соколюк, но все они оказались без помола. Заиндевелые лошади хмуро похрустывали кормом в торбах, спасаясь таким способом от мороза. Козел без всяких предосторожностей пошел к ближайшему ветряку. Он возник в дверях, как призрак, торжественный и безмерно доверчивый. Окинул взглядом присутствующих и в душе порадовался, что очутился в такой почтенной компании. Здесь были Павлюк с сыновьями, высокими и рукастыми, как сами ветряки, эти могли все разнести своими кувалдами, будь на то родительское благословение; был здесь и Матвий Гусак с обеими дочками, разодетыми в самое дорогое — на них сверкали белые расшитые кожушки и шелковые платки — в расчете на Павлюковых лоботрясов; были тут оба Раденьких, владельцы ветряка, неторопливые и рассудительные, как ветры в крещенскую ночь; наконец, было здесь и множество других, кого козел не успел рассмотреть при тусклом фонарике. Но уже в следующее мгновение козел почувствовал, что он здесь личность не весьма желанная, ему не сказали, как всегда: «А, пане Фабиан!» — а встретили, мало сказать, неприязненно или холодно, просто враждебно. Старший Раденький, сидевший выше всех у единственного окошечка, сказал тем, что стояли у дверей:

— Гоните его, он уже давно продался им!

И хотя имелся в виду не козел, а его хозяин, все ненавидящие взгляды устремились на голодное и невинное животное, пришедшее сюда в надежде на самый лучший прием.

«За что?» — оторопевший козел (как известно, очень склонный к размышлениям) задумался и за эту свою неосторожность был жестоко наказан Даньком Соколюком.

Данько прибыл на мельницу с Парфеной. У нее не было оснований остерегаться встречи с козлом, но,

увидя рогатого, она вскрикнула и закрыла глаза руками, а Данько сорвался с места, подбежал к козлу и хватил его кулаком меж глаз. Это было так неожиданно для Фабиана, который издавна считал Данька своим покровителем, что он от изумления только вытаращил глаза и упал без памяти, после чего его схватили за ноги и безжалостно вышвырнули наружу. Бог знает, сколько времени козел пролежал у ветряка, но когда он очнулся, а очнулся он только потому, что невероятно замерз, то увидел над собой небо с вымерзшими звездами, запертые ветряки и дорогу в село, выбитую санями и лошадьми, а еще услышал тишину, странную и загадочную, от которой сразу же утих шум в голове. Он понял, что его бросили здесь на произвол судьбы, встал и заскрипел по насту к дому.

Левко Хоробрый, верно, хорошо поужинал, потому что досыпал посреди комнаты на чумарке Бонифация, обутый, нераздетый, шапка лежала сбоку, а в ней грелась мышь, может быть, единственная мышь в этом голодном царстве. Когда козел ночевал дома, она любила греться возле него. Фабиан постоял некоторое время возле хозяина, надеясь, что тот проснется от самого его дыхания, но это была тщетная надежда. Тогда козел предпринял более решительные меры. Он толкнул философа рогами сперва легонько, деликатно, а потом и бесцеремонно. Это помогло. Левко Хоробрый вскочил, перепугав мышь, которая выпрыгнула из шапки и шмыгнула под холодную печь, и вытаращился на козла.

— Где ты ходишь, негодный? Я из-за тебя очки потерял.

Фабиан вздохнул, усмехнулся в бородку, все это было ему давно знакомо. Когда хозяин терял очки, которые, впрочем, потом всегда находились, он обвинял в этом козла, словно у того не было более важных обязанностей, чем стеречь эти проклятые очки.

Потом философ снова прилег и быстро заснул, он знал, что некоторое время обойдется и без очков, пользуясь чудесными глазами Фабиана-четвероногого, который в таких случаях принимал на себя обязанности поводыря.

Так оно и было. Как только рассвело и настало время идти на праздник, Левко Хоробрый умылся, при-

вел себя в порядок, почистил сапоги, разбудил козла и, взявшись за рог, с напускной важностью двинулся к кресту, куда уже начали стекаться вавилоняне.

Первыми прибыли к кресту стрелки, человек двадцать — двадцать пять. Они толпились вокруг Петра Джуры, которого выбрали старшим. Ружей было немного — у самого Джуры, у Раденьких, у Данька Соколюка (отличная Бубелина тулка), у Сазона Лободы, у Матвия Гусака, то все обрезы, самопалы, пугачи. Павлюки притащили пушку не пушку, а что-то похожее на нее, огромное и неуклюжее, оно лежало на возке от плуга, жерло было забито порохом и паклей, а чтобы возок после выстрела не пошел кубарем по пруду, его собирались как следует закрепить. Собственно, этим и были заняты младшие Павлюки, пока старший осматривал ружья, примеряя каждое к своему плечу.

Ждали народ и еще ждали батюшку. С тех пор как в Вавилоне сожгли церковь и умер отец Сошка, батюшек привозят из других приходов. На этот раз уговорили глинского батюшку, за ним послали одного из Скоромных, у него лошади попрытче. Вот и ждали отца Селивантия, которому предстояло освятить воду, взять за это червонец и на свежих лошадях отправиться в свой храм, потому что и там ведь крещение.

Народ стекался к пруду несколькими рукавами, все несли с собою печеное и вареное, несли водку в бутылях, чтобы здесь опорожнить их и наполнить святой водой, которую потом продержат до следующего крещения.

Козел любил этот праздник за пальбу и за игрища, которые начинались сразу же после водосвятия. Под шумок он отлично завтракал кутьей и другими деликатесами, которые потом снились ему много дней, когда он жил впроголодь. Очутившись у креста, Фабиан отпустил козла, и тот сразу же пошел к стрелкам, которые встретили его весьма подозрительно. Чудо из чудес, ведь большинство из них видело его этой ночью возле ветряка убитым! А Соколюк даже опешил от такой встречи, еще бы, козел узнал его и смотрел на Данька явно с повышенным интересом. Данько сплю-

нул, отошел в сторону, верно, хотел замешаться в толпу, но козел под хохот стрелков двинулся за ним. Тогда Данько остановился, снял с плеча ружье и замахнулся на козла прикладом.

— Чего ты?

Козел опустил глаза, поник, ему не хотелось умирать вторично, да еще сегодня, в такой благодатный день, он оставил Соколюка и пошел к женщинам упиваться запахами кутьи в обливных горшках. Среди женщин оказалось немало беременных, они сразу напомнили о себе, и козлу пришлось податься в другую сторону — к богомольным вавилонским старухам, которые давно уже пытались обратить козла в свою веру, потому что при его появлении всегда крестились и шептали молитву: «Господи, укроти дьявола, пошли душе нашей мир и упокоение...» Здесь козел и остался до начала водосвятия, в меру торжественный и благочестивый.

Старший Павлюк зажег фитиль в самодельной пушке. Страшный взрыв всколыхнул небо. Вавилонские бабки пали на колени и перекрестились. К кресту подошли стрелки, стали тесной шеренгой и по команде Петра Джуры пальнули в небо раз, другой и третий. В ту же минуту им отозвались в Прицком, Козове, Дахновке, а тем селам откликнулись другие села, и, верно, дошло до самого Глинска, по всему Верхнему Побужью раскатилось гулкое эхо. Бабки на радостях плакали, а женщины кричали нашим и тамошним стрелкам:

— Славься! Славься!..

На несколько минут все заволокло дымом, а когда он поднялся и открыл толпу, люди увидели, что к кресту ведут связанного человека в одной рубашке, в галифе, на голове его от резкого шага колыхались густые черные волосы.

— Рубан, Рубан!.. — прокатилось по толпе.

Его вели Скоромные, оба с ружьями наготове, так что за батюшкой, видно, послали кого-то другого, а может, и никого не посылали. В нескольких шагах от конвоя бежала Зося с запеленатым в платок маленьким Бонифацием на руках, сама в сапожках на босу ногу, в безрукавке, растрепанная, с косою по колено. Когда пришли Скоромные, вооруженные дробовиками,

Зося как раз топила печь. Они подняли Рубана с постели, забрали из-под подушки револьвер и повели председателя на пруд, сказав, что выполняют волю общины.

Выйдя к пруду, Рубан понял, чья это была воля. А когда после вавилонского залпа началась пальба в окрестных селах, догадался, что беззаконие творится не в одном только Вавилоне. И все же, когда его подвели к кресту и поставили лицом к стрелкам, спросил их:

— Это что, бунт?

Стрелки переглянулись, никто не отважился ответить ему прямо, и он приказал Скоромным, которые всегда служили обществу, но не всегда знали, во имя чего:

— Развяжите руки. Я ведь без оружия.

Петро Джура кивнул головой, и они с радостью освободили Рубана. Старший Скоромный, Нечипор, держал в руках веревку и не знал, что с ней делать.

Рубан убрал со лба черную прядь, сложил на груди посиневшие руки. Больше всего ошеломило его, что среди стрелков был Джура.

— Я спрашиваю, что это, бунт или какие-то глупые выдумки?.. Что же ты молчишь, Джура?!

В ответ Петро Джура подал знак сделать еще залп в небо, и снова откликнулись в Прицком. А вот в Семиводах, где коммуна Клима Синицы, не откликались на позывные Вавилона, и это заметно опечалило Джуру. Но его уже почти насильно вытолкнули на помост, где должен был служить батюшка. Джура, смущенный и неуверенный, искал первое слово, а когда нашел его, губы слиплись, и он проговорил почти шепотом:

— Дорогие односельчане! Люди добрые!

— Что он там шепчет? — бабки высвобождали уши из-под теплых платков.

— Громче! — раздалось в толпе.

— Вот я и говорю, что получили мы землю и волю, а теперь хотят отобрать их у нас такие, как мой друг Рубан...

— Не дадим! — заорал Сазон Лобода.

— Вы слышите, как нам откликаются отовсюду? — выскочил Павлюк.

— Мой друг...— снова принялся за свое Джура.

— Плевал я на таких друзей, как ты! — выпалил Рубан и сам пошел к ледяному помосту.

Джура снова запнулся на слове, и, пока он силился что-то ответить Рубану, а стрелки плевали в сердцах себе под ноги, видя, какого недотепу выставили вперед, Фабиан столкнул Джуру и сам стал на помост.

— Очки, очки,— послышалось в толпе, которая уже разделилась на две части: большинство было против бунта, меньшинство — преимущественно жены и дети зажиточных вавилонян — за бунтовщиков.

Добрая женщина, зная врожденную слепоту Левка Хороброго, принесла ему на водосвятие очки, которые он забыл накануне у нее в хате; утром она топила печь, нашла их в соломе, и теперь золотые очки передавали из рук в руки, пока они не попали к хозяину. Без них он на помосте был ничем, а с ними сразу почувствовал себя философом, властителем дум этой бушующей толпы, которая уже притихла и окончательно была покорена, когда на помост с необычной лихостью вскочил еще и козел.

Два Фабиана, из которых один стоял на пороге бессмертия, заслуживали внимания, но тут в дело вмешался Кочубей. Панько выбежал из толпы, взобрался на помост и тоненьким, писклявым голоском, каким верещат боровки, когда он их холостит, проговорил:

— Этого шута я не хочу слушать и вам не советую. А я слышу гром свободы, за которую бились наши отцы и мы, старшие...

— Борец за свободу,— презрительно процедил Рубан.— А еще ходил в председателях!

— Да здравствует Панько Кабанник! — закричали в толпе с явной издевкой.

— Ура! — прокатилось над прудом.

— Давай программу!..

— А какая программа? — развел руками Панько, когда толпа угомонилась.— Либо каждый сам по себе, как было до сих пор, либо коммуна, колхоз,— он показал на Рубана.— В Глинске уже стоит порожняк, на котором собираются вывозить вас из Вавилона.

— Врет он,— сказал Рубан.— Я вчера из Глинска. Нет там никаких эшелонов. Вранье все это. Как председатель сельсовета призываю вас разойтись!

— Джура, а ну зачитай список! Кого там наметили? — сказал старый Павлюк, подойдя с ружьем к помосту.

Джура вынул из кармана список, набрал воздуха и прочитал:

— Список длинный! Петро Джура — это я то есть.— Он показал на Рубана.— Так он предал своего друга. За то, что я один раз уже спас его от смерти. Вы помните...

— Читай, читай!.. — крикнул Явтушок.

— Читаю... Матвий Гусак со всей семьей. Скоромный Тихон, Скоромный Нечипор. Оба с семьями. Явтух Голый с женой и восемью детьми.

— Ждут девятого,— сострил кто-то из толпы.

— Федот Раденький, Хома Раденький. За ветряки.

— Чтоб не больно радовались,— снова отозвался шутник.

— Северин Бута. За пчел. Данько Соколюк.

— За то, что пошел в примаки.

— Парфена Бубела.

— За примака,— раздалось из толпы.

— Нет, за старого Бубелу, царство ему небесное,— проговорил Джура. И продолжал читать: — Панько Кочубей. Да, да сам Кочубей...

— Ой, беда, кто же будет холостить боровков?

— Не знаю,— ответил Джура, подув в озябшую горсть. И продолжал: — Чаплич.

— За принадлежность к дворянскому сословью.

— Есть Чаплич?

Отозвался его сын Демко:

— Отец с печи не слезает уже который год.

— Тогда тебя вместо отца,— разговорился Джура.— Сазон Лобода с Теклей. Вы тут, Сазон?

— Тут, бей их гром, откуда они взялись на нашу голову!

— Павлюк Левон, Павлюк Онисим, Павлюк Махтей, Павлюк Роман со всем родом.

— За меха, за молоты, за лемеха.

Джура замолчал, список кончился, и оратор сразу растерялся, не соображая, что говорить и что делать дальше.

— Кто там еще? — спросил Рубан.— И кто составлял этот список?!

— Больше никого,— виновато ответил Джура.

— Не горюйте, будет еще и другой список. Эти только начало. Доберутся до всех! — закричал Матвий Гусак, сам и составляьший прочитанный Джурой список.

— На крест его, на крест! — выкрикнул старший Раденький.

Завопила Зося с Бонифацием на руках. Чьи-то сильные руки схватили Рубана и потащили на крест. Когда его поставили лицом к стрелкам, спиной к народу, Зося кинулась в ноги Матвию Гусаку, но тот остался равнодушен к этому и снял с плеча ружье: тогда она побежала к Джуре, глядевшему на нее холодными глазами, словно впервые видел; наконец стала умолять всех:

— Люди добрые, мало вам Бонифация? — голосила она в надежде, что вавилоняне смилуются над ее горем и остановят расправу. Стон сочувствия послышался в толпе, которая снова делилась на группки, металась, роилась на льду.

Рубан с ненавистью смотрел на стрелков, удивляясь тому, как спокойно они заряжали свои ружья, почти все, даже Джура, хотя достаточно было бы и одного выстрела.

«Черт подери, не станут же они стрелять в народ?» — невольно подумал он, чувствуя чье-то тяжелое дыхание за спиной. Он оглянулся. Позади него стояли Лукьян и Даринка, младший Соколюк виновато поздоровался с Рубаном. И даже когда Джура, постепенно входя в роль вожака, крикнул:

— Эй, там, отойдите в сторону! — и толпа бросилась врассыпную, Лукьян и Даринка остались стоять, и Рубан теперь еще отчетливее ощущал их взволнованное дыхание. Для него это была награда, на которую он почти не надеялся, а для Джуры это было не просто непослушание. Джуру кольнуло что-то, но он не позволил себе отступить.

— Соколюк! — заорал он на Лукьяна, давая понять, что тому следует убраться с Даринкой прочь, оставить Рубана на кресте; даже Зосю уже препроводили к бабкам, которые, верно, ее успокоили, потому что плача не стало слышно.

Однако Лукьян не подчинился и продолжал стоять рядом.

— Приготовиться! — приказал Джура, полагая, что это наконец повлияет на младшего Соколюка.

— Погоди, Джура! Погоди готовиться...— Лукьян обратился к толпе.— Люди! Я помогал Рубану составлять список, так что и я с ним в ответе...— В толпе за-

гудели, но Лукьян продолжал: — Но там, в том списке, не было ни Джуры, ни Чаплича, ни соседа Явтуха, ни тебя Данько. Не было вас. Не было! И я готов умереть с Антоном, потому что ставлю его выше любого из вас как человека, как друга, как товарища. Стреляйте в меня вместе с ним. Чего затихли? Стреляйте, мерзкие ваши души!.. — и он стал на крест.

— Что будем делать? — заколебался Джура.

— Лукьян, что ты потерял на этом кресте? — тихо спросил брат.

— То, что ты нашел среди них,— Лукьян показал в сторону стрелков.

Данько отчаянно шагнул вперед, он готов был столкнуть брата с креста, закричать на всю округу: «Я старший! Я старший! Слушайся меня, нечестивец, как тебе мать завещала!» Но встретил пронизывающий взгляд Парфены, уловил ее недобрую улыбку и остановился, попятился, проговорил, подавляя боль:

— Пускай. Если человеку надоело жить, так что ж, зачем останавливать. Пускай пропадает, дурак! — Он еще надеялся, что Лукьян поймет намек на то, что все это не шутки, и подчинится приказу.

Нет, не отступил. И откуда только взялся этот дух у святенького?

Женщины подхватили Даринку и силой оттащили ее от креста. Она была уверена, что Данько не станет стрелять в брата. Он и в самом деле растерялся, оглянулся на стрелков с немым вопросом: так как?..

— Чего скис? — презрительно прошипел Явтух Голый, подумав, что лучше бы этот очутился там, на кресте, а не Лукьян.

— Да нет... — замялся Данько.

— А что же тогда?.. Командуй! Видишь, Джура сник?

— Завяжите ему глаза, — попросил Данько, чтобы не видеть братнего взгляда.

Из кулацкой кучки протянулось несколько белых платков. Тут заведено под теплые платки надевать еще белые. Только Парфена на хуторе отстала от этой моды. Все платки оказались у Джуры, их было больше, чем надо, лишние он бросил к ногам дочек Гусака. Потом, поколебавшись, взошел на крест, завязал глаза Лукьяну, а когда хотел уже сойти, увидел Фабиана, тот тоже взошел на крест, оставив козла у помоста. Фабиан снял очки.

— Завяжи, Джура, и мне. Лучше я здесь погибну, чем терпеть от вас такой срам, вечный срам для Вавилона.

Джура набросил и Фабиану платок на глаза. Трагическую тишину нарушил чей-то неуместный смех. Причиной его был козел, он оставил помост и подошел к кресту, который ему страшно хотелось лизнуть языком. Он все же не сделал этого, только стал рядом с Фабианом. Одни откровенно хохотали над выходкой козла, другие посмеивались, отдавая должное его храбрости. А Джура снова очутился перед дилеммой: завязывать ли глаза и козлу? Даже по сравнению с козлом вид у него был жалкий.

Ощутив, что рядом козел, Фабиан спросил:

— Его за что? Пошел вон!

Но козел даже не пошевельнулся. Тогда Фабиан обратился к стрелкам:

— Не вздумайте похоронить меня вместе с козлом на скотомогильнике. Я православный, так и хороните меня там, где православные лежат. А вам, кулакам и кулацким прихвостням, я вот что скажу перед смертью: люди вы дурные, злобные и бесчестные. Вот хоть Джура. Он тоже вместе с нами составлял списки на высылку. Был Рубан, был я, был Лукьян, был и Джура. Пятым был Савка Чибис (Мальву Кожушную Фабиан не назвал). Савка Савкой, а Джуре, если он человек честный, следовало бы стать рядом с нами на крест. Где ты, Джура? Пусть и тебе завяжут глаза.

— На крест Джуру! На крест! — закричали в толпе.— Нечего ему ходить в героях.

Зачинщики мятежа заколебались было, но быстро поняли, что в такой ситуации для них лучше пожертвовать Джурой.

— Вставай, Джура!— сказал Гусак с молчаливого согласия остальных.

Джура не двигался, ожидая, что кто-нибудь заступится за него, все еще не веря, что предан.

Но тут Данько Соколюк решительно шагнул к Джуре, отнял у него дробовик, показал на крест.

— Выходи, душа с тебя вон!

— Лю-уди — завопил Джура.— Лю-уди!!! Спасите!!!

Но не найдя ни у кого сочувствия, он в несколько прыжков обогнул крест и бросился наутек. Кто-то из стрелков выстрелил ему в спину. Петро еще немного пробежал, потерял шапку и свалился на лед. К нему подбежала Рузя, перевернула его навзничь, зарыдала.

Он еще смотрел на нее глазами, полными страха, потом спросил шепотом:

— Это ты, Рузя? Что они со мной сделали!..

Козел не выдержал, тоже пустился бежать от креста, и его спасло только то, что в этот миг стрелки как раз перезаряжали ружья. Он поскользнулся и нескончаемо долго ехал по льду юзом, вытянув передние ноги, но теперь уже не смеялся никто.

Трое на кресте стояли недвижимо. Только Лукьян сорвал с глаз повязку.

Однако стрелки молчали. Ждали Мальву Кожушную, которую вели сюда Бескаравайные. Они шли без оружия. Мальва ступала осторожно, боялась упасть. За нею старческими шажками семенила мать.

— Живей там, живей! — заорал Матвий Гусак.

— На крест ее, коммунарскую подстилку!..

— Люди добрые! Что же вы, не видите, какая она! — заголосила Прися, ища глазами Явтушка, чтобы он заступился за Мальву.

— Не смейте Мальву,— проговорил Явтух Голый, крестник старухи Кожушной.

— Стреляйте!! Но если хоть пальцем тронете Мальву, прокляну вас с того света навеки. Слышите вы, басурманы? Еще римское право не допускало такого зверства! — вскричал Фабиан.

— Завяжите ей глаза и ставьте на крест,— спокойно сказал старый Павлюк.— То Рим, то Вавилон.

— Данько, ты когда-то клялся, что любил ее,— застонала Зингериха.

— Замолчите, мама! — сказала Мальва.— Какая любовь у такого сквалыги?! — И бросила ему: — Выродок проклятый! Стреляй...

— Приготовьсь!..— заорал Павлюк, чувствуя, что с появлением Мальвы что-то рушится.

Вдруг на крест вспрыгнули Бескаравайные.

— Не бывать этому! — Они еще там, в хате у Кожушных, советовали Мальве не ходить сюда, хотя их послали именно за нею. Теперь, увидев, чему стали причиной, они разом выросли перед стрелками, посеяв в их рядах смятение.— Не дадим убивать! Не хотим крови на наших руках!

Из шеренги стрелков, как по команде, вышли Скоромные — отец и оба сына,— приведшие на крест Ру-

бана, и стали стеной между стрелками и теми, на кресте. Скоромный-отец сказал стрелкам:

— Оружие на лед! Мы мирно все уладим,— и первый положил на лед наган Рубана. Сыновья сделали то же с ружьями, которыми вооружились этой ночью в ветряках. Ребята так и не знали как следует, чьи у них ружья, и до этой минуты даже горделиво помахивали ими. Но в этой семье все было подчинено одному, сыновья ждали, что велит отец, стояли грозные и неумолимые, готовые биться хоть один на один со всем Вавилоном, недаром же казаки Скоромные, от которых они ведут свой род, составляли когда-то у Ивана Богуна «грозную сотню». Однако биться со стрелками Скоромный не решался, надеясь, что все еще обойдется мирно. Старый Павлюк, приняв на себя обязанности вожака, сказал им:

— Скоромные, дорога каждая минута... Либо мы, либо они. Другие уже пошли на Глинск. А мы тут нянчимся с вами. С кем вы, в конце концов?!

Скоромный указал на лед.

— Положите оружие, тогда скажу...

— Не надо крови! Не надо! — закричали женщины.

В задних рядах заметался Явтушок: «С кем? За кого? Чья возьмет?» Вот вечно так! Вечные метания от слабейшего к сильнейшему. На уме у него все вертелось: «С кем Скоромные, с теми и победа». Когда Скоромные привели Рубана, Явтушок сразу же примкнул к стрелкам, а сейчас, когда Скоромные заколебались, заколебался и он. Они так хорошо стоят, что, не будь холодка страха в животе, он стал бы рядом. Верно, за всю жизнь не было у него таких колебаний. Когда стрелки перезарядили ружья и взвели курки после ужасающе тихого «приготовьсь!», его словно исполинским колуном раскололи пополам с головы до ног. «Неужто выпалят?!» — в ужасе подумал Явтушок. И только теперь в душе порадовался, что в его холодном обрезе, который он на рассвете вынул из тайника, не было ни одного патрона, хотя до сих пор он, видя, как другие хорошо вооружены, чувствовал себя неполноценным среди стрелков.

Скоромный заметил в глазах Павлюка недоброе, покосился на сыновей, словно сказал им этим быстрым взглядом: «Будем драться». Павлюк как будто почувствовал это, прошипел осатанело:

— Изменник! — и выстрелил в Скоромного.

Тот еще успел крикнуть сыновьям:

— Ребята! — и с голыми руками пошел на стрелков. Данько добил его из инкрустированной тулки, из которой Бубела когда-то валил волков. Сыновья Скоромного сбили с ног Павлюка и не дали Даньку перезарядить ружье, повалив и его на лед. Сыновья Павлюка оставили пушку и устремились в кулачный бой, пролагая себе путь к отцу. Явтушок забегал со своим обрезом, не зная, кого бить, а кого миловать. Рубан и Лукьян, не раздумывая, кинулись в самый омут схватки. За ними пошли на стрелков и Бескаравайные, первым делом принявшись месить сапогами Павлюка.

— Детки! — взмолился Павлюк, и трое сыновей, оставив Скоромных, разом бросились к нему на выручку. Явтушок сгоряча огрел по темени Панька Кочубея, и тот пластом упал на лед, выронив из рук обоюдоострый нож. Явтушок просто спутал Кабанника с кем-то другим и теперь пытался подать ему руку помощи. Но все это видела жена Кочубея, она подбежала с горшком и опрокинула его Явтушку на голову.

— Ух! — вскрикнул Явтушок, облитый холодной кутьей, и ошалело заметался с горшком на голове.

Сазон Лобода орудовал прикладом и уже свалил этим способом на лед обоих Бескаравайных, а теперь пытался подать Павлюку свою берданку, преимущество которой в этом бою было очевидно для всех (у нее безотказный приклад), но опоздал. На кулачье бросились женщины, в стрелков полетели миски, бутылки с водкой, горшки с кутьей и даже горшочки с тушеным мясом, от которого еще шел пар. Один такой горшочек угодил в Павлюка, и с его командованием на какое-то время, казалось, было покончено, чем немедленно воспользовался Фабиан, все еще стоявший на кресте, наблюдая за схваткой. Забросанные дарами водосвятия и отчасти разметанные Скоромными и Бескаравайными, стрелки утратили все признаки организованности и производили жалкое впечатление, к тому же Рубан вырвался из рук напавших на него Раденьких и теперь волтузился с ними на льду перед самым крестом, сшибая с ног то одного, то другого.

— Жены, холера вас забери! Спасайте мужей! За мной!

Хрустнуло сразу несколько крестиков из крещенской стражи, самые смелые подняли их обеими руками и двинулись на стрелков. Вела Даринка с высоко занесенным крестом, это откликнулось в ней отцовское: так Журавка когда-то водил в бой пастухов. Данько душил Лукьяна, и она бросилась туда и обрушила свой крест на голову деверя. Зося, положив Бонифация на лед, орлицей налетела на Раденьких, которые одолели Рубана и теперь топтали, били его носками сапог. Прися напрасно пыталась взять в руки Явтушка, который бегал от нее, не желая поддаваться жене, потому что так еще и не знал, кто же в конце концов возьмет верх на водосвятии, и больше всего боялся ошибиться. Схваченный Присей за полу, он вырвался и бросил бестолковой жене:

— Дура! Еще ничего не понятно!

Видя, что ихних бьют, кинулась в самую кашу гордая Парфена, а за ней Гусаковы дочки, обе Раденькие, Кочубеиха, жена Сазона Текля с хутора, одним словом, все, кто до этой минуты еще рассчитывал на победу. Напрасно старый Павлюк пытался снова овладеть положением, подчинить себе обезумевшую толпу. Все смешалось, забурлило, подымалось и снова падало на лед. Одних месили сапогами, других, кто еще оказывал сопротивление, хватали и валили на лед, а ружья разбивали в щепки. Разметав стрелков, женщины сцепились между собой, волочили друг дружку за косы, визжали, молили, кляли.

С Вавилонской горы на запруду спускался санный обоз с вооруженными людьми. Впереди летел на коне, уцепившись обеими руками за гриву, Савка Чибис. Услыхав о бунте и аресте Рубана, Савка раздобыл коня и махнул на нем в коммуну. Конь был чалый Панька Кочубея, Савка взял его из хлева самочинно, когда хозяин уже ушел на «праздник», но стрелки не знали этого и, увидав знакомого коня, закричали в один голос:

— Измена! Измена! Смерть Кочубею! Смерть Кабаннику!

Панько знал, что тут не помилуют, и побежал навстречу коммунарам...

— Ай, Савка! Ай, молодец! — Панько и сам теперь рад был бы ехать на коне рядом с Савкой. Видя, как разлетаются богатеи со своими сторонниками при са-

мом его появлении на пруду, Савка снова захохотал, и, как всегда, некстати — неподкованый конь как бы от его смеха растянулся на льду вместе с всадником.

Первым побежал Явтушок, споткнулся у маленького крестика из стражи и распластался на льду, а его железный обрез, благодаря которому он так воинственно держался среди стрелков, поехал без него по льду в сухие камыши. А вон загремели Павлюки с пушкой на полозьях, они держали в лозняке сани, на которых собирались ехать в Глинск, а теперь привязали к ним пушку и понеслись на хутор. Данько с Парфеной во весь дух бежали к своим санкам, тоже припрятанным в лозняке. Ого, сколько там саней, и все готовились на Глинск! Только у Скоромных не было саней, и они бежали с убитым отцом на плечах, то и дело сбиваясь с ноги.

— Скоромные! Стойте! — звал их Рубан, но тем только придавал им прыти. Они бежали так, словно отец ничего не весил... Страшный, в исполосованной рубашке, с растрепанными волосами, весь еще в пылу боя, Рубан в восхищении смотрел, как они несли прах самого храброго из вавилонян. Последними рассыпались, словно стайка вспугнутых воробьев, дети. Над опустевшим местом побоища, по которому, вороша меховые рукавицы, платки и шапки, гуляла поземка, слышался плач Мальвы Кожушной, это рыдал в ней еще нерожденный младенец... Поземка гнала куда-то высокую шапку Киндрата Бубелы, потерянную вторично, на этот раз Даньком. Савка, выбравшись из-под коня, поймал ее и принес Рубану.

— Вот она...

Тот смотрел на Савку безумными глазами и ничего не понимал. Он словно все еще стоял на кресте. Наконец кто-то из коммунаров догадался накинуть ему на плечи полушубок, он как-то сразу пришел в себя и бросился обнимать Савку.

Рузя подобрала шапку, взяла убитого Джуру за ворот, подняла ему голову, чтобы лицо не билось об лед, и поволокла домой. Клим Синица поздоровался с ней, но она не узнала его или не признала и продолжала тащить своего Джуру, которого боялась всю жизнь. За нею шли в черном, словно не от мира сего, вавилонские старухи, чтобы обрядить убитого. Возле запруды

старухи взяли Джуру на руки и понесли. В хате его положили на лавку перед трактором, который тоже, казалось, вместе с хозяином остыл навеки.

То на том, то на другом краю Вавилона подымался вопль причастных к бунту. За какой-нибудь час их собрали у сельсовета. Туда же сошелся весь Вавилон. Из Глинска на нескольких санях примчался с людьми Македонский. С ними вернулся и мой отец, который вроде бы тоже поехал за батюшкой, а привез начальника милиции. Еще на рассвете к нам прибегала Рузя, предупредила отца о бунте и умоляла не показываться на пруду.

В брошенных на произвол судьбы дворах ревела непоеная скотина, кричали голодные свиньи, выли по хозяевам псы. Недавние вавилонские заправилы сбились в кучку на санях Гусака.

Парфену привезли с хутора одну — Данько бежал куда-то верхом — и так одну и препроводили к сельсовету. Она сидела на своих одноконных санках. Будь рядом Данько, Парфена сочла бы себя просто счастливой, хоть и оставляет хутор навсегда.

Явтушок, скорчившись, плакал среди своих детей на казенных санях, потому что собственных у него не было, а на сани Гусака он сесть не захотел.

Рубан огласил постановление Вавилонского сельского Совета об аресте бунтовщиков и стал читать список. Каждый поименованный отвечал внятно: «Я — Хома Раденький», «Я — Матвий Гусак», «Я — Проц Гулый», «Я — Панько Кочубей» и так далее.

Когда Рубан назвал Явтуха Голого, за него ответила Прися:

— Явтушок тут, а как же,— сказала она, желая хоть этим подчеркнуть его добропорядочность и послушание властям.

Причиной всего был обрез, который Явтушок держал в тайнике (Соколюки ж рядом!). Обрез — это оружие. Явтушок умолял Присю не забывать его, ждать до самой смерти. Прися клялась мужу в великой любви и преданности, жалела, что не сшила ему новых штанов, теплых, суконных, как у зажиточных хозяев, и ему предстоит ехать в жиденьких полотняных штанах. Она так и не уговорила Явтушка взять с

собою праздничную вышитую рубашку и черный касторовый жилет, он не стал надевать их на водосвятие, думал, что там придется биться на кулаках. Уже здесь, в санях, он попросил Присю снять с шеи нитку красных корольков, она сняла и бросила ему в котомку с хлебом, несколькими кусками сала и новеньким рушником, еще не беленым и жестким, как жесть.

Левко Хоробрый попрощался с Явтушком по славянскому обычаю — трижды расцеловавшись. Явтушок жалел, что философ не едет — все-таки было бы веселее, если отправят далеко,— и он снова заплакал.

— У тебя своих деток нет, так уж пригляди за моими,— попросил он под конец.— Твой козел любил летом обедать с нами под грушей.

Левку хотелось выручить Явтушка, вернуть его детям, да и жаль было, что теперь по воскресеньям не видно будет больше над плетнем этого дива — Явтушка в вышитой рубашке и касторовом жилете. Фабиан несколько раз бегал то к Рубану, то к Климу Синице.

— Я насчет Явтушка. Ничего кулацкого в нем нет, он середнячок натуральный, вы же видите, давайте отпустим его с миром.

— Я не против,— сказал Рубан,— только согласится ли Македонский...

Тот понял, о ком речь.

— Пусть едет, в Глинске разберемся.

Все видели на пруду Явтушка с обрезом.

Вывезли мятежников в полдень. В здешних краях об эту пору то и дело метет. Вихри, затаясь в Кумовой балке или еще где, дремлют там тихонько всю ночь, а только в Кумову балку заглянет солнце, вспархивают оттуда, налетают на ветряки, а потом допоздна озоруют над Вавилоном. Первая тронулась на своих санках гордая и красивая Парфена, а уж за нею потянулись к глинской дороге остальные. У запруды остановились — на пруду одиноко лежал исполинский крещенский крест, он багрово сверкал, и было в нем что-то трагическое, фатальное. Все затихли перед этим вечным крестом, даже конвоиры не торопили арестованных, дали им возможность вволю налюбоваться по-

следним крещенским крестом, возле которого мог бы разыграться чудесный и веселый праздник с катаньем на каруселях.

Кресту еще долго лежать на пруду, до шквальных весенних ростепелей, и только козел Фабиан, гонимый голодом, изредка будет наведываться к нему, преимущественно ранними утрами. Старику все будет мерещиться, что произойдет чудо и люди снова выйдут на водосвятие с печеным и вареным. Но чуда не произойдет, а красный свекольный рассол вымерзнет начисто, и крест приобретет размыто-синюю холодную окраску, пока паводок не подхватит его и не прибьет к запруде вместе со льдами.

На рыночной площади в Глинске полыхали костры, для поддержания которых ломали нэпманские ларьки. Вавилонский костер отличался от других. Его развела Парфена с женщинами, а грелся возле него и жарил сало на железном пруте Явтушок. Озаренный пламенем, он походил на маленькое лохматое существо, которое хотело согреться и тянулось к огню. На суде над мятежниками Тесля все время возвращался мысленно к трагической фигуре Явтуха Голого. Еще чуть-чуть, и в нем созрел бы новый Бубела — ядовитый плод старого Вавилона. Поставь он собственный ветряк на горе, ощути за спиной крылья, и уже не снять его с горы голыми руками нипочем...

Кулацкого вожака Дороша, который на площади в Прицком убил председателя сельсовета Майгулу, приговорили к расстрелу. Он сказал, что зачинщиком бунта на самом деле был Бубела, еще при жизни, а он, Дорош, только ходил у него в подручных. Дескать, еще неведомо, как бы все сложилось, не замерзни Киндрат. После свержения власти на местах предполагалось захватить Глинск.

— И провозгласить здесь кулацкую республику,— уточнил Тесля.

Македонский при этом улыбнулся. По совету Тесли он в свое время освободил Бубелу, чтобы виднее было, кто группируется вокруг него, и чтобы лучше распознать намерения кулаков. Но внезапная смерть Бубелы несколько усыпила бдительность Македонско-

го. С мертвым Бубелой оказалось труднее бороться, чем с живым.

Рубан выступал на суде, клеймил Джуру как изменника и ренегата, но здесь, в Вавилоне, пришел на его похороны, произнес гневную речь против тех, кто сделал его таким, в чьи тенета Джура попался и загубил не одну только свою жизнь. В тот же день хоронили и отца Скоромных, которому на водосвятии и в голову не приходило, что может дойти до вооруженного столкновения. Рубан простил сыновьям Скоромного свой арест, он еще в момент бунта увидел, что те были спровоцированы кулаками. Чутье подсказывало ему, что Скоромные будут ему надежной опорой в дальнейшем.

«Мастерская» Джуры с трактором так и осталась своеобразным клубом, куда приходили все, кроме Мальвы. Она тяжело перенесла крещенскую трагедию, болела, не выходила из дому. Вавилонские бабки, у которых на все был свой взгляд, пророчили ей чахотку, которую она могла захватить еще от Андриана. Рузя боялась мертвого Джуры, боялась большой хаты, трактора, ей все мерещилось, что он может сам завестись среди ночи и натворить бог знает каких бед. А тут еще кто-то (уж не Савка ли?) имел неосторожность сболтнуть, что раз ночью, проходя мимо хаты, слышал, что заводят «Фордзон». «Это не иначе, как Джура»,— окончательно опечалилась Рузя. Она перебралась к Кожушным, ухаживала там за Мальвой, но на вечеринки в «мастерскую» приходила, натапливала печь, прибирала, вообще чувствовала себя хозяйкой, пока в хате толпились люди. Когда клуб перейдет в другое место, ее хата надолго угаснет, как угасло когда-то Рузино счастье.

Вскоре после крещения Прися родила семимесячного. Он умер, едва всплакнув,— задохнулся вавилонским воздухом. Никакого плача по нему не было, а лишь тихое удивленье, что он родился и умер так не в пору. Фабиан смастерил для него гробик, самый маленький из тех, какие когда-либо делал, поставил на детские санки, на которых старшие Явтушата катались с горы, и вечерком вывез на кладбище. Это были совсем тайные похороны, чтобы лишить Вавилон сплетен и пересудов о такой выдающейся женщине, как Прися, до сих пор не ведавшей поражений в приумноже-

нии рода человеческого. На похоронах был только козел Фабиан, свидетель надежный, похоже, заметно поумневший после крещения.

...Со временем Харитон Гапочка, который любил рассматривать мир через глинскую почту, обратил внимание на письма издалека к односельчанам и родственникам. Он поступал с этими письмами, как всегда, но ни разу не попались ему письма от Явтуха Голого. Ни одной весточки ни жене, ни детям. Однако из одного скорбного письма почтмейстер узнал кое-что и о Явтухе...

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Еще не утихли над Вавилоном крещенские вопли и стрельба, они словно бы смерзлись, оцепенели в воздухе и теперь оживали от малейшего ветерка; не успели еще исчезнуть, рассеяться страшные проклятья, которыми кляли Вавилон на веки вечные кулаки-выселенцы. Изреченные злобно, яростно, эти проклятья носились в воздухе, как чума, и могли еще поразить кого-нибудь насмерть. Но Вавилон уже готовился к новому, неизведанному.

Рубан, выбранный председателем колхоза, летал на коне как ошалелый с хутора на хутор, чтобы падкие до легкой наживы вавилоняне не разобрали кулацкого добра, перешедшего в собственность общины. Метались по селу оба Фабиана, взявшие на себя осиротелых собак, которые не признавали новых хозяев и не пускали никого в пустующие жилища богачей, пока Фабиан не привлек этих сторожей к себе с помощью козла, их старого знакомого, быстро находившего общий язык с этой сворой. Правда, несколько псов все-таки пришлось пристрелить из сельсоветского дробовика. Это сделал Савка Чибис собственноручно и без колебаний, поскольку сам в прошлом, как исполнитель, немало натерпелся от них.

Уничтожив это последнее кулацкое отродье, активисты горячо взялись за дела. На Бубелин хутор свели коров, лошадей, волов. Скотина за один день выпила весь колодец (обстоятельство вовсе не предвиденное), а возить воду было не в чем, потому что не оказалось ни одной исправной бочки на колесах. На хутор Павлюков

согнали овец, которые долго не могли сообразить, что случилось, и тосковали не то по своим овчарням, не то по хозяевам. А всю домашнюю птицу, в том числе и несколько индюков, этих изящных великанов, любимцев Рубана, считавшего их истинно вавилонской птицей, собрали в хлева и сараи Матвия Гусака, где индюки плодились издавна. Рубан полагал, что для этих птиц важнее всего правильно выбрать место под небом. Председатель было так разошелся, что посулил на следующий новогодний праздник подарить каждому вавилонянину по индюшке, многие ведь не пробовали этого мяса отродясь.

Впервые за всю историю Вавилона на ветряках мололи без помольного, и, хотя ветры, как нарочно, дули слабенькие, люди сразу ощутили преимущество нового порядка, а сколько еще этих преимуществ впереди, про то мог знать один Рубан. И чуть ли не самой большой заботой для председателя стал трактор Джуры, в который пока никто не мог вдохнуть жизнь. Ближе других подбиралась к трактору Даринка, но и для нее он продолжал оставаться загадкой. Однажды, заведя его и включив скорость, она едва не разрушила Рузин дом.

А тут на глинскую станцию прибыли на открытых платформах первые наши трактора. Занесенные снегом, тихие, словно бы настороженные. И тогда еще раз вспомнили Джуру. Машины некому было снять с платформ. Не оказалось трактористов, людей только еще посылали на курсы в Шаргород. Из Вавилона туда по настоянию Рубана поехала Даринка Соколюк. Лукьян провожал ее на станцию к поезду, всплакнул, чудак, словно она уезжала не на три месяца, а на целые годы. Волновался, верно, еще и потому, что на курсах она была единственная женщина, а все остальные — мужики и парни. Безумная затея Антона Рубана — непременно послать женщину. Впрочем, была и причина: а вдруг у Даринки и впрямь талант, склонность к машинерии?

А где-то вокруг этих первых радостей и неудач, как изгнанный из стаи волк, бродил Данько. Каждую ночь Лукьян, которого избрали председателем сельсовета, брал сельсоветский дробовик и выходил в засаду на брата, боясь, как бы тот, снедаемый злобой за отнятый хутор, не причинил беды новому колхозу.

Данько почуял опасность и не показывался. А тут еще просочился слух, будто с дороги бежали сыновья Павлюка — Махтей, Роман и Онисим — и скрываются в соседних селах, угрожая из своего подполья отомстить Вавилону за разор.

— Дураки,— сказал Рубан, прослышав о них,— сами же были у родного отца батраками. Пришли бы, открыли бы кузницу, ошиновали телеги к лету, а там, может, их и приняли бы в колхоз. Сам добился бы на это согласия в Глинске, пошел бы к Тесле просить за них — какое же будущее можно строить без кузнеца? А тут целых трое.

Рубан послал Фабиана искать их, тот обшарил окрестные села, но вернулся без кузнецов, привел только молодого бродячего гитариста Иону, которого тотчас пристроили на хутор Павлюков сторожем колхозных овец и заодно кузнецом, хотя на самом деле он не был ни тем, ни другим. Иона оказался невероятным лентяем, зато он чудесно пел под гитару цыганские романсы и весь актив по вечерам сходился на хутор слушать его. Философ радовался своей находке, пока Иона не сжег однажды ночью дотла хату Павлюков, сам при этом едва не задохнувшись на печи. Перед этим в дымоходе все похлопывало, его следовало прочистить, но Иона заботился только о тепле, вот и вспыхнула сажа. Иона тут же сбежал, но, прослышав о пожаре, пришли с повинной сыновья Павлюка, все трое. Философ и тут нашелся: он сказал, что, не сожги Иона хутора, они, пожалуй, так бы и не явились.

Первой из вавилонянок навестила их Прися. Утром пришла, поздравила молчаливых гигантов с возвращением, подумала, что хорошо бы и ее сыновьям стать кузнецами, когда вырастут, и осторожно спросила о Явтушке.

— Там он,— Онисим показал на север и стал поворачивать клещами лемех на жару.— Это тут, в Вавилоне, у всех душа нараспашку («Словечки-то какие появились у них!» — подумала Прися). А там каждый дышит себе в рукав, кроется, таится. Один за другим следят, шагу не ступишь. Мы вон с ребятами — на ходу в снег. Отец спал, так мы и не попрощались с ним. А тут уже Иона поблагоденствовал. Вот, тетень-

ка, как бывает на свете. А вы ждете своего Явтушка!

— Мужичок он кремень,— отозвался Махтей.— Он за нашим батей на край света пойдет. Не ждите его.

— А наш батя, известно, глуп, как бревно...— добавил Роман.— Эх! Напустить бы Иону на него раньше! Мать жалко. Здесь хворала, там и вовсе... Пушкарь несчастный!..

— Как ты смеешь так говорить об отце?! — налетел Махтей на брата.

— Люди говорят, не я,— ответил Роман, налегая на мехи.

— Людям он нынче никто, а тебе отец.

— А я разве от него отрекаюсь?..

— Верно говорит Роман,— сказал Онисим. Он вытащил лемех, обстукал его маленьким молоточком, который заправляет в кузнице всем, и пошло, и застучало, и запело, и Присю обдало искрами. А она стоит и не горит, и в голове у нее полно разных мыслей, и Явтушок засел там, как само проклятье, как боль, от которой нет избавления...

Рубан прибегал в кузницу по нескольку раз на дню, подбадривал братьев, сам брался за молот. Он отдавался новому колхозу весь, не знал ни дня, ни ночи, даже дома не показывался по нескольку суток, ночуя то на одном, то на другом хуторе. Зося боялась ночевать одна и потому иногда звала в ночлежники Фабиана с козлом. Фабиан спал на лавке, которую сам и смастерил когда-то по заказу Бонифация, и теперь бранил себя, что сделал слишком узенькой, сэкономил на досках. А козлу отвели место для сна в холодных сенях в соломенном кошеле из-под муки. За такую несправедливость он мстил Зосе — пил из бадейки закваску для борща. Потом Зося жаловалась на козла Рубану, тот хохотал, а вскоре и сам повадился к бадейке с закваской. Кажется, вкуснее напитка он и не пробовал, в особенности когда переволнуешься и продрогнешь на морозе, разъезжая по хуторам, где в полночь перезваниваются, ударяя в рельсы, Скоромные, напоминают Вавилону, что колхоз живет и никакой вражьей силе не одолеть его.

А на первом пробном выезде в поле рядом с Рубаном стоял — кто бы вы думали? — Левко Хоробрый,

Фабиан. Разумеется, вместе со своим козлом. Рубан — горячая голова, ну Тесля и посоветовал ему взять себе в заместители человека спокойного, уравновешенного и непременно сердечного, даже добряка. Вот Рубан и выбрал Левка Хороброго. Правда, философ не больно разбирался в земле, зато вавилонский люд знал досконально. Однако тут получился никем не предвиденный парадокс: козел принижал высокое звание Левка Хороброго, из-за этого черта рогатого заместитель председателя колхоза кое-что терял в глазах вавилонян и частенько попадал под град шпилек и острот. Остряки всегда напоминают о себе в самые драматические минуты — вспомните крещение! Но не мог же он оттолкнуть от себя верного побратима. Так они и ходили вместе, тем паче что козел никогда не совал нос в дела своего хозяина. В то же время Фабиан стал называть рога прерогативами и, если иногда — причем очень редко — возникала нужда обратиться к ним, спрашивал: «Где мои прерогативы?» Что ни говорите, а высокие обязанности имеют свойство возвеличивать человека. Дистанция между Фабианами росла, философ все чаще норовил избегать старого товарища, и бывали дни, то бишь ночи, когда козел начисто забывал лицо хозяина... Впрочем, придя утром на колхозный двор, он всякий раз вновь узнавал его в людской толчее и при этом всегда радовался — хозяин и правда изменился до неузнаваемости и весь был в каком-то душевном порыве. Прежде наш рогатый мудрец видел философа таким разве только в дни, когда в Вавилоне умирал богач и это сулило гробовщику хороший заработок.

Весна сломала крещенский крест, а стража его — маленькие крестики — оплыла на запруде, плакучие ивы убрались первым кружевом и напомнили людям о качелях. Открытие качелей — первый весенний многолюдный праздник, о котором в домашней суете мечтают вавилоняне всю зиму.

И вот с наступлением тепла Савка Чибис снял качели с сельсоветского чердака и повесил их на место, повесил с вечера, чтобы они продремали ночь, привыкли к вязам, а вязы к ним (во всем, что связано с жизнью и смертью людей, следует сохранять ритуал). А уж с утра полетит на них весь Вавилон, а с ним заодно и буксирщики.

Еще осенью кулачье попрятало хлеб, чтобы не отдавать его государству, да и колхозы, буде они возникнут, оставить без семян. И вот в Вавилон явилась так называемая буксирная бригада по хлебозаготовкам. Буксирщики прибыли с хитроумными стальными щупами, которые легко проникали на два-три метра в вавилонскую землю. Ими легко прошивали утоптанные дворы, пронзали насквозь крестьянские укладки, закопанные в земле, а кончики у щупов были сработаны так замысловато и снабжены такими пазами, что стоило им наткнуться на хлеб в самом искуснейшем тайнике — и они непременно выносили на поверхность несколько целехоньких зерен. Бригада обнаружила немало спрятанного хлеба в Прицком, в Овечьем, даже в Чупринках, испокон веков плодивших подзаборников, а теперь перебралась со своими щупами в Вавилон.

В бригаде было несколько женщин, их остерегались больше всего, потому что их нельзя было ни подкупить, ни умолить, они защищались тем, что у них в городах дети без хлеба. Прибыли они из Краматорска, и возглавляла бригаду Иванна Ивановна, жена Максима Тесли. От этой высокой, сухощавой и строгой с виду женщины не было никакой пощады бывшим подкулачникам. Зато никто из бедняков не мог на нее пожаловаться. Она не привечала доносчиков, не заводила с ними никаких сношений, отбиваясь от них достаточно откровенно: «Сами знаем, где и у кого искать». Иванна давно заметила, что некоторые здешние шептуны не прочь оставить соседей без куска хлеба.

Квартировала Иванна Ивановна у Кожушных, подружилась с Мальвой, которая ходила уже на сносях.

Бригадирша все допытывалась о Варе Шатровой. Когда-то обо всем сразу же написал в Краматорск какой-то доброжелатель, заботившийся о незапятнанной революционной репутации Тесли (это мог сделать и сам Харитон Гапочка, глинский почтмейстер). Иванна Ивановна не придала этому такого значения, какое придавал подобным вещам кое-кто в Глинске, она не бросила завод, не помчалась в Глинск. Но, когда формировали буксирные бригады, попросилась именно в этот район. Совсем она переедет в Глинск, когда дети

окончат школу, таков уговор с мужем, и уже недолго ждать.

Каждую субботу буксирщики приходили на качели, братались там с вавилонянами. Заглянул как-то на качели и Тесля (завернул сюда из Прицкого, где тоже создавали колхоз), стал на кленовую доску с женой, летали они сперва невысоко, как ни подзадоривали их буксирщики, реяли себе потихоньку, но потом в Иванне Ивановне проснулась бунтарская, неукротимая душа, она подхватила мужа и вскоре, смеясь, взлетела выше вязов. Тесля, повисая над обрывом, зажмуривал глаза, такая бездна разверзалась у него под ногами, а краматорцы, восхищаясь бригадиршей, кричали и подзуживали.

Козел Фабиан укладывался неподалеку, чаще всего под кустом шиповника, уже усыпанного почками, и, положив бороду на потертые колени, наблюдал за качелями, на которых носились вавилоняне и краматорцы. Его ужасало, что все эти люди, которые сейчас взлетают под самые небеса, когда-нибудь могут убиться, и тогда Левку Хороброму будет невпроворот работы. Бессмертными он считал только себя и своего хозяина, быть может, именно потому, что ни один из них до сих пор не становился на качели. Человек боялся высоты, а козел, как ему казалось, не мог подобрать себе пару для полета. Именно так он понимал свое отлучение от качелей. Впрочем, все осторожные в душе почитают себя смельчаками.

Но как-то раз козел Фабиан дождался, пока с качелей все разошлись, и, выбравшись из прошлогодних лопухов, подошел к вязам тоже с намерением полетать. Он не умел взобраться на качели, да если бы и сумел, то не смог бы сдвинуться с места, потому что подтолкнуть его было некому. Тогда козел, не лишенный фантазии, представил себе, что стоит на доске, и стукнул по ней рогами. Качели поднялись, потом вернулись обратно. Это ему понравилось. Он стукнул доску еще раз, ведь все так просто! Окрыленному первым успехом, ему захотелось достичь человеческой высоты. Когда качели остановились, он отошел подальше, разбежался и ударил изо всей силы. Доска понеслась ввысь, а козел стоял на земле, завороженный высотой, которой достиг, не догадываясь отойти вовремя. И до-

ска со всего лета ударила его по витым рогам. Он упал бездыханный.

Но, если ночью кто-то умирает, в ту же ночь кто-то и рождается...

У Мальвы начались схватки, возможно, и преждевременные. Мать имела неосторожность дать знать об этом Савке, она передала ему весть через одного из буксирщиков, который в тот вечер качался со своей девушкой дольше других. И вот к хате Кожушных сбежались самые знаменитые вавилонские повитухи, принявшие на своем веку не одну славную жизнь. Пришли каждая со своим зельем для первого купания и со своим нехитрым инструментарием, прокаленным чуть ли не на священном огне. Переступая порог, они здоровались, крестились и усаживались рядком на лавке, благочестивые, мудрые и удивительно спокойные, даже муки роженицы не вселяли в них беспокойства. Последней пришла Христина, высокая, худощавая, в белом чепце, с посохом; она уже плохо видела, так что нащупала порог посохом. Когда-то она принимала и самое Мальву тут же, в этой хате, может, и на той же кровати с высокими резными спинками.

— Ну, что тут?

— Сын грядет...— сказала первая из сидящих на лавке старух с ласковым, смиренным лицом, прародительница Скоромных.

Христина кинула взгляд на лавку.

— А чтой-то вас так много, или это у меня в глазах двоится?

— Савка передал. Всем подряд.

— Так ведь и мне он...— сказала Христина.— Ишь, обормот. Дурак-дурак, а не забыл, что я и его принимала. Идите, говорит, и чтобы все было хорошо. Отвечаете за потомка перед сельским Советом.

Савка не знал, кто из них опытнее, вот и послал всех, а уж тут они сами должны были отдать которой-нибудь предпочтение. Только где уж сговориться, когда у каждой повивального гонора хватило бы на семерых. И почему-то каждой хотелось вновь прославиться именно на этих родах. Помирила их Мальвина мать, показав на Христину.

Та не то в шутку, не то всерьез принялась сгонять коллег посохом с лавки:

— Кыш! Кыш! Святое дело не терпит свидетелей.

Старухи кудахтали, возмущались, одна обозвала Христину слепой каргой, наконец они выкатились, а навстречу во двор въехала подвода и стала у самых дверей. Это вернулась из Глинска Иванна Ивановна, она еще днем отправилась в больницу, поскольку не больно верила в повитух, даже и в вавилонских, даром что этим последним до сих пор удавалось заселять вавилонские холмы без вмешательства Гиппократа да еще выполнять при этом одно установление, о котором Иванна могла и не знать. Дело в том, что пуповины вавилонян закапывают на родимых огородах и тем привязывают жителей к Вавилону. А вот начнут вывозить рожениц в Глинск, тут-то все и разбежится и растечется, судили-рядили старушенции, которых подвода застала во дворе. Так они и не расходились, надеясь, что Кожушная все-таки не отдаст Мальву глинским эскулапам.

Вывели под руки Мальву и посадили ее на подушки. Христина собралась было ехать с ними на тот случай, если роды начнутся в пути, но Варя Шатрова отбилась от нее шуткой, сказав, что как раз ее присутствие и может быть тому причиной — те, кто норовит появиться на свет божий, достаточно хитры, чтобы не воспользоваться присутствием повитухи. Старуху согнали с подводы, и ее конкуренткам у ворот было над чем позлорадствовать: «И то, и то, куда же ей, слепушке!»

Поехали ночью трое, а прибыть в Глинск могут и четверо... В акушерской практике Вари Шатровой подобное случалось. Поэтому, только выехали за околицу, Варя вспомнила о спичках. Укоряла Иванну:

— Уж кто-кто, а кучер без спичек не должен ехать. Мало ли что в дороге случается. Волки нападут или еще какая беда...

— У меня против волков вот что,— Иванна улыбнулась и вынула из кармана наган.

Это как будто подействовало на акушерку. Та склонилась к Мальве и шепотом спросила о кучере:

— Кто она у вас?

— Из Краматорска. Хлеб выкачивает. Жена нашего Тесли.

Варя смерила Мальву таким взглядом, что той пришлось подтвердить:

— Ей-богу, правда.— И она перекрестилась.

Между тем сама Иванна, еще выезжая из Глинска, хорошо знала, кто у нее в телеге, но, чтобы облегчить путь Варе и себе, выдала себя за ездовую из Вавилона.

— Что у вас, мужиков ездовых нету?— возмущалась Варя по дороге в Вавилон.

— Мужики есть. Но все когда-то были влюблены в Мальву, вот я и решила отвезти ее сама. Согласитесь, им было бы как-то неловко видеть Мальву в таком положении.

— Может, и так,— ответила Варя и то ли уснула в задке, то ли считала излишним заводить беседы с этой ездовой.

— Но! — все покрикивала на лошадей Иванна, отгоняя этим нестерпимое для нее молчание, царившее на подводе до самого Вавилона. Вот и сейчас было то же самое. Но да но! — одна мольба, отчаянная и лаконичная. Ею полнились и ночь, и Варина душа, и будущее еще не родившегося... И, как нарочно, мать у него из терпеливых — не кричала, не стонала, только сжала веки в мучениях.

Лошади уморились, на полдороге остановились в луже, пили грязную воду, жадно выбирая из нее звезды. Варя пересела на передок, отобрала вожжи у Иванны Ивановны, понукала, просила, но все было напрасно. Стояли как вкопанные. Озябнут у них ноги, так и вовсе с места не тронутся, подумала Варя и уже хотела сказать ездовой: «Давайте подсобим». Глянула на ее ноги, во что обута. Сапоги. Уж не Теслины ли?

И тут из степи, прямо из ночи, показался третий конь. Лошади сразу заметили его. Одна заржала призывно, но он не ответил, должно быть, всадник не разрешил ему откликаться.

С обочины спросили:

— Кто такие?

Мальва вздрогнула, она узнала всадника по голосу.

— Больница. Лошади стали, а дело, сам видишь, какое...

Всадник подъехал, признал на подушках Мальву, кажется, и Варю признал, только третью впервые видел. Потом посмотрел на лошадей, и вся осторожность слетела с него, словно ее и не было.

— Тю, мои лошади! А телега уж не Явтуха ли? Ясно, Явтуха! Вон дышло задрано вверх, как сам хозяин нос задирал. Ха-ха, в чьи руки вшивый достаток перешел! Три бабы в луже. Что ж, придется подсобить.

Он не сошел с коня, не стал его подпрягать, да и третьей шлеи не было, только поравнял жеребца с ослабевшими кобылками, взял пристяжную за оброть, крикнул им — го-го-го! — и лошади, совсем было павшие духом, почуяв третьего в одной «упряжке», разом будто переродились, вытащили воз на сухое и побежали. Так и шли тройкой, казалось, всадник даже их сдерживал, пока не выбрались на лучшую дорогу. На подводе никто не проронил ни слова, женщины были очарованы тем, как ловко всадник сумел обмануть лошадей, «подпрягши» их к своему жеребцу.

Перед Глинском он остановился, остановилась и подвода. Всадник посмотрел на женщин из тьмы.

— Ну, теперь с богом...

Мальва незаметно тронула сапожком Иванну Ивановну. Быть может, это был сигнал: стреляйте, стреляйте! А быть может, мольба: не смейте стрелять, чтобы не напугать еще не родившегося. Разве поймешь! Лошаденки отфыркивались, мокрые, как мыши,— а что ж, может, спасли жизнь будущему человеку.

Конь под всадником свежий, ночь огромна и непроглядна, вот только что стоял — и нету, только захлюпала вешняя грязь. Ускакал вроде в сторону Прицкого, да ведь до утра может еще оказаться неведомо где, ищи ветра в поле...

А подвода катилась через сонный Глинск, вытрясая душу на первых километрах новой мостовой, которую Тесля первыми весенними днями выходил мостить со всем активом. «О господи, какая тряска!» — в душе проклинала Иванна строителей дороги, думая, каково-то Мальве. Подковы высекали из камня искры. Во дворе больницы Иванна Ивановна расцеловала Варю. А за что?.. С тем Мальва и пошла искупать грехи рода человеческого. Марсианин ждал их в прихожей, нервничал, курил. Потом сказал Варе, что об этой ее поездке в Вавилон с женой Тесли никто не должен знать.

Потому что Глинск есть Глинск, чего не поймет, то выдумает, лишь бы навредить всем, а первым делом Тесле.

Всю ночь над Фабианом покачивались человечьи качели. Он умирал, должно быть, почитая свою смерть прекрасной, ведь он достиг недосягаемой для него высоты. Утром козла нашли под качелями уже холодного. Никто не знал, как он погиб. Иные считали, что его смерть — предостережение для философа, который не в меру усердно помогал буксирщикам откапывать спрятанный кулачьем хлеб, потому что, всю жизнь живя впроголодь, не мог не заботиться о голодных. И все же Левко Хоробрый составил себе более или менее правильное представление о смерти друга. Но обо всем, что знают философы, потом узнают все. Левко Хоробрый не мог не рассказать о последнем приключении своего козла. Позднее появилась легенда, будто козел каждую ночь приходит на качели и самозабвенно летает на них. Кто-то будто бы даже видел его, и это было необычайное зрелище — козел на качелях!

Философ был заинтригован и однажды ночью сам пришел туда. Он спрятался неподалеку и стал ждать. И то ли ему померещилось, то ли на самом деле, но около полуночи качели между старыми вязами заскрипели.

«Козел!» — решил Левко и, выбравшись из укрытия, подошел ближе — ночью он плохо видел и в очках.

Качались двое из буксирной бригады. Тайком от Вавилона они взлелеяли тут свою любовь. Летали высоко, как будто готовились вырваться из ночи к звездам, к синему небу, на котором обрисовывались их фигуры, крылатые и красивые. Фабиан узнал их.

— Это вы, Фабиан? — спросили с высоты.

— Я.

— Вставайте между нами.

— А не сорвемся?

— Нет.

— Попробую.

Они остановили качели. Он стал между ними боязливо, не очень охотно, и они помчали его в иные, неве-

домые миры. Он и впредь наведывался к качелям. В селе распространился слух, что каждую ночь философ приходит сюда качаться со своим козлом.

— Это правда, Фабиан? — спросил его Савка.

— Отчего ж, правда...— улыбаясь, отвечал философ.

Однажды ночью Левко Хоробрый привел на качели неизвестную женщину, с которой не мог, а быть может, и не хотел показываться на людях. Догадывались, однако же, что это могла быть Прися. Они качались долго и красиво, до третьих петухов. Без козла он снова стал Левком Хоробрым. Вот и жил теперь не вселенскими масштабами, а заботами о колхозе да еще о детях Явтуха Голого. Он сам вывез козла за Вавилон на скотомогильник и, похоронив, сказал: «Мир праху твоему». И снял шапку. Смерть друга казалась ему достойной и своевременной.

«Вот так и гибнут люди,— думала Прися.— Одни разбиваются на качелях, другие умирают на белых подушках с вышитыми наволочками, а вот Явтушок считал, что белые подушки только для того, чтобы от них в хате было светлее, и боялся замарать их своим лицом. Ни одной весточки от Явтушка, как в воду канул. Лучше бы я здесь прорубила для него прорубь на водосвятии, хоть знала бы, что его уже на свете нет»,— убивалась Прися, сторожа сон мальчиков, в глазах которых дядя Фабиан так много терял без козла. В особенности в глазах самых маленьких. Те дивились матери, не желавшей понять сию истину и отдавшей предпочтение этому человеку, которого она даже облачила в отцовский касторовый жилет. Последнее возмущало даже старших, и они поглядывали на философа с едва прикрытой неприязнью.

Прослышав, что Мальва родила, Клим Синица поздним вечером выбрался в Глинск. Лошади едва совладали с грязью, он чуть было не повернул с полпути домой. Между тем тропка на обочине просохла, и пешком он бы, вероятно, дошел. И как раз по этой тропке шел навстречу путник, в котором Синица уловил что-то знакомое. Не то в походке, не то в шапке, не то в манере небрежно нести на спине почти пустой мешок. Однако был уже вечер, и разглядеть путника так и не удалось.

— Вот молодец! А я, дурак, выехал на подводе...

В этих краях заведено здороваться в пути, даже если люди и совсем не знакомы. На приветствие Синицы путник снял шапку и, не проронив ни слова, прибавил шагу. Клим потом несколько раз оглядывался с подводы, озирался на путника...

Из слякоти тщетно порывались в небо ожившие в лунном свете вавилонские ветряки. Небо походило на нивы, где местами уродило славно, а местами только кое-что, как на бедняцких полосках. Путник остановился, поднял голову, он искал по звездам свое бывшее поле. Там ведь его озимь. И нашел. Это был Явтух Голый.

Он бежал с поезда. На какой-то многолюдной станции пошел по воду для всего вагона-теплушки, незаметно растыкав перед тем по карманам свое добро, а кое-что положив в ведерко, и больше не вернулся к вавилонянам. Они и там, в пути, ставили его ни во что, попрекали непоследовательностью, легкомыслием, грязными портянками, которыми он прованивал каждый вечер теплушку, когда разувался перед сном. Кроме него, никто не сомкнул глаз за эти ночи, пока не выехали из заметенных снегом маленьких станций и не стали на широкую колею. А Явтушок спал как убитый, и это вызывало у его трагических спутников еще большую злость. К тому же у него было несколько кусков сала, пара буханок хлеба, он хорошо ел, а ночью и это давало себя знать помимо его воли. Когда же Явтушка будили, его охватывала тоска по Присе, ребятишкам и по самому Вавилону; просто не верилось, что там уже никогда больше не будет Явтуха Голого, чей род восходил к реестровым казакам. С каждым километром дороги у Явтушка накипало желание бежать, и он осуществил его, заранее продумав все до малейших подробностей. Надо отдать ему должное, кое-что он мог предусмотреть, пасовал лишь, когда дело шло о выборе между жизнью и смертью.

Он добрел до дома ночью, постучал в боковое оконце, выходившее в поле,— все это было обдумано предварительно. Напугал своим стуком Присю, разбудил и старшеньких ребят, спавших на кровати валетом. Так тихо запер за собой наружную дверь, что она даже не пискнула. Ни одна живая душа в Вавилоне не должна

знать о его возвращении. Соколюкам и не приснится, что он уже тут, дома. Только когда остановился посреди комнаты, Прися объявила проснувшимся мальчикам:

— Отец пришел...

Явтушок положил мешочек, подойдя к кровати, нащупал руками в полутьме детей, всех до одного, сказал:

— Это я, детки... — и заплакал.

Он был одетый, в шапке, грязный, на полу виднелся мешочек, в котором, верно, не было для них гостинцев, а то с чего бы ему плакать? Кто-то из старших проговорил вдруг:

— Чего вы, папа? Нам было хорошо без вас... Фабиан приходил...

— Фабиан? — Явтушок отступил от кровати.

— Козел... — успокоила его Прися.— Рассказывай лучше, как добрался.

— На то голова да ноги... — усмехнулся Явтушок.— Чего мне там? Что я там потерял?.. Раз мои детки тут... — показал он на детей.— Вот и махнул. Из-за Харькова уже. Что там делается, Прися! Мужик и там зажиточный, на черноземе, растрясли богатеев, как грушу, а в колхоз не захотели, так их в вагоны со всеми бебехами, с корнями и с ветками. А как тут? Что тут?

— Я вступила в колхоз...

— Вступила?!

— А что ж я, хуже других?

— Значит, я туда, я, можно сказать, на смерть решился, а ты в колхоз? — он надвинулся на нее из темноты.— Ну, ну, я слушаю, Прися, слушаю...

— Обобществили лошадей, телегу, весь инвентарь...

— Весь начисто?

— А на что ж он без поля? На что? Железки, Явтуша.

— И плужок отдала?

— И плужок, и мельничку... Только борону оставила. Для огорода. Все оставляют, и я оставила.

— Так!.. А ты знаешь, что я и по сей день не рассчитался за этот плужок с Моней Чечевичным? А? — захлебываясь от злости, шипел на Присю Явтушок.

— От Мони Чечевичного одно воспоминание. Разве его не на том же поезде, что и вас?

Это немного успокоило Явтушка. Он не терпел ходить в должниках.

— Вот наказанье! Только отвернулся, и, глядишь, голяк-голяком... Что вы там цапаетесь, добра бы вам не было! — заорал он на детей, которые посмеивались на кровати. (Уж не над ним ли?) И потянул свою нитку дальше: — Ну, ну, так как же вы тут живете? На картошке? Хлеб-то забрали у вас?

— Я сама семена отдала. Сеять вот-вот начнем... Был пробный выезд в поле.

— Кто начнет сеять? Кто? Рубан? Откуда он знает, как сеять и что сеять? Скажем, овес. Его бы уж пора сеять. Овес в грязь — будешь князь. А откуда это знать Рубану? Он городской...

— Он заместителя себе взял из наших... — усмехнулась Прися.

— Кого? — застыл от любопытства Явтушок.

— Левка Хороброго...

— Фабиана?! — Явтушок так и подпрыгнул, а потом подловато засмеялся.— Слава Иисусу! Вот на ком теперь Вавилон. Так вам и надо. Этот выведет вас в люди, мать вашу за ногу... Такой плужок отдать Фабиану! А ты хоть видишь его?

— Фабиана?

— Плужок наш! — вскипел Явтушок.

— А то как же. Был на пробном выезде. Все целехонько. И лошади, и плужок, и мельничка. Телегу только не могу признать. Издалека вроде наша, а подойду— не наша...

— У нашей было по тринадцать спиц в колесе... Потому я и обгонял всех, что на чертовой дюжине.

— Нет, у той столько не будет,— подумав, сказала Прися.

— Ясно. Нету телеги. И какой телеги! Все пойдет прахом... И сам Вавилон. Как там в библии сказано? Парфена нам читала в дороге... — Он снял шапку.— «И сошел господь посмотреть город и башню, которую строили сыны человеческие. И сказал господь: вот один народ и один у всех язык; и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их так, чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их господь оттуда по всей земле; и они перестали строить город. Посему дано ему

имя — Вавилон, ибо там смешал господь языки всей земли и оттуда рассеял их господь по всей земле».

— А дальше, Явтуша? Чему еще вас Парфена научила?

— Пойдем отсюда... Если хотите иметь хозяина, а детям отца.

— Куда, Явтуша? Куда пойдем?

— За тридцать пять километров...

— В Зеленые Млыны?

— Туда. К лемкам [1]. Я вот только оттуда. По дороге заходил. Словно другая держава. Уплатили налог, и никому до них нет дела. До самой Москвы достучались. По конституции живут. У дяди Лаврина маслобойня, лесопилка. Обогрел, встретил как родного, говорит, иди забирай своих и приходи. Бунта, говорит, вам Советская власть никогда не простит. Лемки, Прися, это тебе не мы, это хитрый народец. От австрийского императора в прошлом веке ушел и от колхоза уйдет. Без бунта уйдет, по-хорошему. По конституции. Лемки все знают. Еще ведь Ленин говорил, что это дело добровольное. Только в Зеленые Млыны. Другого выхода у нас нет... У меня нет другого выхода... Примак Валахов тут?

— Где ж ему быть? В колхоз вступил.

— Небось кларнет не обобществил, как ты плужок?

— Играет для Валахов... Чуть не каждый вечер. Как пришла весна... Я с тоски тоже послушать хожу.

— С кем?

— Одна, с кем же еще?

— Его тоже туда просят. Старый кларнетист умер. Ну, и просят его. Эти клятые лемки шагу не могут ступить без музыки. Пиво тывровское пьют, музыка, гульба каждую субботу... Куда нашему Вавилону до Зеленых Млынов! Как Глинску до Шаргорода. Совсем другой район. Другие нравы и права. А Вавилон без нас рухнет.

Явтух снял полушубок.

— Отдохну денек, и айда!.. Не такая уж даль. Тридцать пять километров. Я вон тысячу отшагал. Из-за самого Харькова. Всю Украину перемерял. Сапоги пропали. Зато штаны новые. Парфена подарила. С Бубелы. Взяла-то их, верно, для Данька. Великоваты, правда. Но

[1] Этнографическая группа украинцев, населяющая в основном северо-восточные склоны Карпат. Отдельные поселения лемков встречаются и в других районах Украины.

вещь. Английское сукно... Спите уж вы там!— прикрикнул он на детей.

Потом подошел к Присе, поцеловал легонько с дороги в теплые волосы. Любил ее в дороге, как никогда. Удивительная особенность дороги...

— А люлька, вижу, пустая?

— Скидучее зелье пила. Бабки говорят, была бы девочка.

— Ай-я-яй! Какая потеря! — И вдруг: — А как там соседи наши?.. Уже думали, верно, что я пропал? Хо-хо!

Прися голубила Явтушка, как впервые... Готова была идти за ним хоть куда глаза глядят. Не будь детей, поехала бы с ним еще тогда, после крещения.

— А про Соколюков чего спрашивать, какого от них ждать добра, когда брат пошел на брата. Лукьян и доныне с ружьем на Данька ходит. И Савку Чибиса с собою берет. Боятся, как бы не сжег колхоз или еще чего не натворил бы. Один ты, Явтуша, на всем белом свете. Не больно-то удачливый, и несчастливый, и натерпелся всего, а все мой... Дети уснули, Вавилон спит, так раздевайся, буду тебя купать с дороги. А штаны хороши, так и шуршат, проклятые. Умели господа о себе заботиться.

Утром вавилоняне уже знали, что Явтушок явился, но никто не трогал его, никто не собирался выдавать. Левко Хоробрый сказал, что Явтушок отдохнет день-другой, полюбуется на детишек, а там придет в колхоз и выйдет со всеми вместе сеять. Так же думал и Лукьян. Куда же деваться Явтушку, если Прися уже с ними и все добро отдала в общий котел? Решили не сообщать в Глинск о его возвращении. Сжалились над детьми и над ним самим, уж больно непривычно было, что не стоит он в праздник за плетнем. Приняли во внимание и любовь Явтушка к земле, к полю. Для нового колхоза это был бы не лишний человек. Только плохо они знали его душу...

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

На следующую ночь Явтушок пришел и разбудил отца. Валахов так много, что они не имели привычки запираться на ночь и с весны до поздней осени держали

наружную и сенную двери настежь. Поэтому Явтушок появился на пороге как привидение, постоял там и на оклик отца:

— Кто такой? — ответил так, словно пришел к себе домой:

— Это я, Северин, я...

— Явтушок?

— Он самый. Или не узнал?— «Штаны на мне другие, вот почему не узнал»,— подумал он.— Прости, что так поздно. Не мог иначе. Я ведь там числюсь у них... Здесь только дух мой, хо-хо...

«Дух» повернулся и вышел, а отец надел сапоги, накинул свитку и за ним. Отец очень уважал Явтушка за одно качество, которого не находил больше ни у кого из вавилонян. Один только Явтух мог зайти как-нибудь вечером и попросить: «Так что-то грустно, сыграй-ка мне на кларнете». Отец вынимал из футляра кларнет и играл ему одному. Играл лемковские мелодии, импровизировал. Явтушок, бывало, послушает, прослезится и уходит. А отец говорил этим глухарям Валахам, что душа у Явтушка лежит к музыке, как редко у кого. И еще, хотя об этом ни разу речь не заходила, объединяла их причастность к тем самым Зеленым Млынам: из всего Вавилона только у них двоих были там родичи, только они оба могли отправиться туда. Вот и теперь они долго сговаривались на Андриановой лавочке, отец многозначительно покашливал, а Явтушок горячо убеждал в чем-то нашего лемка, на котором с некоторых пор держались Валахи. Уйди он от них, и Валахи сразу приобрели бы другой оттенок. Развалины замка Замойских, на которых они возвели свою халупу, и разбитый паровик в репейнике достаточно свидетельствовали об их нелепых порывах в прошлом. А в иные времена на прошлое граждан обращают больше внимания, чем на их нынешний день.

Когда отец вернулся со двора, все Валахи не спали, встревоженные появлением «духа». А ведь утром им вставать на зорьке сеять овес...

В другое время отец любил заранее готовиться к путешествию за тридцать пять километров. Еще с вечера смазывал телегу и застилал луговым сеном, старатель-

но проверял и налаживал упряжь, натирая до блеска медные пряжки, которых на сбруе было бесконечное множество, и, может быть, поэтому наши неказистые лошаденки приобретали победный вид. Он и самих лошадей начищал, чтобы они утром лоснились не хуже тех медных пряжек, а за муки, которые они терпели, давал им на ночь лишнюю мерку овса. На кнут с плетеным вишневым кнутовищем, каких теперь уже и в заводе нет, он повязывал красную китайку и ставил кнут в угол под образа как символ крестьянской бескомпромиссности. В те вечера перед путешествием жилище наше наполнялось торжественностью — все, кому выпало завтра отправляться в путь, мылись в корыте, надевали свежие рубашки, и нам, самым маленьким, мерещилось далекое и вольное царство, в котором строго и справедливо правит дед Чорногор, отец нашего отца. Мы там уже побывали несколько раз, и нам там очень понравилось. Село все состоит из хуторов, дома огромные, длинные, с высокими стрехами, у нас лошади ходят в шлеях, а там в хомутах, коровы там одномастные, рыжие, посреди села кладбище с белой каменной часовней, обнесенное непролазной сиренью. И есть там еще одно диво, ради которого стоит ездить за тридцать пять километров: мимо самого дедушкина дома ходят из Европы в Азию товарные и почтовые поезда и каждый паровоз почему-то считает нужным под самой стеной свистнуть. Когда-то, сто или даже двести лет назад, на этих хуторах жили немцы-колонисты, но они не хотели отдавать сыновей на службу в русскую армию и царь прогнал их за пределы империи, а потом за какую-то крупную военную услугу, а какую именно, это и доныне тайна, позвал на оставленные хутора лемков с гор.

Лемковский род крепко держался своего говора, обычаев и даже своей кухни, они неохотно смешивались с местными жителями и деда нашего считали чуть ли не первым отступником от этих генеалогических традиций. Но, когда его сын привез свою молодую, нашу мать, и показал ее гордым лемкам, они простили ему прегрешения против рода — нашли ее похожей на самых красивых своих женщин. Пожалуй, именно с тех пор и растеклось их молодое поколение по окрестным деревням и начался великий распад старого рода-племени ему же на пользу. Наши родители, занесшие

в Зеленые Млыны эту благодетельную заразу, ездили туда два-три раза в год — на пятидесятницу, на спаса да еще на крещение (на этот, самый красивый, праздник нас, малышей, не брали из-за больших морозов, зато здесь, дома, мы переносили эти морозы стойко и на вольной волюшке). Иногда наши родители брали с собой Явтушка, у которого был там дядя, тот самый Лаврин Голый, поселившийся в Зеленых Млынах еще молодым парнем.

Эти семейные путешествия стали редкими, а потом постепенно и вовсе прекратились после смерти Андриана, когда наш двор опустел и притих, как притихают дворы после пожара, и только разбитый паровик, который Валахи захватили в экономии уже калекой, напоминал нам, что здесь готовились вершить дела, явно непосильные для Валахов. Вокруг паровика все еще не росла трава, когда-то выжженная пролитой нефтью, но я не раз видел перед паровиком отца, погруженного в мечты, и догадывался, о чем он думал.

Прежде чем прийти в этот двор и остаться в нем навсегда, отец служил в продотряде, «выкачивал» хлеб для голодающих Поволжья и сено для Первой Конной армии, но влюбился в юную хозяйку этого сиротского гнезда, а после землеустройства схватился за землю. На первые же деньги, вырученные от земли, отец купил конный привод, за который чуть не попал в кулаки. Спас отца Рубан, сообразивший, что привод с крестовиной нельзя считать машиною и потому он не может стать средством обогащения. Теперь по совету того же Рубана отец обобществил привод и наш слепой Каштан крутил его на колхозном дворе, крутил сам, без погонщика, достаточно было запрячь его утром, а выпрягаться он умел сам, без чьей бы то ни было помощи. Слепота стала Каштану величайшим подспорьем, потому что зрячие лошади не выдерживали столь длительной ходьбы по кругу, впрочем, как и люди, а Каштан крутил привод играючи, еще и детишек катал на крестовине — бывало, усядутся рядком, как воробушки, и давай.

В свое время эта немудреная машина, появившись у нас во дворе, не на шутку всколыхнула крестьянские умы. Молодежь на некоторое время даже забыла о качелях и каждое воскресенье сходилась к нам покататься на приводе. Это очень нравилось отцу, его автори-

тет в глазах вавилонян сразу вырос. На радостях отец доставал кларнет, и под его музыку прямо тут, на току, возле привода, начинались танцы, длившиеся иногда до поздней ночи. Когда мать попрекала отца за эти гулянки, он отвечал, что без них совсем разучился бы играть на кларнете, ведь музыка живет, только пока приносит радость людям. Мне отец больше всего нравился именно в эти минуты, с кларнетом, он тогда весь преображался, становился вдохновенно нежным и окрыленным, похожим на великого чародея, но, может быть, больше всего восхищали меня его пальцы—обычно жесткие, мозолистые, неповоротливые, на клавишах кларнета они достигали неслыханной грациозности.

Однажды ночью к Валахам снова прибежал Явтушок.

— Все! Еду в Зеленые Млыны. А вы? Не думаете туда?

Уздечки с потускневшей медью висели без употребления где-то в чулане, а нам вспомнилось недавнее, и в доме снова воцарилась неизъяснимо трепетная торжественность — неужто в Зеленых Млынах и до сей поры ходят товарные и почтовые поезда, на этот раз уже из Азии в Европу, и так же весело, как тогда, кричат у самого дома паровозы (особенно необычайны их гудки по ночам), и лемки справляют свадьбы, пышные, шумные, с перехватами, выкупами, неистовыми драками и примирениями, до которых мой отец был большой охотник, тем более что обладал уже и вавилонским опытом, до которого выходцам из Лемковщины было еще ой-ой как далеко.

— Я остаюсь здесь...— сказал ему отец.— Вот только старшего моего захватишь к деду на парное молоко. Начал кашлять, наверно, заразился от Андриана чахоткой, а у меня коровки, сам знаешь, нет. Потом приеду за ним...

— Как знаешь... Ведь что тебе Вавилон? Чужая земля... Не то что мне...

Бежать Явтушок собирался потихоньку, тайком, неожиданно для односельчан, и, кроме нас, только Фабиан был посвящен в тайну, за это ему отдавали хату со всем, что нельзя было взять с собой. Так он внезап-

но стал чуть ли не богатейшим человеком в Вавилоне. Он и в самом деле походил на магната, когда осматривал пришедшие в упадок угодья Явтушка, дольше всего любовался грушей, которая в этом-то году уже наверное уродит. Кажется, философ остался доволен осмотром, хотя и сказал Явтушку на прощание:

— Если вы когда-нибудь вернетесь сюда, я снова переберусь на Татарские валы, к себе. Мне все равно, где жить... Внизу или наверху... Я теперь больше думаю о жилищах для других...

«Совсем рехнулся Фабиан»,— подумал Явтушок.

Еще бы! Великие философы никогда не посягают на чужое и лишены чувства зависти. Но у них есть другой изъян, которого не учел Явтушок. Они не умеют скрывать свои открытия от человечества, чем и приносят ему немалые убытки. Еще в тот же вечер в хату набилось полно родни, дальней и ближней, и все умоляли Явтушка не идти на чужую сторону, остаться здесь. Что там может быть иначе — за тридцать пять километров? То же все и там. Если уж сбежал, так лучше сидеть здесь, чем брести с детьми в какие-то там Зеленые Млыны...

Но уже стоявший посреди хаты самодельный возок красноречиво свидетельствовал о непоколебимости намерений хозяина. Явтушок мастерил его из разного хлама прямо тут, одно колесо прихватил у Соколюков, и теперь главное, чтобы этот возок смог пройти тридцать пять километров.

Последним пришел Лукьян Соколюк, не только как сосед, но и как председатель сельсовета. Вялый, изможденный, с лопнувшим стеклышком в очках и величайшей драмой в душе: Данька он так и не поймал, и теперь можно ожидать от него чего угодно.

Трещинка в стекле мешала ему, раздражала глаз, он все мигал им, однако обещал, что вот после сева поедет к самому Петровскому, председателю ВУЦИКа, и выпросит Явтушку помилование. Он сидел на лавке, еще теплой от родичей, раскинув руки, а Явтушок все пробовал приноровиться к возку, который сделать-то он сделал, а вот как вывезти во двор, не сообразит. Лукьян, должно быть, догадался об этом, внимательнее смерил на глаз размеры возка и, посмотрев на дверь, незлобиво улыбнулся.

— Далеко? — спросил он для приличия.

— Нет. Тридцать пять километров.

— Далековато,— протянул Лукьян словно про себя, прикидывая на свои теперешние, усталые ноги.— Думаешь, там другое государство или власть другая?..

— То самое, только там ходят поезда, так что полегче. Подамся, куда захочу, коли что...

Прошлогодний мак стоял в горшочке, так и его Прися высыпала в мешок...

— А все крещение...— Лукьян встал.— Я знал, что это добром не кончится, да что я мог против Вавилона...

— Ты? То же, что и мы. А вот Рубан мог же заступиться? Не убил же я его. Пусть живет да строит свою коммуну. А вот меня, видишь, согнал с родного гнезда. Хату я доверил Фабиану, так что будет сосед аккурат по тебе. Одна душа, одна власть. А я не таков. О нет, я не из таких!..

— Явтуша, Явтуша! Бить тебя некому. Сколько детей, а он бежит с обрезом. На кого? Против кого? Явтух Голый в стрелки побежал?..

— Ничего, кулачье вывезли, спасли, а вы тут сами подохнете с голоду. Вспомните еще Явтушка... Там я тебе должен гроши какие-то, так ты уж подожди маленько, я передам оттуда. Люблю занимать, но и отдавать люблю. Я такой.

Лукьян подошел к бадейке с водой, зачерпнул медной кружкой и, прежде чем напиться, сказал:

— Ну, ну, посмотрим...

Он долго пил, что-то его жгло, сосало. Когда вышел, Прися сказала:

— Бедный Лукьяша, совсем уморился... Даринку на курсы отдал, брат в бегах. Вот что делает должность с человеком. А ведь какие были ребята Соколюки!..

Явтушок вспомнил еще что-то, выбежал за Лукьяном и закричал в ночь:

— Эй, Соколюк!

Они долго еще бубнили о чем-то за воротами, а посреди хаты стоял самодельный переселенческий возок оглоблями вверх, весь уже в пути, и детишки уснули, так и не дождавшись отца. Нигде мне так хорошо не спалось, как тут...

Разбудили нас до света. Не фыркали спросонок лошади, как бывало, не слыхать было обычного в таких случаях хозяйского гомона во дворе. Возок уже был там, его, верно, вынесли из хаты боком, и, когда мы вышли к нему, Явтушок вдруг вспомнил еще о чем-то, не обнаруженном в последнюю минуту среди других пожитков. Это был кларнет, который дал отец, чтобы великий тамошний капельмейстер выучил меня играть по нотам. Сам отец не знал нот, а у меня слух был плохонький, и без нот отец выучить меня не смог. Явтушок положил кларнет в возок, сказал:

— Это тебе, чтоб там не лоботрясничал...

Потом он впрягся в возок и, выкатив его за ворота, твердо двинулся вперед, словно всю жизнь готовился к этому путешествию. Я редко видел его таким решительным, как сейчас, на узенькой улице, с которой начинались тридцать пять километров.

У креста с распятьем Явтушок остановился. Отсюда открывался вид на всю Вавилонскую гору, здесь всегда прощались с родным селом новобранцы. Стоило бы кому-нибудь из нас добежать до школы, это в двух шагах, постучать в окно к старенькой доброй учительнице и сказать ей, что мы уходим из села и пускай больше не ждет нас за парты, на которых остались наши бессмертные имена на случай, если мы никуда не дойдем.

В сельсовете было темно, Савка Чибис еще спал на лавке. Утром он узнает, что нас нету, загогочет. Он всегда смеялся некстати, но дело свое знал. Буксирщики называли его железной метлой, он нюхом угадывал, куда кулачье зерно запроторило. А сам жил впроголодь, ни лоскутка не взял себе из кулацкого добра.

Пока выходили из села, расцвело утро, тихое, розовое, с черными крыльями ветряков и целым океаном степи, стоявшей без росы, без единой живой капельки на паутинке. Это к ветру. Сейчас он подымется, ударит Явтуху в грудь, и тогда всем нам придется воевать против него, и легче всего будет вон тому, меньшенькому, который топает за возком у самой земли, а труднее всего мне, я ведь, пожалуй, и впрямь заразился от дяди и теперь, если приходится идти против ветра, всегда кашляю. Но ветра еще нет, только тронул ноздри запах, горький, полынный, с привкусом чебреца. Я вды-

хаю его полной грудью и не могу понять, почему Явтушок остановился. Нам за сухой ботвой не видно степи, а он уже заметил людей под ветряками.

Скоро именно оттуда сорвался ветер, послышался густой человечий гам, торжествующий рокот, а потом ветряк, который как раз поворачивали под ветер, шевельнул крыльями, поколебался и забился, как живой великан. Сосед его проделал это уже намного быстрее, без треска, без старческого скрипа, внезапно и отчаянно. Гам утих, только в упряжи заржали лошади, привезшие зерно на помол. Мы бросили возок и, как завороженные, возбужденно пошли к ветрякам. Там пахло хлебом, жизнью, счастьем, всем самым высоким и самым обыкновенным, из чего состоит человек. Фабиан в заячьей шапке благоговейно сложил руки и смотрел на крылья, восхищенный, загипнотизированный их летом; Явтушок распрощался с ним и заплакал, когда заговорил о хате и обо всем.

Все утро мы сражались с ветром, проходя через поля. Мне мерещилось, что вот сейчас выйдет известный всему Вавилону бандит Назар с плоским носом и оберет нас до нитки, убьет Явтушка, который вместе с другими однажды гнался за ним.

У Павлюковых хуторов и в самом деле кто-то вышел из зарослей, махнул рукой — мол, стой! — и пошел нам наперерез.

Явтушок стал, не выпуская из рук возка, мы все тоже остановились и сгрудились вокруг него, готовые принять смерть вместе.

Но это был Данько Соколюк.

Подойдя к нам, он узнал Явтушка, усмехнулся невинно и беззлобно, засунул за пояс обрез и спросил:

— Далеко?

— В Зеленые Млыны... К лемкам...

— Бывал там. Когда-то у них водились славные племенные жеребцы. А теперь не знаю.

— Все как было,— сказал Явтушок.

— Думаешь, там не найдут тебя?

— Это уж как будет...

— Найдут. Везде найдут...

Загоревший на ветру, в распахнутом полушубке, со шрамом, которого раньше не было, в новеньких хро-

мовых сапогах, он сошел с дороги, и мы двинулись за Явтушком дальше. В зарослях ржал стреноженный конь Данька, когда он прыгал, нам было видно его голову и гриву, черную-черную.

— Но-о, лошадки! Эх, лошадки вы мои, лошадки! — с облегчением сказал Явтушок, довольный, что все обошлось.

Мы подтянулись, сгрудились, почти на руках внесли свой возок на Абиссинские бугры (вон куда дотянулась вавилонская земля!). Когда Данько Соколюк пахал их и засевал, с них срывались смерчи, а теперь бугры отбунтовались, обессилели и на чернеющей пашне только нервно шелестела поземка. Мы долго взбирались на эти бугры, а всадник взлетел на них, как ветер, обогнал нас и, круто осадив коня, стал ждать на самой вершине. Конь и сама гора придавали ему суровости и величия. И Данько, бывший хозяин этих адских бугров, сказал:

— Вы так торопились на гору, что я едва догнал. Забыл спросить, как там мои. Лукьяша, Даринка... Живы?

Явтушок кивнул, мол, слава богу, все живы, здоровы, вот только про него, Данька, ничего не знают, где запропастился.

— А ты вон где. Я так и думал, что ты где-то тут.

Данько улыбнулся, больно уж любопытным и новым изобретением показался ему наш возок. Всадник проводил нас до рва.

— Еще хотел спросить... Про Парфену...

— О ней не горюй, не пропадет. А ты, вижу, помнишь ее...

— Любил ее...— бросил Данько с коня вроде бы и нехотя, но, видно, искренне, потому что долго молчал после этих слов. Возле рва он отстал, свернул в заросли, и дальше мы пошли одни.

Первое село, которое мы прошли, было Семиводы. Я его хорошо помню еще с тех пор, как проезжал его с отцом. На пятидесятницу все хаты тут украшали ветками, в них пахло зеленью, а на спаса от них шел запах спелых груш. В одной из таких хаток жил товарищ отца Артем Буга, тихий, умытый, в вышитой рубашке, он держал пасеку, и его жена Дуся всякий раз,

как мы тут останавливались, угощала нас медовыми пряниками, никто не умел так печь их, как она. Хата их стояла на пригорке, двор был подметен, весь зарос спорышем, в окна боковой стены заглядывали мальвы, и ни одной сломанной или сорванной—у хозяев не было детей. Под коньком на гвоздике всегда висела соломенная шляпа с порванной сеткой, в ней Артем Буга выходил на пасеку, чтобы добыть для нас сотового меда. Полусгнившая шляпа висела на своем месте и нынче. Однако хозяев дома не было. В огороде на прошлогоднем репейнике чирикали воробьи, на вязе в колесе-гнезде стоял аист и, верно, ждал возвращения хозяев, потому что, как только мы остановились, он взмахнул крыльями и стал выбивать горячим клювом песню семьи. Но мы не стали дожидаться хозяев и все надежды теперь возлагали на Новую Гать, где у отца и Явтушка были еще более близкие знакомые, чем эти, и где они не раз останавливались, а однажды даже заночевали. Семья там была большая, трудолюбивая, вся состояла из взрослых, заночевать у них нынче в самый раз, а уже от них, от Бездушных (бывают же такие несправедливые фамилии!), останется полдороги. Впереди еще Овечье, Райгород и страна, о существовании которой мир не подозревает.

Там по вечерам пахнет чередой и до самого утра играет духовой оркестр. Меди в том оркестре много, а вот кларнета нет, после каждой поездки туда отец становился таким хвастуном, что матери приходилось вмешиваться в разговор о его музыкальных способностях, и уж тогда он замолкал надолго.

Был как раз тот час, когда над Вавилонской горой курились дымки, а Фабиан кончал мирские дела и брался за книжки, чтобы постичь тайны мироздания, над полями угасали ветры, останавливались ветряки, умолкали кузницы, в хатах подавали кулиш, затертый конопляным семенем, заквашивали в дежках хлеб, запаривали красную закваску для борщей, запирали от злых людей ворота и пастухи выгоняли в поле колхозных лошадей, а парни с девушками собирались на качели. Так мне все это представлялось на расстоянии, пока мы не подошли к хате Бездушных.

Сыновья у Бездушного молчаливые, понурые, а сам он встретил Явтушка вроде бы и приветливо, накидал на стол деревянных ложек на всю ораву, дал поужи-

нать. Но речь за ужином повел осторожную, неприятную для Явтушка.

— Куда ведешь малышей?

— В Зеленые Млыны, к дяде...

— А Вавилон, что же, прогнал вас?

— Сами ушли...— Явтушок мигнул Присе, чтоб не сболтнула лишнего.

— Как это сами? Верно, есть причина?

— Никакой. Вон тот — сынок Чорногора,— он показал на меня, чтобы отвести разговор.— Видите, какой. Дядя у него помер от чахотки. Знаете, Андриан, тот, что колодцы копал...

— Как не знать. У меня во дворе колодец его. А теперь колодцы нужны, как никогда. Согнали скотину в одно место. Воды не хватает, колодцы же, знаете, какие. Жаль того мастера. А есть в парнишке от него что-то. В глазах,— Бездушный покосился на меня.

— А чахоточные все похожи. Глазами. К деду едет. Коровку обобществили, молока нет, вот и едет на молочко.

Я непроизвольно:

— Не было у нас коровы...

— А тебя не спрашивают! — Явтушок прицелился дать мне по лбу ложкой.

— А это все твои?

— Мои,— усмехнулся Явтушок.— Ох и ребята! Просто чудо в дороге. Только поспевай за ними.

Бездушный встал.

— Там Зеленые Млыны так и ждут вас. Как раз! Поворачивай, дружище, в свой Вавилон, пока не забрался далеко, и живи, как все. Не хитри, не мудри, все равно ничего не намудришь. Докатится и до Зеленых Млынов, хотя там народец хитрющий и непокорный. Я лемков знаю...

— Нет. Пускай уж лучше Зеленые Млыны,— поднялся и Явтушок.— Пойдем...

Там Лукьян Соколюк ведет людей от ветряков, весь в муке, идет Фабиан с вавилонскими мальчишками, идет Рузя, совсем выздоровевшая, нормальная, навеки влюбленная в Клима Синицу, идет Савка Чибис, поум-

невший во сто раз, скрипят возы с мукой, а мы отбились от лебединой стаи и получаем за это ночь, дорогу нам переходят овечьи отары из Овечьего, и визжат, визжат колеса возка.

Последние километры мы уже, как во сне, подсознательно идем и идем за Явтушком, словно так все и будет вечно скрипеть впереди переселенческий возок, гоня нас неведомо куда. Нам уже не надо ни теплого молока, ни свежего хлеба. И никакие духовые оркестры здесь не играют, и отцовский кларнет на возке ни к чему. Ночь, тишина и неизвестность. В ночи из Европы в Азию тяжело идет поезд. У домика моего деда прокричал паровоз. И мы на этот крик изо всех сил. Вот он, осокорь с выжженной душой, вечное дерево в этом маленьком государстве с длиннющими домами, похожими на фантастические поезда. Паровозы погасли, не дымят, и поезда остановились в беспорядке неведомо где...

К каждому хозяину здесь своя дорога, вот дедушкина — еще никогда возок не катился так стремительно. Приехали, поставили возок, Явтушок постучался в окно. За стеклом появилась фигура в белом — уже начинало сереть. Дедушка, должно быть, узнал Явтушка, бросился к двери и, отперев, остолбенел. Что же он молчит? Мы прошли тридцать пять километров, а он молчит... Дальше мы уже не можем ступить ни шагу, а дядя Явтуха живет на другом краю селения. Малыши попадали в траву...

— Вас не останавливали? — спрашивает Чорногор в белом.

— Нет, никто не останавливал...— отвечает Явтушок.— Внука вам привели.

— Вижу, вижу...— Чорногор шагнул ко мне.

— А мы уж как-нибудь потащимся к дяде...

— Вчера тут конюшню сожгли. Колхозную...

— И тут колхоз?..— ошалело переспросил Явтушок.

— Сгорели лошади... Волы... Какие волы!.. И мой один...

— Так как нам ближе пройти к дяде?

— Выпроводили их сегодня из Зеленых Млынов. Дядю с теткой и еще нескольких поджигателей. Забрали у него маслобойню, вот он, дурень, и кинулся... От-

чаянные вы люди, Голые. Хотя не такие уж и голые. Пососал из нас маслица ваш дядя... Чего же вы стоите? Ведите ребятишек в дом. Возок можете оставить тут. Ну и возок! Не мог Вавилон дать вам настоящую подводу?

— Мог...— проговорила Прися, подымая с травы малышей.

— Телеги есть... А лошади плохонькие... Не дошли бы. На шлеях виснут... Моих там пара. Одного вы видели, как мы приезжали сюда... Чалый... Пристяжным ходил...

— Ага, вспоминаю... А Каштан жив еще?

— Крутит привод,— сказал Ивасько, старший.

— Ох, трудно все начинается... Что там поценнее, тоже тащите в дом.

— Кларнет,— напомнил Явтушок.

— А кто будет играть? — спросил дедушка.

— Я.

— Ну-ну...— И он пошел к навесу за соломой. Для нас.

— Вот что значит, Явтуша, отбиться от Вавилона,— бросила мужу Прися, держа на руках двух малышей. И понесла их в чужое жилище.

Дня через два за Явтушком пришли. Кто-то из Вавилона донес, что он здесь, в Зеленых Млынах. Его повезли в Копайгород, а уже оттуда переправят в Глинск, к Македонскому. Это он заинтересовался беглецом, а у этих, из Копайгорода, вроде претензий к нему нет. Для них он гражданин Голый Я. К.

— Это вы?

— Я...— сказал Явтушок.— Явтух Корниевич... и Голый...

Каждую ночь Присю будят поезда...

А рожь цветет у самого порога. И поезда ходят мимо хаты из Азии в Европу и из Европы в Азию; и каждый почему-то считает своим долгом свистнуть именно здесь, хотя никто им не угрожает; лошади из открытых вагонов глядят на эту землю почти человечьими глазами; в иных вагонах за перегородками котятся овцы, кричат от страха; а рожь белеет и утихает...

И она проклинает и любит здесь свой Вавилон, как никогда. Зеленые Млыны не для Приси... А Явтушок

сказал, что, если все будет благополучно, он вернется сюда, может, и навсегда... Вавилон же пусть обратится в руины!

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

И опять этот игрушечный маленький поезд, на «бечевочке» — как насмешливо назвала узкоколейку Иванна Ивановна, когда Тесля провожал ее в Краматорск, где поезда и станция не чета этим! Туда приходят со всех концов гиганты, въезжают прямо на завод и грузят, что им надо, из огромных шумных цехов, одним из которых командует Иванна Ивановна. Она обещала переехать в Глинск уже этой весной с детьми, со всеми пожитками, но и сама еще не уверена, отпустят ли ее с работы. Металлургический завод выполняет теперь исключительно правительственные задания. Тесля был на этом заводе слесарем, пришел туда из Лебедина в восемнадцатом, там они и поженились с Иванной, потомственной краматоркой. Максим воевал в Краматорске с гетманцами, разоружал это воинство, показал себя отважным бойцом и агитатором. Тогда же и в партию вступил. Потом война с нэпманами в самом Краматорске, как будто и мирная, но жесточайшая война. Когда Тесля прибыл в Глинск, в коммуне, которая представляла собой едва ли не единственный оплот новой власти в районе, Соснина уже не было. И вот они вместе с Климом Синицей воевали, перемеряли своими ногами новый мир вокруг коммуны, вместе прошли через важный перевал, чтобы вместе прийти и на эту маленькую глинскую станцию и самим воспользоваться «бечевкой», жизнь на которой, впрочем, очень оживилась этой весной.

У Тесли неприятность. Он оказался... сыном единоличника. Вот как бывает. Старый Сак там, в Лебедине, поставил своих серых волов и новую пятиоконную хату превыше всех идей, превыше всех знамений времени, над судьбой сына, надо всем, чем славился род Тесли в новые времена.

— Копили и мы с Иванной на эту хату, отрывали от детей и от себя. Подавай ему пять окон, не меньше. А весь век прожил в лачуге, богатей несчастный. Сожгу я эту хату. Клянусь, сожгу. Ты еще, Клим, не зна-

ешь меня. Тут на меня покрикивают, а я, если надо, человек решительный. Подумать только — сын единоличника! А еще пока доберусь туда, недолго стать и сыном этого самого... Представляешь? Глинским воякам только дай...

Сак не послушался ни сыновних писем, ни лебединских коммунистов, которые жаловались Максиму, что одного вола отец уже прирезал и с другим собирается сделать то же самое. Пара волов — вроде бы и ничего особенного, не перекинься эта зараза на весь Лебедин, так что колхоз мог оказаться без самого лучшего тягла, лошади-то в Лебедине никакие, там всегда отдавали предпочтение волам. Несколько десятков волов уже пало ни за что ни про что, мясо у них, как известно, никудышное, жилистое, пропадает в бочках. Письмо было частное, но в Глинске есть Харитон Гапочка, так что на следующий день об этом уже знали все. В райкоме состоялось достаточно неприятное для Тесли заседание. Клим Синица, председательствуя на нем, еле утихомирил Чуприну и Рубана, которых бесило уже самое слово «единоличник». Тесля признал, что классовая борьба не терпит компромиссов, даже когда речь идет о родном отце. Вот он и едет теперь выручать не столько отца, сколько лебединских волов... Верно, еще ни один сын за всю историю человечества не оказывался в таком тяжелом положении. Где Глинск и где Лебедин, а ему приходится отвечать за тамошних волов. Только подумай, Клим Иванович, какая напасть! Правда, волы там такие, что могут выручить из беды целую страну... Где Тесля ни бывал, ничего подобного не видывал. И все одной масти: серые, как валуны.

Он поставил чемодан на перрон, а сам отбежал на несколько шагов от Клима и показал:

— Вот такой длины. Вот такущие рога,— Тесля раскинул руки.— А сила!

На перроне мерцали полуслепые фонари, и при них лебединские волы в изображении Тесли показались Синице просто исполинами.

— А мясо, Клим, не такое уж плохое. Ты когда-нибудь молоденького зубра пробовал?

— Где бы я мог его пробовать?

— И у меня не было случая. Но кто пробовал, говорят, что вроде молодого вола — деликатес. Чудо. В

этом вся сложность моей миссии, — Тесля улыбнулся одними ямочками на щеках.

У Тесли чемодан, шинель, местами протертая до дыр, привезенная еще из Краматорска, ее он положил на чемодан, зато парусиновые сапоги новые, шил для жаркого лета. Чудасия! В Глинске шестьдесят сапожников, а эти летние сапоги лучше всех шьет Шварц, австриец. Он давно уже бросил свое ремесло, узнав, сколько в Глинске сапожников, и возвращается к нему только в исключительных случаях, как он сам говорит: «По велька люди Глиньска»[1]. И отчего этим австрийцам так труден наш язык? Покосившись на разбитые сапоги Синицы, Тесля посоветовал ему обратиться к товарищу Шварцу, тот и ему сошьет зеленые парусиновые. Очень удобно.

— Я у иностранцев не шью...— ответил Клим, хотя и пекло ему ноги огнем в его яловых.

— Шварц переходит в наше подданство...

— Тогда и пошьем. А сейчас я вот о тебе думаю, Максим. Вижу, ты шинель взял, все взял...

— Кто знает, как там обернется. А что, если перед тобой стоит уже сын кулака? Может ведь случиться и так? По всему видно, отец не на шутку распоясался. За сыновней спиной, да еще при невестке в Краматорске. Куда там! А того не понимает старик, как тяжко этой спине. Нет, должен сын отвечать за отца. В особенности в такой момент. Скажу тебе, Клим, я сейчас готов на все. Ни одни враги не казались мне такими страшными, как отец с волами. Ведь это уже я. Я сам...

Выскочил дежурный в желтой фуражке, узнал обоих, поздоровался и побежал вызывать паровозик чуть ли не из самого Журбова. Сахарный завод считает состав своим еще со времен знаменитого сахарозаводчика Терещенко, который проложил «бечевочку» для вывоза свеклы, и поезда задерживают там безбожно.

— Время и о новой дороге подумать. По этой даже молотилку не привезешь. А тракторишки тоже станут крупнее, и все, Клим, станет крупнее. И притом скоро. Через год-два все потечет сюда другое, побольше,

---

[1] «Для больших людей Глинска» *(польск.)*.

потяжелей. Для этой земли нужны большие машины.

— А я, Максим, мечтаю о машине поменьше. Нам бы такую, чтоб сама свеклу прорывала, маленькую да ловкую, как человеческие руки...

— И такую сделают. Вот только этого никто не заменит,— Тесля похлопал ладонью по груди,— души нашей... Кстати, что у тебя с Мальвой? Почему она опять в Вавилоне?

— Как вез ее из больницы, лошади сами свернули в Вавилон...

— Как же сами, когда на облучке сидел кучер... Я видел из окна, как вы ехали. Выезжали из Глинска. Любо было посмотреть со стороны.

— Так то со стороны... Попросила кучера. Юхим и свернул. Я не стал возражать.

— Бываешь там?

— Все реже и реже...

— Правильно. Есть положения, когда просто надо переждать. Я уверен, что любовь нам отмеряет на весах величайший скряга. Надо дождаться, когда отвесит на самых верных, тех, что на всю жизнь...

— Это все равно, что пережидать саму вечность.

— А вдруг... Вон у Рубана как, нежданно-негаданно...

Глинск угасал. Южный Буг, еще не отдышавшись после половодья, крался из-за скал в степь. Где-то вдали гудели тракторы, которые Тесля выучился сам спускать с узеньких платформ «бечевочки».

— А знаешь, чего я больше всего боялся, когда началось?

— Того же, что и все. Выстрела из-за угла...

— Когда старое ломается, то на первых порах вместе с ним гибнет и часть нового. Это факт. Ну, убили бы Теслю. Пришел бы на его место ты или Рубан. Больше всего я боялся, ну, как тебе сказать, чтобы наши внутренние противоречия не использовала мировая контра. Соберись-ка вся Антанта, ты представляешь, какой был момент для нанесения удара в спину?

— А я, между прочим, тоже думал об этом. Частенько беседовал с товарищем Марксом с глазу на глаз. Это и меня мучило больше всего, больше, чем сам Вавилон.

— Теперь уже нам ничего не страшно, теперь мы на коне...

— Вот за что я тебя люблю, Тесля. И все это у тебя от Краматорска. От Краматорска, братец. То, что не одним Глинском живешь. Хоть бы и вот это взять. Другому плевать бы на тех волов. Есть в Лебедине власть, пусть и решает. А ты... И я сделал бы так же. Вот тебе слово товарища. Только мой старик умер в глинище. Не дожил до хаты о пяти окнах... А Гапочка все-таки сволочь...

— Что сволочь, это да, но опыт его заслуживает уважения. Ни одна почта не работает, как наша. Выгони Гапочку, и все пойдет кувырком. Ты будешь получать мои письма, а я твои, и так далее. А тут ничего никогда не пропадает... Выкуем свои кадры, заменим гапочек.

Снова выбежал дежурный, повеселевший, довольный, словно сам вел вагончики.

— Сейчас прибудет.

Подошел состав. Сошло несколько пассажиров, и среди них милиционер с Явтушком. Милиционер был из Копайгорода, зеленый, не разбитной, и Явтушок сразу же стал показывать ему дорогу. Шли, мирно беседуя, верно, подружились в пути. Явтушка выдавал разве что мешочек, который он нес на спине, поддерживая рукой. Другой рукой он показывал, где тут что в Глинске.

Трижды ударили в рельсу. Паровозик тронулся и сразу побежал. Ему и разгоняться не надо. Клим Синица снял фуражку. Тесля стоял в дверях и тоже снял свою белую.

— А Харитона Гапочку с почты нецелесообразно...— крикнул он уже на ходу.

— Что, что?!

— Снимать пока нецелесообразно!.. Гапочку...

Коммунар улыбнулся про себя — в этом весь Тесля... Он утер набежавшую слезу. Дежурный с колотушкой стоял возле рельсы и не бежал к себе извещать соседа, что поезд отбыл из Глинска по расписанию... Еще Тесля запретил задерживать составы хотя бы на минуту и всех призывал относиться к этому виду транспорта со всей серьезностью, пока не начнут ходить в Глинск настоящие поезда. Кто не уважает малого, не научится уважать и большое...

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Харитон Гапочка мог торжествовать, перехватив письмо Тесли из Лебедина, адресованное в Глинский райком, Климу Синице. Перечитывая его, почтмейстер удовлетворенно улыбался и дважды или трижды расчесывал гребешочком усы, которые некогда так подходили к фуражке с кокардой, все еще хранившейся в сейфе с той поры, когда в Глинске еще работала царская почта. В этих маленьких затаившихся чинушах дух реставрации живет едва ли не дольше всего. Харитон Гапочка не считал себя врагом нового строя, но боялся ломки старого мира и угрозы очутиться под обломками. Приходившие на глинскую почту громадные рулоны плакатов с лозунгами о гибели старого мира приводили его в ужас, зато каждое слово отчаяния или неверия, на которое он натыкался в частной переписке, оживляло злобное подполье его души. Вот он и расчесывал свои усы перед лупой, которая служила ему зеркальцем и с которой он никогда не расставался, чтобы не пропустить в чужих письмах чего-нибудь существенного.

Тесля, добравшись до Лебедина, уже не застал отца, его выдворили за пределы республики как злостного врага колхозного строя. (Тут Гапочка так рассмеялся, что вынужден был прикрыть ладонью рот.) Сыну же не оставалось ничего другого, как самому подать заявление в колхоз, обобществить отцовскую хату, а также вола и индюков, которых старший Тесля растыкал по родне, лишь бы птицы не достались колхозу. Впрочем, его, Теслин, приезд в Лебедин оказался не только необходимым, но и до известной степени своевременным — ему вместе с другими лебединскими коммунистами удалось спасти от ножа сто семьдесят волов, а сам он стал старшим воловиком и теперь на его руках вся эта грозная сила, которой предстоит вытащить Лебедин в будущее. Но сто с лишним, и притом самых лучших, волов по почину папеньки было прирезано, а соли оказалось маловато, и с наступлением тепла мясо точат черви. Только сто шкур сняли с балок и сдали государству, выйдет тысяча пар подошв, что не так уж мало. Тесля ездил в Харьков к Косиору. Товарищ Косиор посмеялся над его злоключениями, а через два дня сам приехал в Лебедин, собрал сход

и посоветовал избрать Теслю председателем колхоза. Новый председатель сеет. Волов много, а плугов нет, так закладывают по две-три пары в один плуг.

Заканчивалось письмо так:

«Пашем глубоко, так, наверно, римляне распахивали Карфаген. Ни одной межи, ни одного оврага не оставляем в живых, а отца мне жаль, отец у каждого один. Как Вавилон, как ты, какая там весна?»

Не миновал рук Гапочки и ответ.

«...Я тут, в Глинске,— писал Клим Тесле,— а коммуну передал Мальве. Она взялась за дело горячо, да только дни коммуны, надо думать, сочтены. И там должен быть колхоз, коммуну теперь рассматривают как утопию мечтателей, но я с этим никак не могу согласиться. Коммуна была предтечей нашего будущего, и когда-нибудь мы еще возродим эту «утопию». А пока дни и ночи мотаюсь по селам, беда с семенами, добрая половина тягловой силы оказалась без упряжи (коварные акции врагов), присланные еще при тебе тракторы по большей части повреждены контрой и стоят, а то, что уцелело, собрал я в одну бригаду, бригадиром Даринка Соколюк (та, что училась на курсах в Шаргороде), подавили «бабий бунт», Харитона Гапочку придется отдать под суд за исчезновение большой партии плакатов, которые посланы в Глинск, но там не получены. На плакатах были лозунги «Бдительность, бдительность и еще раз бдительность! Враг действует тихой сапой». И рисунок. Представляешь себе, какая это потеря в данный исторический момент? Двоих приняли в партию: Лукьяна Соколюка и еще одного из Журбова, рабочего завода, он каждый праздник вешает на трубе красный флаг.

Пересылаю тебе письмо Иванны, пришедшее в тот день, как ты уехал, не знаю, что в нем, а Гапочка, наверно, прочитал, конверт побывал над паром... Привет еще от Вари. Как-то зашла в райком, расспрашивала о тебе. Я сказал, что ты уехал в Лебедин, а она: «Этот Лебедин, наверно, белый?» Не знаю, говорю, не бывал там. Вот так невзначай выдумали мы для тебя Белый Лебедин. И теперь мне все мерещится, что ты не в том реальном, где прирезано столько-то волов, а в Белом Лебедине. Вода в Буге еще холодная, купаться

негде, а Варя прелесть, я бы охотно перебрался к ней, не побывай у нее до меня в квартирантах мой друг из Белого Лебедина. Хо-хо-хо... Возвращаюсь из колхозов поздно, стелю на просиженном диване, ложусь спать без ужина, а с рассветом уже на ногах. Нет более неустроенных людей, чем мы, коммунисты, и так, наверно, будет еще долго, потому что никто так не умеет усложнять себе жизнь, как мы. Кто выдумал, что Варя Шатрова, эта чудо-женщина, не может стать женой коммуниста? Мы же с тобой и выдумали. А колесо твое под корчмой крутится. Только саму корчму я на время сева прикрыл, чтобы у сеятелей не дрожали руки. Теперь и самому поужинать негде. А вода в Буге холодная-холодная. Это правда, что ты и зимой мылся в Буге, даже прорубь свою имел?»

И еще Синица писал о Мальве, писал скупо, как о чужой...

Она живет в его комнате, ездит на его лошади, управляет коммуной. Горит материнское молоко, тогда Мальва в поле, не сходя с лошади, сцеживает его, а сына пестует старуха Кожушная. Как потеплеет, выносит его в корыте на качели и укачивает над обрывом. Младенец совсем отвык от домашней зыбки. Старуха клянется взлелеять нам нового поэта для коммуны. Как говорится, старый — что малый. Но когда поют вавилонские петухи, малыш слушает, навострив ушки. Ха-ха-ха! Старуха радуется более всего тому, что Мальва ее не бесплодна, как у нас болтали, а хоть и поздновато, но родила.

Вот уже месяца два мы живем в этом полуродномполучужом краю, который так славно зовется — Зеленые Млыны, хотя мельница здесь всего одна, паровая, черная, прокопченная, понемногу привыкаем к здешнему причудливо красивому говору, тонкости которого так и не могла за всю жизнь одолеть наша бабка Соломия и от которого быстро отвык в Вавилоне отец; привыкаем к поездам, будящим нас среди ночи не так своими гудками, как этим чертовым перестуком колес. На подъеме поезда натягиваются, как струны, звенят, паровозы кашляют, задыхаются, всякий раз мне хочется вскочить с пола, где мы все спим вповалку на́ соломе, выбежать и подсобить им. Когда их слушаешь

ночью, кажется, что они перевозят колоссальную Азию в Европу, а мятежную Европу в опустевшую Азию. Днем мы к ним выбегаем, днем в них везут лошадей, те стоят у перекладин вагонных дверей, как люди, грустные, задумчивые, вроде везут их в наши края, им предстоит заменить тех, что гниют на конских кладбищах и прослывут погибшими в великих исторических битвах; везут коров, прикованных цепочками к импровизированным яслям, разномастных, но священных и неприкосновенных, как в коммуне Клима Синицы; везут овец, белых и черных, навалом, в неимоверной тесноте, которую способны выдержать только овцы; одна окотилась в поезде и теперь стояла над своим ягненком в полном отчаянии; а еще везут камень (зачем?), везут кедры, еще не окоренные; расчехленные зеленые гаубицы; целый поезд новехоньких молотилок; везут солдат с противогазами — видно, в мире снова затевается что-то. Пассажирские поезда облеплены безбилетными крестьянами — в тамбурах, на ступеньках и даже на крышах вагонов, — все они где-то были, чего-то искали, а сейчас приближается жатва, вот и возвращаются из своих странствий домой.

Прися плачет каждую ночь — тихо, чтобы не обидеть Чорногоров, которые приняли нас, как могли. Люди они добрые, искренние, душу бы отдали, но не привыкнуть нам к их краю, даже к самому лучшему, что в нем есть, а у нас, может, никогда и не будет, зато все вавилонское стало для нас еще дороже, без него мы бы растаяли, пропали, изныли бы здесь.

Дедушка давно почувствовал нашу неутолимую тоску по родному дому, и, только созрели колосья и запахло в этих гостеприимных местах первым хлебом, он выкатил из овина наш легендарный возок, обносившийся и растрясшийся в пути, и перебрал его весь чуть ли не заново, потому что приметил все его недочеты. Конечно, можно было бы и здесь выпросить на несколько дней подводу, но дед был человек гордый и дальновидный. Сказал: худо возвращаться господами туда, откуда ушли нищими. А чтобы возок не так тарахтел, как на пути сюда, приладил к нему маленькое деревянное ведерко для дегтя, который лемки умели варить сами.

Выходить собрались затемно, чтобы встретить рассвет за селом — поменьше свидетелей, это уже ради Присиной гордости. Ее уговаривали: в Млынах есть свободные хаты, оставайся, живи. Сам учитель, Лука Модестович, приходил беседовать с нею. Учитель был заодно и капельмейстером и хотел заполучить в оркестр кларнетиста, не какого попало, а, как он сказал, божьей милостью. И таким оказался Ивасько, старший сынок Явтушка. Зато у меня учитель не обнаружил желанного слуха. «Это все Валахи виноваты, глухие тетери!» — проклинал я их, слушая, как Ивасько играет на кларнете. И все-таки Прися не согласилась остаться ради Иваська. А ведь это, может, именно Явтушок даровал сыну свой слух, свою любовь к священным и нежным звукам. Это ведь было для него не только развлечением, но как будто и потребностью. Вот Ивасько и мог бы теперь играть отцу, не отбейся тот от семьи...

Всю ночь нам прощально кричали поезда, а утром с полевого стана привезли в телеге Чорногора. Старик вышел на первую колхозную жатву, а энтузиаст он был великий, ну и старался не отстать от молодых, а вечером упал на покосе. С ним привезли и его косу, сточенную, но с новенькими грабками, которые припас для этой жатвы дед.

Возок наш снова пришлось закатить в овин. Похоронили дедушку возле кладбищенской каменной сторожки, узенькие окна которой походили на бойницы. Зеленые Млыны хоронили на этом месте выдающихся людей. Оказывается, у этих лемков еще там, в Карпатах, каждое селение имело свой вроде бы небольшой пантеон. А вот Вавилон хоронит всех подряд по вероисповеданию, не обращая внимания на все другое... В оркестре Ивасько играл на кларнете, удивляя лемков высоким ладом этого самого минорного из инструментов, а Лука Модестович сказал над Чорногором прекрасную речь, как учитель и капельмейстер. Нет на свете людей преданнее учителей и капельмейстеров.

Теперь никто не уговаривал нас оставаться здесь. Узнав, когда мы выходим, учитель пришел попрощаться, вывел наш возок далеко за околицу, потом стоял на предрассветном тракте, худощавый, мудрый, высо-

кий, как придорожный крест, а путь перед нами был прямой, как линейка, которой тот добрый учитель бил когда-то моего отца по ладони за непокорство или непослушание. Отцовский кларнет везли на возке — учитель настоял, чтобы мы захватили инструмент с собой для Иваська, и теперь кларнет будет петь нам всю дорогу, все тридцать пять километров...

Детей за возком словно бы стало больше. То ли мы повзрослели сразу, шли все до одного босиком, все в длинных штанах, проворные, ловкие, дружные, как цыганята. Прися, красивая, гордая, с печальными глазами, до последнего дня не теряла надежду, что Явтушок вернется сюда, к детям. Где он, что с ним, жив или тоже умер где-нибудь на чужой стороне? Возок сам бежал, мы едва поспевали за ним, хлопая штанишками. Прися не положила дегтя в маленькое ведерко — мазницу, которое дедушка смастерил специально для нашего возка, зато на дне его ехал котенок, малышам захотелось во что бы то ни стало взять его с собой. Он всю дорогу спал, свернувшись калачиком, глупенький, и не представлял, что его везут в Вавилон...

На полпути возок завизжал, стал катиться все тяжелее и тяжелее. Спасало нас только то, что дорога домой казалась вдвое короче. Только оторвались от Райгорода, как уже Овечье, едва миновали Овечье, как показалась Боровка, за нею Новая Гать, а там и коммуна, потом Абиссинские бугры — вавилонская земля.

Из коммуны сделали колхоз, там в разгаре жатва, тарахтят жатки, их крылья погружаются в хлеба, как весла. На озере виднеются белые лебеди. А Вавилон так и живет без них. Прореют над ним, растревожат душу и летят куда-то все дальше, дальше на север...

В каждом селе нас отговаривали идти дальше, давали хату и все, что в хату,— живите! Тетка Прися нравилась всем председателям и всем бригадирам. Не то чтобы они ухаживали, нет, куда уж, когда за возком такая когорта, но просто все они когда-то слыхали, а теперь собственными глазами видели, что красивее женщин, чем вавилонянки, на всем белом свете не найти. А тут еще ездовых возле возка сколько! А их так не хватает всюду, ездовых!

Когда мы вкатили возок на Абиссинские бугры и увидели Вавилон в полдневном мареве, необъятный, родной, с кладбищем, с ветряками, с белыми дворцами, хотя это были всего-навсего самые обыкновенные мазанки, сгрудившиеся у подножья Вавилонских гор, Прися тихо заплакала. Нет ничего величественнее и прекраснее нашего Вавилона, когда возвращаешься в него из другой страны, оттуда, где поезда ходят из Европы в Азию прямо за стеной дедушкинского дома, где мы на предрассветной дороге оставили доброго отцовского учителя, худощавого, мудрого, высокого, в длинношей белой рубахе, подпоясанной шелковым поясом с кистями. В Вавилоне ни у кого нет такого благородного плетеного пояска, а может, нам просто не случалось видеть такого на ком-нибудь другом; в Вавилоне нет поездов, нет сепараторов, которые в одну минуту отделяют сметану от молока, нет сноповязалок, легких, как птицы, которые сами косят и сами манильским канатом вяжут снопы, нет клуба, где каждую субботу играет музыка и лемки пьют тывровское бочечное пиво, от которого пенятся усы. В Вавилоне многого нет, но зато есть сам Вавилон, с которым не сравнимы никакие Зеленые Млыны, никакое Овечье, да и сам Глинск ничего не стоит без Вавилона, потому что и Вавилона другого нет на свете, за исключением разве того, который погиб когда-то в древней Месопотамии, как мы узнали еще в школе и от Левка Хороброго. Иногда требуется пройти и через мифы, чтобы довоеваться до высокого смысла жизни человеческой.

Вавилон — это исполинские, как сито, буханки хлеба, которые пекут только у нас; это величайшие пожары, вспыхивающие чуть ли не в каждую страду и вынуждающие Вавилон строиться и молодеть; это крещенское водосвятие, равного которому не устраивают во всем христианском мире; это веселые, скорее забавные, чем кровопролитные, войны с соседними «племенами» — «черными клобуками», «дохлыми мухами», «задирами», «капелланами» из-за их страсти прятаться в норах — и с бесчисленными другими племенами и народами, лучшие представительницы которых потом чудесно уживались в самом Вавилоне и плодили детей для будущих мировых войн, действительно жестоких и кровопролитных; это два мудрых Фабиана, один из которых, Левко Хоробрый, верно, жив и до сей поры;

это высоченные черные бури, прилетающие с горячего юга и разбивающиеся о Вавилонские горы; это мы, тетка Прися, наш возок с котенком в ведерке и отцовский кларнет на возке.

Прися наставляет своих детей: не надо рассказывать, что их отца, Явтушка, арестовали в Зеленых Млынах. Всем скажем, что там он попал под поезд. Для малышей Прися добавила к этому, что отец был вели-

кий герой и не мог просто так умереть. Пусть они верят или не верят, но врагам, чтоб не тешились, надо лгать. «Зачем же мы идем к врагам?» — «Потому что эти враги свои, а не чужие». Прися выплакалась, передохнула, снова впряглась в возок, и мы потопали за нею, такие же проворные, храбрые, ловкие, дружные и по-своему мудрые. На нас из-под полуденного марева надвигался Вавилон.

Кое-где поля уже скошены, уже выстроились ровными рядами копенки в больших шапках, стройные, как царское войско на смотру, уже видны головы жниц во ржи и спины косарей, держащих ряд, а там спешат подводы, груженные снопами, их зовет не дозовется паровик на току, и вот уже ревет молотилка, выскочившая из-за горы как предтеча непривычного и неведомого грядущего...

Паровик набрал пару и весело затрубил, как, бывало, в коммуне. Это на обед. Все с поля потянулись к нему — косари, жницы, их дети, подъехал Лукьян Соколюк на молоденьком коне, еще не годном под седло,— остановилась молотилка, паровик фыркнул, и начался великий вавилонский обед в холодке, под стогом. Кашу варили здесь во вкопанных в землю котлах, а хлеб привезла на телеге Мальва Кожушная. Когда подошла Прися, Мальва поздоровалась с нею, как-никак родня, поискала глазами Явтушка в толпе и не нашла. Она еще не знала, что он «попал под поезд»... А к обеду все шли и шли. Валахи кучкой за моим отцом, Скоромные в ногу, как один, Бескаравайные. Примчался и Рубан на дрожках.

— С хлебом вас,— кланялась Прися на все стороны.

Шел здороваться и Левко Хоробрый в соломенной шляпе Явтушка и, разумеется, с косой, грабки на косе изогнутые, ладные. Прися никогда не думала, что ему пойдут коса и эта для жатвы сплетенная шляпа. Стояла перед ним смущенная, поникшая, а он улыбался ей из-за золотых очков. Сказал, что хата их на месте, там и все имущество, что жить он там не мог — с некоторых пор его преследовал Явтушок. Живет по-прежнему на Татарских валах один как перст.

Про нас забыли, словно мы и не прошли тридцать пять километров. Мы сами выкатили возок на высокую Вавилонскую гору, окруженную миражными замками лета, меж которых пылила дорога в неведомое. Вот-вот и налетят в эти благословенные края таврийские черные бури.

По запруде шел козел Фабиан — воскрес, черт рогатый. Он остановил нас, пошарил в возке, покачал бородкой и засеменил дальше, тая в полуденном мареве. То ли он не узнал нас, то ли это был не он, а один

из его сыновей — довольно ли мудрый, чтобы носить это бессмертное имя?..

Когда мы вкатили возок во двор, малыши попадали в спорыш, катались, кричали от радости, купались в зеленой купели, а Ивасько достал кларнет из возка и заиграл на нем то, чему успел научить его учитель в Зеленых Млынах. Слушайте, живые и воскресшие! Это про вас, это для тебя, мой Вавилон.

В тот же день Явтушок прибрел за семьей в Зеленые Млыны. Сошел на станции Пылыпы (очень возмущался ее названием, а еще обзывал лемков дурнями за то, что не могут добиться станции в самом поселке) и к вечеру был на месте. Словно воскресший из мертвых, веселый, говорливый, он задирал пастушков, низко кланялся женщинам на уборке, надеясь увидеть среди них и Присю, а перед косарями снимал шапку и кричал, кричал на все поле: «Бог в помощь!» И разом погрустнел: как же они ушли без него?.. Не так это его опечалило, как просто слетел вдруг с него весь подъем, ощущение счастья, заполнявшее его до краев. А тут еще Чорногориха всплакнула о Чорногоре... Явтушок поужинал, поблагодарил, сказал, что пришло разъяснение насчет середняков, а он, мол, вечно только в середняках и ходил, ну, и вышел теперь в такие герои, что ни наглядеться на него, ни описать...

И пустился на ночь глядя. Через все тридцать пять километров.

Земля! Ты рождаешь нас не иначе как для того, чтобы мы поверяли тебе свое сердце. Мы никуда не можем деться от тебя, как от собственной судьбы, и куда бы ни заносили нас ураганы времени, стоит им утихнуть и стоит только проясниться твоему горизонту, как нас снова влечет туда, где мы впервые увидели тебя сперва с высоты колыбели, словно опрокинутую навзничь, потом из маленьких окошек в четыре стекла, влечет на те поросшие спорышем дворы, где мы впервые ступили на тебя босыми ногами, изведали твое тепло и почуяли в жилах твою немеряную силу. Это тебе одной дано возвращать из дальних стран лебединые стаи — кто не слыхал, как тревожно они курлычут,

разыскивая тебя в черных туманах, кто не видел, как разбиваются их бесстрашные вожаки в ночи о незнакомые скалы, чтобы другие жили и могли долететь до тебя, тот никогда до конца не постигнет, что в людях живут извечные законы земли обетованной. Для одних они становятся непреодолимыми лишь в тридцати пяти миллионах километров от родной земли, а для других, вращающихся по меньшим орбитам, довольно и просто тридцати пяти километров...

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 7

ЧАСТЬ ВТОРАЯ 159

Василь Сидорович ЗЕМЛЯК

ЛЕБЕДИНАЯ СТАЯ

Приложение к журналу «Дружба народов»

М., «Известия», 1977, 320 стр. с илл.

Редактор приложения **Е. Мовчан**

Оформление «Библиотеки» **А. Гаранина**

Редактор **Л. Цуранова**

Художественный редактор **И. Смирнов**

Технический редактор **В. Новикова**

Корректор **Т. Васильева**

А07084. Сдано в набор 17/III-77 г. Подписано в печать 10/VI-77 г.
Формат 84 × 108¹/₃₂. Бум. печ. № 1. Печ. л. 10,00. Усл. печ. л. 16,80.
Уч.-изд. л. 16,51. Зак. 465. Тираж 200 000 экз.

Цена 75 коп.

Издательство «Известия Советов депутатов трудящихся СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Набрано и сматрицировано в типографии издательства «Известия Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Отпечатано в Киевской книжной фабрике республиканского производственного объединения «Полиграфкнига». Киев, ул. Воровского, 24.

В 1977 году
издается 15 книг
библиотеки

«ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

Т. Ахтанов — Буран. Роман. Повесть. Драматическая поэма. Перевод с казахского.

Г. Березко — Необыкновенные москвичи. Роман. Повести.

Э. Вээкман — Трилогия о Мирьям. Перевод с эстонского.

В. Богомолов — В августе сорок четвертого... Роман.

Е. Воробьев — Незабудка. Повести. Рассказы.

М. Галшоян — В Каменной долине. Роман. Повесть. Перевод с армянского.

Р. Гамзатов — Мой Дагестан. Повесть. Перевод с аварского.

Н. Думбадзе — Солнечная ночь. Романы. Перевод с грузинского.

В. Земляк — Лебединая стая. Роман. Перевод с украинского.

Избранное «Дружбы народов». Сборник.

И. Науменко — Сорок третий. Роман. Перевод с белорусского.

Не считай шаги, путник! Сборник. Выпуск второй.

Б. Полевой — На диком бреге. Роман.

В. Распутин — Живи и помни. Повести.

В. Санги — Женитьба Кевонгов. Романы. Повести. Рассказы.